

КОНТИНЕНТ

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

87



Нерон: Благо Отечества — наивысший закон...

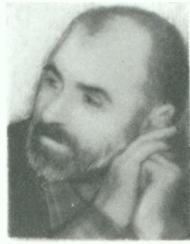
Авл: Отечество, цезарь, есть не что иное, как совокупность отцовских домов. Без блага семьи нет и блага Отечества...

Ион Друцэ



Вдруг вырвалось пламя из топки Приморской часов эдак в шесть; Опять подтвердили раскопки, Что Царство Небесное есть.

Юрий Кублановский



Наум Аронович печально посмотрел на Петра Ивановича: — Израиль создали умные евреи для глупых евреев... Надеюсь, в следующем тысячелетии иудаизм подредактируют...

Сергей Каледин

Сегодня Православие — чтобы быть верным своему Преданию — должно освободиться от боязни внецерковной культуры и секулярной цивилизации.

Александр Кырлежев



Надо быть готовым к тому, что, возможно, Россия будет скатываться под уклон. И при том — впереди самой Европы, более того — будет тянуть ее за собою...

Юрий Каграманов

Сердце хочет не наименьшего зла, а блага... Такой веры, которая вовсе не хочет быть идеологией, — ни «правой», ни «левой», вообще никакой.

Сергей Аверинцев



На всем протяжении пути от Жюльена к Цинциннату русская литература пыталась приспособить к себе, принять и понять Стендаля, но у нее почти ничего не выходило...

Жорж Нива

**В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ ЖУРНАЛА «КОНТИНЕНТ»
БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ:**

Новые стихи:

Евгения Блажеевского
Кирилла Ковальджи
Марины Кудимовой

Владимира Салимона
Владимира Соколова
Олега Чухонцева

Повесть **Марианны Веховой** «Бумажные маки»

Новая повесть **Михаила Кураева**

Повесть **Юрия Малецкого** «Любью»

Повесть **Евгения Федорова** «Смена вех»

Новые рассказы:

Василия Аксенова

Сергея Бабаяна

Ольги Бутенко

Теодора Вульфовича

Юлия Крелина

Владимира Маканина

Евгения Попова

Юлиу Эдлеса

В разделе «РОССИЯ»

«Интервью с самим собой» **Сергея Аверинцева**

Статья **Ю.Н. Давыдова** «Гомо экономикус»

Новая статья **Ларисы Пияшевой** об экономической ситуации
в сегодняшней России

Цикл эссе «Наш век» **Марка Харитонова**

Материалы первых Чтений памяти **Владимира Максимова**

«Прошлое, настоящее, будущее России» (Париж, март 1996)

В разделе «ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ»

Публикации из архива «Континента» («парижского» — 1974—1992)

Воспоминания **о. Александра Меня**

В разделе «РЕЛИГИЯ»

Очерк **Зои Маслениковой** «Неизвестные речения Иисуса и ново-
заветные апокрифы в современной богословской литературе»

Статьи **Якова Кротова** и **Зиновия Фаликова** о проблемах межкон-
фессионального диалога

Очерк **о. Иллариона Алфеева** о поездке в Тибет





**Финансирование
типографского и редакционно-издательского процесса
выпуска журнала “Континент” обеспечивается
ИНКОМБАНКом**

КОНТИНЕНТ

*Литературный, публицистический
и религиозный журнал*

Выходит 4 раза в год

МОСКВА • ПАРИЖ

87

КОНТИНЕНТ — CONTINENT

Журнал основан в 1974 году в Париже
писателем Владимиром МАКСИМОВЫМ

Издатели:

Редакция журнала «Континент»
Ассоциация друзей журнала «Континент» (Париж)
Издательство «Московский рабочий»

Учредитель — И.И. Виноградов

Журнал зарегистрирован в Комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № 014255

**Адрес редакции: 101923, Москва,
Чистопрудный бульвар, 8.
Телефон: (095) 928-97-42
Факс: (095) 201-57-41**

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются,
и в переписку по этому вопросу редакция не вступает

При перепечатке наших материалов ссылка на «Континент»
обязательна

Авторы несут ответственность за достоверность
приводимых ими фактов и цитат

Редакция пользуется автомобилем «Москвич»,
предоставленным АО «МОСКВИЧ»

© ТОО «Журнал «Континент»

© Название журнала «Континент» — В.Е. Максимов

Главный редактор
Игорь ВИНОГРАДОВ

Редакционная коллегия:

Василий АКСЕНОВ
Виктор АСТАФЬЕВ
Ценко БАРЕВ
Александр БЛОК
Армандо ВАЛЬЯДАРЕС
Галина ВИШНЕВСКАЯ
Георгий ВЛАДИМОВ
Ежи ГЕДРОЙЦ
Густав ГЕРЛИНГ-ГРУДЗИНСКИЙ
Пауль ГОМА
Алла ДЕМИДОВА
Ион ДРУЦЭ
Андрей ЗУБОВ
Вячеслав ИВАНОВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Оливье КЛЕМАН

Роберт КОНКВЕСТ
Наум КОРЖАВИН
Эдуард КУЗНЕЦОВ
Александр КЫРЛЕЖЕВ
Николаус ЛОБКОВИЦ
Эдуард ЛОЗАНСКИЙ
Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ
Жорж НИВА
Амос ОЗ
Ярослав ПЕЛЕНСКИЙ
Лариса ПИЯШЕВА
Виктор СПАРРЕ
Витторио СТРАДА
Карл-Густав ШТРЕМ
Юлиу ЭДЛИС
Сергей ЮРСКИЙ

Представители «Континента»

- Израиль** **Юлия Эйдельман**
Hashaftim 22
64365 TEL-AVIV, ISRAEL
☎ (03) 69-67-375
- Италия** **Джулия Филиппелли**
Via Olmetto, 5
20100 MILANO, ITALIA
☎ (2) 86-45-47-23
- Канада** **Ольга Бутенко**
1221, Boul. Rene Levesque
SILLERY QC G1S1V8, CANADA
☎ /fax (418) 688-1221
- США** **Эдуард Лозанский**
1800 Connecticut ave., N.W.
WASHINGTON, D.C. 20009 USA
☎ (202) 986-6010, fax (202) 667-4244
- Франция** **Татьяна Максимова**
5 rue Chaligny, 75116 PARIS, FRANCE
☎ (1) 45-00-67-56
- Швейцария** **Жан-Филипп Жаккар**
104 rue de Carouge
1205 GENEVE, SUISSE
☎ (22) 321-4052
- Нелли Биуль-Зедгинидзе**
25 Malagnou
1208 GENEVE, SUISSE
☎ (22) 736-40-69

СОДЕРЖАНИЕ

Ион ДРУЦЭ

Падение Рима. *Драма в 2-х частях*. 9

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ

Россыпь. *Стихи*. 82

Сергей КАЛЕДИН

Тахана мерказит. *Повесть* 88

Наталья ГОРБАНЕВСКАЯ

Из новых стихов 154

Сергей БАБАЯН

Крымская осень. *Маленькая повесть* 157

Борис ВИКТОРОВ

Чомгу поймать нельзя! *Стихи* 208

РОССИЯ

Юрий КАГРАМАНОВ

Мера пессимизма. 216

ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ

Памяти Владимира Максимова

Владимир МАКСИМОВ

Ярославу Смелякову. *Стихи* 248

Андрей БИТОВ

Исстрадавшаяся душа 250

Владимир БУКОВСКИЙ

Воспоминания соучастника 259

РЕЛИГИЯ

Александр КЫРЛЕЖЕВ

Поствизантийская Церковь в современном мире 264

Сергей АВЕРИНЦЕВ

По ту сторону «традиционализма» и «либерализма».

О новых публикациях бесед и проповедей митрополита

Антония Блума 286

Юрий КАГРАМАНОВ

Еще несколько слов о страхе Божиим 291

ПРОЧТЕНИЕ

Жорж НИВА

От Жюльена Сореля к Цинциннату

(Стендаль—Набоков) 296

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

Марк ХАРИТОНОВ

Два эссе из цикла «Определения литературы» 305

ПОЭЗИЯ И СУДЬБА АНДРЕЯ КРЫЖАНОВСКОГО

От редакции 314

Андрей КРЫЖАНОВСКИЙ

I. Из книги «Звездный муравейник» 316

II. Из журнала «Речитатив» 322

III. Из неопубликованных стихов 323

Марина КУДИМОВА

Подселенец 328

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА» 347

ПАДЕНИЕ РИМА

Драма в 2-х частях

Действующие лица:

Авл Плавт — римский полководец

Помпония Грецина — его жена

Марк Регул — знаменитый оратор, доносчик и политический деятель

Диодор — афинский ваятель

Север Руф — Понтифик храма Юпитера

Паула — палестинская рабыня, носительница евангельских преданий

Арионила — весталка

Фабулин — клейменный раб и поэт

Нерон — император

Юпитер — верховный бог неба, отец богов и царь людей

Фавны и паны — мифологические существа, нагоняющие панику

Гиспана + юркая рабыня, правая рука хозяйки

Трубач

Орлоносец

} ветераны, несущие службу при полководце

Скриб — писарь судебного заседания

1-й клиент (занимающий место справа от хозяина)

2-й клиент (занимающий место слева от хозяина)

Грецины и Плавты — два знаменитых рода, основавшие дом Плавтов

Боги и богини, слуги, рабы, ликторы, народ на площади

Февраль 65 г. после Рождества Христова

**Ион
ДРУЦЭ**

— родился в 1928 году в селе Городище (Дондошанский район, Молдавия). Окончил Высшие литературные курсы. Автор многих книг прозы и драматургических произведений, получивших широкую международную известность.

Внутренний двор богатого римского дома. Сквозь слезавшиеся сумерки медленно пробиваются выстроенные вдоль стен многочисленные статуи богов и богинь. У парадных дверей дежурят двое ветеранов: один с древком, увенчанным орлом, у другого на груди труба. Изящный портик с колоннами, выходящий на площадь, завешен коврами. На всем печать родовитости, достатка и тонкого вкуса. Запускает это как бы храмовое пространство статуя Юпитера, перед которой на алтаре горит вечный огонь.

Остатки какой-то безумной ночи висят в воздухе. Загробные вопли продолжают сотрясать вечный город. Мычат стада, блеют отары, воют шакалы, лязгают зубами волки. И все это в каком-то адовом переплетении — налетая, провоцируя, сокрушая друг друга.

Усталый раб молится Юпитеру, однако вакханалия окружает дом, и раб в спешке покрывает лицо хозяина Олимпа, чтобы не потревожить сон хранителя Рима.

«So-o-pra-a!» — вдруг слышится рядом, и несколько рабов вкатывают огромную деревянную трибуну. Установившаяся гармония начисто отвергает это нелепое сооружение, и потому, куда бы его рабы ни перекатывали, ветераны упорно отвергают выбранное место. Постоянно приближающиеся вопли заставляют рабов поминутно бросаться врассыпную, роняя груз себе же на ноги.

К л е й м е н ы й р а б. Если паны не утомонятся, к восходу перекалечим друг друга.

Т р у б а ч. Не паникуйте и будете целы.

К л е й м е н ы й. Хорошо рассуждать с мечом на поясе, а что делать безоружному? Стоим, трясемся.

О р л о н о с е ц. Фебра — вещь полезная. Потому фебруарис и считается месяцем лихорадок, месяцем очищений. И не там, а левее.

К л е й м е н ы й. Этот волчий вой — прямо тут на загривке у меня повис!

О р л о н о с е ц. Одинокая волчица, без волчат и без стаи — сам подумай!

К л е й м е н ы й. Да почему я об этом должен думать?!

О р л о н о с е ц. Потому, что одной из таких волчиц Рим обязан своим основанием. Мы каждый год должны ее вспоминать. Луперкалии — праздник волков.

К л е й м е н ы й. Что же мы, трясясь и лязгая зубами, празднуем волчицу-мать?!

О р л о н о с е ц. Празднуем судьбу. Ее судьбу, свою судьбу. Правее, загораживаете выход. Луперкалии — мудрый праздник. Он расковывает, освобождает дух.

К л е й м е н ы й. Да зачем меня расковывать, зачем меня освобождать, если мне и вчера, и третьего дня было хорошо?

Т р у б а ч. В каждом из нас живут страхи, переданные ему при рождении. День за днем, капля за каплей, те страхи поедают наше мужество. А перепуганный человек — это уже полчеловека. Потому мудрая старина и завещала раз в году устраивать Луперкалии. Праздник фавнов или панов, как их называют греки. Нагоняя на человека панические страхи, Луперкалии на целый год освобождают от ужасов; после безумств этой ночи что бы ни произошло, уже не страшно. Чуть правее и выше!..

Тем временем Луперкалии докатываются до самого портика. Стада и отары, волки и шакалы — все несется в каком-то водовороте. Ковры слетают, и трое фавнов, одетых в козлиные шкуры, в масках козлов, врываются во двор, размахивая плетями. Лежа на полу, рабы молча переносят

удары. Бить лежащего неудобно — и славы никакой. Заметив воинов, Фавны бросаются на них. Воины обнажают мечи. Фавн с красиво витыми рогами приходит в ярость.

Р о г а т ы й. Луперкалии — это праздник или бой?

О р л о н о с е ц. На посту.

Р о г а т ы й. Погасите мечи. Считаю до трех. Unus.

Т р у б а ч. Мы тоже считать умеем. Duo.

Взмах, свист, удар. Кровь брызнула, но ветераны стоят, не дрогнув.

О р л о н о с е ц. Не трать попусту время. Мы прошли такое, что не мы ужасов, а ужасы боятся нас... Стоит хорошо, только разверните лицом к той дальней, черной колонне...

Заметив трибуну, фавны идут ее изучать. Рогатый с ходу вскакивает на нее и начинает блять во всю мочь.

Р о г а т ы й. Плохо сделано и плохо поставлено. Можно ли вершить праведный суд с этой трибуны?!

К л е й м е н ы й. А почему нельзя?

Р о г а т ы й. Где punctum puncti, где точки соединения всех точек? Что это за суд, при котором одна сторона плохо слышит другую? Стань под Алтарем Стыдливости и слушай меня. За оскорбление Юпитера, бога света и радостей жизни, суд приговаривает... ты слышишь меня хорошо?

К л е й м е н ы й. Слышать-то слышу, но как ты смеешь оскорблять наш дом? Мы живем на восточной части холма. При рождении дня Юпитер прежде всего освещает наш дом и уж потом светит Риму...

Р о г а т ы й. Юпитер первым освещает дом императора, ничтожный ты раб. Стало быть, за оскорбление величества императора... ты хорошо слышишь мой голос?

К л е й м е н ы й. Кто в этом доме оскорблял императора?! Вон бюст Нерона за твоей спиной! Перед ним жертвенник с горячими углями.

Р о г а т ы й. Если не упрячешь язык за зубами, я тебе вырву его. За оскорбление величия римского народа... его свободного, веселого нрава... ты все мои слова слышишь?

Клеймены й. Да я твои слова не слушаю и слушать не хочу! Как можно говорить такое в доме полководца Авла Плавта, завоевателя Британии, встреченного в Риме с триумфом!?!..

Рогаты й. С малым.

Клеймены й. Пускай с малым, но с триумфом!

Рогаты й. Ну что за нудный раб, да еще с клеймом на лбу. Как зовут?

Клеймены й. Фабулин.

Рогаты й. Когда и за что клеймили?

Фабулин. Давно и ни за что.

Рогаты й. Ни за что буква «С» на лбу не выжигается. «С» означает Calomniator, то есть клеветник. Кого оклеветал?

Фабулин. Мои слова несли святую правду, но я рано с ней высунулся.

Рогаты й. Правду, как и собаку, за ворота выпускать нельзя.

Фабулин. Стихи на цепь не посадишь.

Рогаты й. Какие стихи? Чьи?

Фабулин. Мои. То, что потом сочли клеветой, было в стихах.

Рогаты й. Любопытно. Где? Когда? Что? Подробно. Ну?

Фабулин. Мой старый господин был при смерти. С горя я сочинил оду на его кончину. Стихи были божественные, хоть и родились в душе раба. Ну, а то, что божественно, не может быть заперто. Это уже sacrilegio. Святотатство.

Рогаты й. Само собой.

Фабулин. Разгоряченный сухим паром в коммунальных термах, я не удержался и взобрался на возвышение. «О звезда, куда ты закатилась...» К вечеру весь Рим оплакивал Корнута Плавта, а мой господин тем временем пошел на поправку. Даже вышел в город навестить старых друзей. Сенат постановил выжечь мне на лбу букву «С», а через три дня, когда я лежал в горячке, мой господин скоростижно скончался.

Рогаты й. А что толку, раз тебя уже заклеямили!

Ф а б у л и н. За пророчества надо платить. Тем более, когда они в стихах.

Р о г а т ы й. И чем звучнее слог, тем выше цена! Прodeкламируй.

Ф а б у л и н. Я их не помню.

Р о г а т ы й. Что — ни строчки?

Ф а б у л и н. Ни единого слова.

Р о г а т ы й. Как может мать забыть рожденного ею?!

Ф а б у л и н. Я упросил Минерву вырвать те стихи из моей памяти.

Р о г а т ы й. А я скажу Минерве вернуть стихи обратно.

Ф а б у л и н. Кто ты такой, чтобы Минерва тебя слушалась?

Р о г а т ы й. Один из ее любовников. Беда однако в том, что стихи уходят сами, а возвращаются при помощи кнута. Сними плащ и ложись на полу.

Ф а б у л и н. Ты не посмеешь бить чужого раба в доме его господина!

Р о г а т ы й. Считаю до трех. Unus.

Ф а б у л и н. Мало вам было воплей в эту ночь? Так уж вам нужен еще и мой вопль?

Р о г а т ы й. Duo.

Ф а б у л и н. Sa-a-lvuuu-um!

Во внутренних покоях слышится колокольчик и голоса. Ветераны открывают парадные двери и отдают честь. Фабулин снимает покрывало с Юпитера. Серебряный орел взмывает вверх, трубач играет. «Слушайте все». Хозяин дома Авл Плавт в пурпурной, вышитой золотом тунике проходит к Юпитеру. Идет строгий, торжественный, самоуглабленный. За ним следуют, как тени, юристы начеку, или клиенты, как их называют. Поздравив Юпитера с пробуждением, Авл посыпает угли ладаном. Пока дом наполняется благовониями, переходит к бюсту императора, чтобы преклонить колена.

А в л (бюсту). Salve, Caesar! Дом Авла Плавта приветствует тебя!

Следом за ним клиенты, слуги, ветераны, рабы преклоняют колена, повторив, как эхо, приветствие, и только тут хозяин дома замечает трех фавнов, как бы свысока следящих за ходом утренних приветствий.

А в л. Кто они?

Т р у б а ч. Луперки.

О р л о н о с е ц. Наводят панику на город, чтобы год был урожайным и дети рождались здоровыми.

А в л. С рассветом паны удаляются в горные пещеры к нимфам, до следующего февраля, а разумные люди благодарят и приветствуют своих богов, пожелав им Доброго дня.

Двое фавнов подходят, кое-как приветствуют, но Рогатый так и продолжает стоять на трибуне.

А в л. Е tu?

Р о г а т ы й. Ты приносил вчера Юпитеру жертвы? Давал ему на ночь кубок вина?

А в л. Давал.

Р о г а т ы й. Так пусть твой Юпитер сначала сходит и помочится, как это делают все порядочные люди по утрам...

Схватив древко с орлом, Авл размахнулся и запустил им. Орел идет точно в цель, но Рогатый увертывается.

Р о г а т ы й. Браво!!! (Срывает с себя маску и бросает на пол).

— Цезарь!!

Н е р о н. Любовь и смерть — вот два крыла,
Два хищника перед прыжками.
Полет — и счастья нет конца.
Удар — и гаснет свет над нами!..

Каково?!

— Те-г-гi-bi-li!

А в л. Цезарь! Уж если моему дому выпало такое счастье, что с раннего утра его посетил сам император, достоинство дома требует того, чтобы отдать должное богам во время утренних приветствий...

Н е р о н. А мелодия? Есть в этом доме кифара?

А в л. Утреннее коленопреклонение, цезарь...

Н е р о н. Авл, ты лучше верни солдату древко. Твой орел уже сыграл свою роль. Он помог разродиться стихами одному из лучших поэтов, которых когда-либо рождала латинская земля. Почти год музы молчали, и вот, в мгновение ока... Цены нет твоему орлу! С этой минуты он становится исторической реликвией. Пожалуй, это даже слишком большая ценность, чтобы она могла находиться в частном доме. Дай сюда.

Сорвав орла со знамени, сбрасывает козлиную шкуру, поправляет на себе голубой императорский плащ, упрятав орла за пазуху.

А в л. Цезарь, обычаи требуют того, чтобы...

Н е р о н. Авл, сам подумай, с чего это я стану преклонять колени перед собственным изображением?

А в л. Императору, может, это и ни к чему, но Риму!!

Н е р о н. Зачем это Риму?

А в л. Чтобы спокойно войти в завтрашний день.

Н е р о н. Без этого не войдет?

А в л. Войдет, но будет неспокоен.

Н е р о н. Неспокоен — почему?

А в л. Потому что на коленопреклонениях держатся империи. Когда этого не будет, не будет и самой империи. Ради Отечества!

Н е р о н. Ну, если ради Отечества... Хотя, скуп ты, Авл! Юпитер у тебя во весь рост, а мне только бюст поставил. Ни рук, ни ног. Боялся, что буду драться? Боялся, что убегу?

А в л. Красота мрамора, цезарь, не в его массе, а в его формах.

Н е р о н. Это не твоя мысль, это моя мысль, которую я еще не успел высказать!

А в л. Мысль носится подобно ветру — где хочет, там и веет.

Н е р о н. До суда все судьи кажутся мудрыми. Посмотрим, что останется от твоей мудрости после вынесения приговора.

Спрыгнув, исполняет утренний церемониал, после чего фавны удаляются. Оставшиеся долго пребывают в каком-то оцепенении.

Ф а б у л и н (став на колени). Осмелюсь спросить, мой dominus... Что это было?..

А в л. Ты о чем?

Ф а б у л и н. О том, что происходило сегодня утром в нашем доме.

А в л. Ничего особенного не происходило. Заскочили было паны, чтобы, по обычаю предков, нагнать на нас панику, но пришли слишком поздно, когда уже начало светать.

Ф а б у л и н. Мы не испугались?

А в л. Нет. Мы не испугались. Завесьте портик, узнайте, все ли в доме готово к началу судебного заседания.

К л и е н т ы. Что именно следует выяснить?

А в л. Узнайте, пришла ли родня как с той, так и с другой стороны. Узнайте, кто будет воздвигать обвинение и кому поручена защита. Узнайте, готовится ли полагающееся в таких случаях угощение после вынесения приговора.

Пока вешают ковры и бегают узнавать, Авл обходит домашних богов, подолгу стоит перед масками предков, то молясь, то советуясь, то собираясь с духом.

Ночь стоит тихая, слышно, как жужжат веретена прядильщиц. Одна сидит повыше, другая пониже, почти у ее ног. И та, что сидит низко, тихо, заговорщически рассказывает:

П а у л а. «И было поле, и был вечер. Народу собралось такое множество, что невозможно было объять одним взглядом. И Он взошел на гору. И земля стала подножием Его, а небеса лежали на Его плечах. И Он

сказал — новую заповедь даю вам, да любите друг друга. По тому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь друг к другу. А кто не любит ближнего, тот да не ступает по следам моим».

Прядильщицы растаивают в утренней дымке как видение, и в проеме дверей возникает юркая рабыня Гиспана, которая предпочитает общаться на расстоянии, точно это происходит в поле.

Г и с п а н а. Моя домина кланяется своему домину и просит узнать, для чего в нашем саду в такую рань собралось так много народа?

А в л. Передай Помпонии, что сегодня наш дом открыт перед всем Римом, и потому пусть домина, надев самое лучшее, выйдет встречать гостей.

Рабыня творит чудеса резвости. Одна нога здесь, другая там.

Г и с п а н а. Моя домина сожалеет, что не сможет встретить гостей.

А в л. Как не сможет? Отчего?

Г и с п а н а. Перематывает пряжу.

А в л (растроганно). Наши славные матроны! Что наши дома без них! Воистину *domi sedet, lanam ducit*. Дома сидела, шерсть сучила. В этом их сила, в этом их слабость.

Рядом, на площади, заработали кирки, топоры.

А в л (Фабулину). Поди узнай, что там.

Ф а б у л и н. Был. Узнавал.

А в л. Говори.

Раб подходит и шепчет что-то на ухо полководцу.

А в л (в задумчивости). Империи всегда спешат. И чем больше империя, тем больше она спешит...

К л и е н т ы. Гости спрашивают — вино будет в чистом виде или разбавленное?

А в л. Мулсум не разбавляется. *Sacrilegio*. Святотатство.

К л и е н т ы. В каком порядке они войдут?

А в л. Впереди возраст, за ним заслуги, за заслугами — должности и только потом — степень родства.

К л и е н т ы. Доносчика куда?

А в л. Доносчик войдет последним.

К л и е н т ы. Куда поставим жрецов?

А в л. Понтифики — *persona sacrosanta*. Священные особы. Они входят первыми и немедленно, как только являются.

К л и е н т ы. Почему тогда Север Руф, Понтифик храма Юпитера, так давно дожидается во дворе?

А в л. Введите в дом немедленно!

К л и е н т ы. Пробовали, но в те двери не проходят ликторы вместе с креслом Понтифика...

А в л. Так откройте портик! Застелите ковры! Засыпьте ладан в жертвенник. Ветераны, честь Понтифику!

Вносят по-царски. Старик, сидя в носильном кресле, поднимает руки, благословляя.

П о н т и ф и к. *Sacer esto!* Да будет свято!

Все встают и замирают. Трубоч играт мгновение божественного Просветления.

А в л. Салве, Север! Что говорят анналы? Надеюсь, *dies fasti*, день благоприятствует проведению суда?

П о н т и ф и к. *Partim*. Отчасти. Остальное будет зависеть от судьбы.

А в л. Путешествие по городу было приятным?

П о н т и ф и к. Не очень. Холодно, ветрено. К тому же долгое ожидание в твоём дворе прервало мое общение с богами. Поставьте кресло перед Юпитером — так, чтобы я смог завершить молитву.

Ставят кресло перед высшим божеством; спина старика начинает быстро валиться на бок, и молитва вскоре переходит в добротный утренний сон. Тем временем начинают входить гости. Авл приветствует каждого в отдельности. Выстраиваются вдоль стен — справа родня мужа, слева родственники жены. Сняв богатую мантию полководца, Авл надевает суровую мантию судьбы и всходит на трибуну.

П л а в т ы. Род Плавтов салутато древний Грецининский род.

Г р е ц и н ы. Мы не прихватили с собой ночные горшки; нам некуда поместить ваше салутато.

П л а в т ы. Если в этом доме на приветствие отвечают оскорблениями, мы его покинем.

Г р е ц и н ы. Еще бы! Мы вам отдали молодую Венеру, вы превратили ее в рабыню, довели до суда, больше тут делать нечего...

Авл требует колокольчик. Приносят. Позвонил.

А в л. Суд выносит свое первое постановление. До вынесения *sententii* стороны не должны входить в соприкосновение.

— Возможно ли это?!

— ...?!

А в л. Возможно. Каждая из сторон делает вид, что другая сторона отсутствует.

— Допустимо, — *соглашаются Плавты.*

— Приемлемо, — *подтверждают Грецины.*

— А мулсум перед началом будет? — *спрашивают обе ветви.*

А в л. Мулсум?!

— В наших домах, когда приходят гости, мулсум уже разлит.

— В ваших домах, когда не придешь, один винный запах. Все было разлито и выпито до прихода гостей...

Судья звонит в колокольчик.

А в л. В практике судов мулсум еще не применялся, но поскольку минувшая ночь была лихорадочной, чтобы успокоиться и придти в себя, я думаю, по маленькому кубку...

— По большому!!

Звонок в колокольчик.

А в л. Я воспринимаю этот вопль как дань уважения моей домине, может быть, лучшей мастерице Рима готовить мулсум. Только она знает, сколько именно виноградного сока и каких сортов, сколько сотового меда и каким образом нужно перемешать, в чем и сколько выдерживать, чтобы получился тот самый мулсум, за которым постоянно присылают служители храмов, чтобы умиловить богов.

П о н т и ф и к. Мне два кубка.

А в л. Каждому по кубку и два кубка Понтифику!

П о н т и ф и к (*делясь с Юпитером*). Этот — тебе, а этот — мне.

И снова тишина, и жужжат веретена, и пока пьется мулсум, тихий голосок ведет свой сказ:

П а у л а. «И Он обвязал себя полотенцем, взял кувшин воды и стал мыть ноги своим ученикам, сказав при этом, что раб не может быть выше своего господина. И когда настала очередь того, кто уже назначил цену за предательство Его, Он омыл и его ноги; затем преломив хлеб, сказал — ешьте, сие есть тело мое; и, разлив вино по кубкам, сказал, пейте, сие есть кровь моя, кровь Нового Завета, за вас проливаемая...»

И опять возникает в проеме рабыня.

Г и с п а н а. Моя домина кланяется своему домину и спрашивает, будут ли еще какие распоряжения?

А в л. Скажи домине, что мы, собравшиеся, обе ветви нашего дома, только ее и дожидаемся.

Рабыня бежит за ответом и тут же прибегает обратно.

Г и с п а н а. Моя госпожа не сможет выйти к вам.

А в л. Почему?

Г и с п а н а. Она не любит мулсум.

Судья тяжело вздыхает.

А в л. Скажи домине, что кубок судьбы — не тот напиток, который может нравиться, а может и не нравиться. Кубок судьбы своей нужно испытать!

Рабыня долго отсутствует. Потом доносится из темноты:

Г и с п а н а. Придет, когда кончит перематывать белую шерсть. Черную, так и быть, оставит на другой раз.

Судья в ярости.

А в л. Скажи домине, что не о белой и не о черной шерсти сегодня речь!!

Г и с п а н а. А о чем?

А в л. О жизни и смерти! О жизни и смерти в нашем доме!

Рабыня уходит и тут же возвращается.

Г и с п а н а. Моя домина кланяется своему домину и спрашивает, может ли она взять с собой работу?

А в л. Какую работу?

Г и с п а н а. Прялку. Шерсть. Веретено.

А в л. Для чего?

Г и с п а н а. Чтобы не терять попусту время. Говорит — где много народа, там много пустословия.

Авл обращается к клиентам, сидящим — один справа, другой слева. Справа частично допускают. Слева отвергают, но тоже частично.

А в л. Слово родне.

П л а в т ы. Прялка способствует душевному равновесию. Пусть берет.

Г р е ц и н ы. Еще бы! После того как Помпония весь свой век кормила и одевала семью, почему бы ей перед смертью не попрясть немного?..

А в л. Пусть берет.

Одетая в черное, печальная, отрешенная, Помпония Грецина входит, продолжая прясть на ходу. И все идет, пока не утыкается в деревянную трибуну.

П о м п о н и я. Боги, как я испугалась! Что это за нелепое сооружение? С чего ты взобрался на нее?

А в л. По необходимости.

П о м п о н и я. Мои глаза рады видеть тебя.

А в л. И я рад слышать твой голос и видеть твое лицо.

П о м п о н и я. А почему мне не поставили кресло рядом с тобой?

А в л. Сегодня твое место у Алтаря Стыдливости.

П о м п о н и я. Я хорошо знаю свое место, я прожила весь свой век в тени Пудитичии, богини скромности и целомудрия, но почему и сегодня ты сажаешь меня так далеко от себя?

А в л. Потому, что *Salus Roma — suprema lex*. Благо Рима — наивысший закон.

П о м п о н и я. Тебя заставили сделать выбор между Римом и Помпонией?

А в л. Судьба для меня его сделала.

П о м п о н и я. И... так будет всегда?

А в л. Так будет сегодня.

П о м п о н и я. Повинуюсь слову твоему.

Она послушно направляется, куда ей указали, сучя нитку на ходу, потом вдруг останавливается.

П о м п о н и я. Чуть не забыла — а что сегодня за день?

А в л. Не волнуйся. Понтифик сказал — *dies fasti*. День благоприятный.

П о м п о н и я. Благоприятный для чего?

А в л. Для суда. Разве тебе не говорили, что сегодня в нашем доме заседает суд?

П о м п о н и я. Но обычно там, в сенате...

А в л. Конечно, все дела проходят через сенат, но в редких случаях, когда дело связано с жизнью семьи и сенат ни к какому решению придти не может, цезарь поручает это дело *pater familias*, отцу семейства. За ним последнее слово. И сегодня эта тяжкая ноша легла на мои плечи.

Помпония возвращается, чтобы пожалеть мужа.

П о м п о н и я. Бедный ты мой. С войны да на войну. Кого же ты будешь судить?

А в л. Тебя.

П о м п о н и я. Меня?! Разве ты не мог и так, без суда, сказать, если имеешь какое неудовольствие?

А в л. Суд не возводит обвинения. Суд устанавливает истину.

П о м п о н и я. Кто же меня будет обвинять?

А в л. Рим.

П о м п о н и я. Рим? И чем я перед ним провинилась?

А в л. Печальным выражением лица.

П о м п о н и я. Разве... выражение лица... это не частное дело каждого?

Авл обращается к клиентам. Оба, соглашаясь, отвергают.

А в л. Конечно, ты права, но в редких случаях, когда поведение индивидуума начинает раздражать среду, среда вправе поставить его перед судом.

П о м п о н и я. Рим раздражен моим выражением лица?

А в л. Очень даже.

П о м п о н и я. Что же, я готова выслушать обвинение.

Продолжая прятать, подходит к Алтарю Стыдливости и садится.

П о м п о н и я (рабыне). Ноги не на что поставить.

А в л. Есть ли у тебя вопросы, просьбы, пожелания?

П о м п о н и я. Просьба только одна — чтобы руками не размахивали. От чрезмерных жестикуляций у меня начинает кружиться голова.

А в л. Не волнуйся. Все знают, что в суде жестикулировать запрещено. Артистизм часто искажает истину.

У Помпониции работа никак не налаживается.

П о м п о н и я (рабыне). Опять ты подсунула мне новое веретено!

Г и с п а н а. Старое сошло на нет, износилось.

П о м п о н и я. Чем больше износ, тем слаще память. Принеси.

За коврами, на площади, яростно стучат топоры.

П о м п о н и я. Фабулин, поди узнай — строят или рушат? Не могу видеть, когда рушат.

Ф а б у л и н. К сожалению, строят.

П о м п о н и я. Почему — к сожалению? Что именно строят?

Ф а б у л и н (*показывая руками*). Что-то в этом роде...

П о м п о н и я. Помост?! Для чего — для казни?

Ф а б у л и н. Похоже.

П о м п о н и я (*Авлу*). Разве им уже известно, чем закончится суд?

А в л. Это известно одному Юпитеру, но власти всегда озабочены тем, что к вынесению sententii помост может быть не готов.

П о м п о н и я. Хоть бы хорошо сделали, а то провалимся вместе с палачем. Рим обхохочется. Rideamus! С этим римлянин встает, с этим и ложится. Ты принесла мне веретено? Какое счастье! Рука прямо отдыхает на нем. Можешь начинать, dominus. Domina готова.

А в л. Скриб на месте?

С к р и б. Буквы всегда готовы.

А в л. Ворота?

Ф а б у л и н. Заперты.

А в л. Пусть откроют. Честный суд — это суд при открытых воротах. Отец Понтифик, благословите.

П о н т и ф и к. Sacer esto!

Получив благословение, Авл целует Понтифика и, помолвившись Юпитеру, возвращается на свое место.

А в л. Да погибнет мир, но свершится правосудие!

Трубочка играет мгновение божественного Просветления. Орлоносец отдает честь. Весь состав суда запекает «Рим, мой Рим», но в разгар гимнопения врывается низкорослый грек в сопровождении двух слуг.

Г р е к Д и о д о р (*заговорицки*). Из камня и железа!

П о н т и ф и к (*про себя*). Малый крепок, но ядовит.

Г р е к. Не спорю! В Риме можно найти мастера и подешевле, но лучше меня эту работу никто не выполнит.

А в л. Какую работу?

Г р е к. О, боги... Табула висит у ворот — срочно! прощальный портрет. Мрамор или бронза. Кого будем лепить?

П о м п о н и я. Похоже, меня. Если только прялка моя не помешает.

Г р е к. Ну, прялку-то мы уберем.

П о м п о н и я. Нет, не уберете.

Г р е к. Почему?

П о м п о н и я. Потому что прялка — это я и есть.

Г р е к. А если попрошу для лепки обличие немного открыть...

П о м п о н и я. Тоже нет.

Г р е к. Придется работать лежа на полу, но это обойдется в двойную цену. Ну-ка, как это у меня получится?.. О боги, это же подарок судьбы! Это то, о чем мечтают руки и душа в минуты горечи и отчаяния!..

А в л. Разве я кому-нибудь поручал вывешивать объявление у ворот?

Ф а б у л и н. И речи о том не было!

Г р е к. Как не вывешивали, когда оно у моего слуги за пазухой!

А в л. Если висело, зачем сняли?

Г р е к. Это мой долг. Когда мастер принимает заказ, в его обязанность входит снимать объявления, дабы жалкие имитаторы не беспокоили заказчика. Если не сойдемся в цене, нетрудно будет, уходя, повесить на место.

А в л. Покажите запись (*долго изучает*). Табула моя, но слова выведены чужой рукой. Мнение юристов?

Справа почесываются, слева покашливают.

А в л. Сожалею, мастер, но вынужден вам отказать.

Г р е к. Могу я узнать имя того мерзавца, который плохо отзывался о моих работах?

А в л. Дело не в ваших работах.

Г р е к. А в чем?

А в л. Присутствие ваятеля может помешать судебному процессу.

Г р е к. Каким образом?

А в л. Срочное увековечивание подсудимой будет на руку обвинению, но стеснит защиту, да и сама подсудимая...

Г р е к. Вы сказали — подсудимая?! Неужели?..

А в л. Именно, что ее.

Г р е к. Боги, что творится под небесами! И в чем она обвиняется?

А в л. В чрезмерной печали.

Г р е к. Простите, в безмерной... чего?

А в л. Скорби. Печали.

Г р е к. И как суд себе это представляет — безмерная печаль? Как она выглядит, сколько весит? И что это вообще значит — безмерная печаль?

А в л. Это печаль, которая тянется долго.

Г р е к. Как долго?

А в л. Ну, слишком долго.

Г р е к. А если это траур?

А в л. Поначалу это и был траур, но когда сроки траура прошли...

Г р е к. Какие сроки? Кем установленные?

А в л. Здравым смыслом.

Г р е к. А кому дано определить, до каких пор печаль законна и когда она как бы выходит за рамки здравого смысла?

А в л. Суду.

Г р е к. Который сейчас, вот тут, заседает?!

А в л. Который сейчас, вот тут, заседает.

Г р е к. С ума сойти!

П о н т и ф и к. Он оскорбляет дом, суд и всех присутствующих.

Г р е к. Но это же невозможно!!

А в л. Что именно?

Г р е к. Когда меня спрашивают, чего не хватает Риму, чтобы достичь былой славы Афин, я всегда говорю — печали. Безмерно веселый мудрым быть не может, а без мудрости нет и славы. Сотни лет мир находился в ожидании, когда это бесконечное веселье созреет до своего печального плода, но как только появились первые печальные лица, вы хотите...

А в л. Мы ничего, кроме установления истины, не хотим, стимато...

Г р е к. Диодор, но Афины знают меня как острослова и потому прозвали «Семянным перчиком», а семянные перчики, как вы знаете...

А в л. Суду незачем знать твое прозвище. Достаточно имени, и то для разового употребления.

Д и о д о р. Отчего такое бережное отношение к моему имени?

А в л. Оттого, что суд просит мастера Диодора вместе с его людьми проследовать обратно по тому же пути, по которому ворвались только что в этот дом.

Д и о д о р. Вы же видите, что я уже разминаю глину!

А в л. Ну и что?

Д и о д о р. Когда мастер ваяния запустил руки в глину, его только молнии могут остановить! Если волнует цена, могу уступить.

Входит молодая весталка в сопровождении двух ликторов.

А р и о н и л а. Sacer esto!

Все встают. Трубоч играет мгновение божественного Просветления.

А р и о н и л а. Да хранят боги этот дом. Простите, что защита опоздала, на улицах бесчинствуют Луперки, и я должна была обижаемых защитить.

Ликторы ставят ей переносной стульчик, она садится рядом с подсудимой.

П о н т и ф и к. Арионила, цезарь будет недоволен, узнав, что ты взялась защищать Помпонию Грецину. Зачем ты взвалила на свои хрупкие плечи этот непомерный груз? Только ли потому, что Помпония Грецина доводится тебе дальней родственницей?

А р и о н и л а. И вовсе не поэтому.

П о н т и ф и к. А почему?

А р и о н и л а. Храм Весты считает нужным защищать скорбь как таковую.

П о н т и ф и к. Ты полагаешь, скорбь — это благо?

А р и о н и л а. Мы полагаем, что скорбь — предвестник духовного обновления. Ничему не научишься, не воскорбев, ибо скорбь — это распутие, к которому нас боги всю жизнь ведут. Как гласит пословица, кто мудр, тот и печален, а кто печален, тот и мудр.

Потрясенный грек, широко расставив руки, направляется к весталке, чтобы расцеловать, но ликторы, императорские гвардейцы, охраняющие ее, направляют на него конья.

Л и к т о р ы. Не смей. *Persona sacrosacta!* Священная особа.

Д и о д о р. О поцелуе восхищения всего-навсего шла речь!!

Л и к т о р ы. Тем более не смей.

П о н т и ф и к. Раз пришла, твое место под алтарем.

А р и о н и л а. Почему так?

П о н т и ф и к. Огонь в этом доме может вот-вот погаснуть, и долг весталки уберечь его.

А р и о н и л а. Когда дому угрожают темень и холод, мое место у камина.

П о н т и ф и к. Где ты видела тут камин?

А р и о н и л а. Он рядом со мной. Молчаливый, теплый, весь в черном, сидит и сучит свою ниточку...

Д и о д о р. Вот на такой девице я мечтал в молодости жениться, да не встретилась...

П о н т и ф и к. А не кажется ли нашему греку, что его шутки стали неуместными?

Д и о д о р. Хорошо, если не понравится, не будете платить. Я поработаю ради натуры. Увидеть такое лицо и не увековечить?!..

А в л. Надеюсь, Афины не пали так низко, чтобы их при помощи слуг выдворяли?..

Д и о д о р. Мой господин, не оскорбляй вечность, если хочешь, чтобы нас считали ее частицей.

А в л. Почему ты думаешь, что я оскорбляю вечность!?

Д и о д о р. Потому что, может статься, через тысячу лет от всего этого великолепия останется одна женская головка, вылепленная вот этими руками...

А в л. Тогда пусть ничего не остается. Vale! Будь здоров.

Д и о д о р. Что спешить! Давайте лучше поищем компромисс.

А в л. Какие могут быть компромиссы, когда ты ворвался в мой дом, а я тебя выдворяю!

Д и о д о р. Admitum! Предположим, что если мне нельзя здесь оставаться как мастеру, я останусь как беспристрастный плебей с площади. По главному закону нашего права, закону двенадцати таблиц, *leges duodecim tabularum*, открыв ворота перед судом, вы уже не имеете права меня отсюда выдворять, если хотите, чтобы справедливость суда была признана народом. Ну а то, что я при этом буду разминать глину, это же нервный тик. У каждого плебея свои завихрения. На то он и плебей.

Авл обращается к клиентам. Один не знает, другой знает, но не в состоянии выразить.

А в л. Откуда тебе известны *leges duodecim tabularum*?

Д и о д о р. Откуда они мне известны! Позвольте сообщить суду, что больше половины всех Фемид вылеплены мной. Хорош бы я был мастер, если бы не знал, чем занимается моя богиня.

А в л. Не хочет ли сказать Диодор, что и Фемида, под сенью которой мы сегодня правим суд...

Д и о д о р. Где она? Ну, конечно же. Осмотрите тарелки весов. В одной найдете крошечное пшеничное зерно, а в другой плевел.

А в л. Это можно найти на весах всех Фемид в Риме, и потому это не может служить тайным знаком мастера...

Д и о д о р. Тайный знак находится на самом кончике меча, который Фемида держит в руках. Потрудитесь пощупать кончик ее меча, и вы найдете там крошечную каплю, как бы стекающую с лезвия...

А в л. *(осмотрев меч)*. В самом деле... И какой в это вкладывается смысл?!

Д и о д о р. Смысл в том, что моя Фемида — это не украшение в доме. Моя Фемида вся в трудах и заботах.

Оправдывает невинных, карает нарушителей закона. Поэтому ее меч в крови.

П о м п о н и я. Пусть остается. Лишь бы руками не размахивал.

Д и о д о р. О боги! Когда я в работе, мои руки в глине да в замыслах! Так, изредка подброшу реплику-другую по ходу процесса, и то не отрываясь от глины...

П о н т и ф и к. Так ты еще собираешься вмешиваться в работу суда?! Вот уж кого нельзя и на порог пускать, так это грека.

Д и о д о р. Все. Поздно. Впустили.

А в л. Тебе молча не работается?

Д и о д о р. Могу и молча, но это будет нарушением закона.

А в л. Какого закона?

Д и о д о р. *Leges duodecim tabularum*. Ибо, если здраво рассудить, что значит беспристрастный плебей с площади? Это тот плебей, который присутствует молча на суде, или тот, что подает реплики? Тот, кто стоит и молчит, его все равно что нету и никогда не было.

Авл обращается к клиентам. Правому сказать нечего, левому говорить не хочется.

П о м п о н и я. Греки любят таскаться по судам. Это общеизвестно.

Д и о д о р. Что до меня, то я обожаю суды. Не менее ста раз я бывал судьей, и раз десять меня самого судили. Без суда, как и без стакана хорошего вина, желудок перестает работать. Да простят мне домины это выражение.

П о м п о н и я. Но лепить, я надеюсь, ты не забудешь?..

Д и о д о р. Моя божественная домина! Истинная лепка есть лепка вслепую, когда боги работают твоими руками, а ты думаешь совсем о другом...

П о м п о н и я. Я, пожалуй, перевяжу платок, чтобы мастеру было удобнее.

А р и о н и л а. Храм Весты тоже просит за этого человека.

А в л. Что скажет родня?

П л а в т ы. Перевязать платок, чтобы обнажиться перед греком, недостойно римлянки.

Г р е ц и н ы. Не перед греком, а перед вечностью она обнажила свое лицо. Пусть грек остается.

А в л. Суд принимает решение оставить мастера Диодора в качестве плебея с площади, но время на его реплики отпускать не будет.

Д и о д о р. Реплики, как и внебрачные дети, идут вне регламента.

А в л. Замолчи. Ты уже мешаешь мне вести заседание.

Д и о д о р. Один только вопрос. Как насчет мулсума? Холодно и зябко, первый день после Луперкалий...

А в л. О мулсуме поговорим после вынесения *sententii*. Где клепсидра? Поставьте часы на видном месте. Сколько в них капель? Тысяча? Суд устанавливает по тысяче капель как для обвинения, так и для защиты.

П о н т и ф и к. Обвинению нужно дать больше.

А в л. Сколько именно? Две тысячи?

П о н т и ф и к. То, что касается веры и духа, не может быть ограничено капельницей.

Д и о д о р. Суд без капельницы — это бани для обоих полов.

П о н т и ф и к. Выгоните этого скабрёзника, пока он нам все не испортил.

А в л. По закону двенадцати таблиц плебея с площади невозможно...

П о н т и ф и к. Тогда заткните ему рот глиной!

А р и о н и л а. Мастер лепки хоть и пользуется грубыми выражениями, но в его словах светится истина, и потому защита уступает часть своего времени ваятелю Диодору.

А в л. Значит ли это, что храм Весты отказывается защищать?..

А р и о н и л а. Нет, мы будем защищать Помпонию Грецину.

А в л. Как можно кого-либо защищать, не располагая временем, чтобы произнести речь в его защиту?

А р и о н и л а. Присутствием.

А в л. Присутствием — и только?

А р и о н и л а. Розовый отсвет очага Весты выше слов и доводов. Теплый очаг — последняя наша защита.

А в л. Почему ты так думаешь?

А р и о н и л а. Потому что когда вам, мужчинам, трудно и одиноко и вы возвращаетесь искалеченными в войнах, одичавшими от сурового одиночества, вы идете к своим домам, к своим очагам, к своим матронам. Так защитите их!

Д и о д о р. В таком возрасте и такая мудрость?

П о м п о н и я. Она с шести лет в храме Весты. В храме тишина, один огонь потрескивает, а при тишине и свете пламени дух вызревает быстро.

Д и о д о р. К этому слову мне вспомнилась история...

А в л. Не надо никаких историй. Давайте установим, кто будет следить за тем, чтобы количество слов не преобладало над количеством смысла?

Д и о д о р. Это моя забота.

А в л. Почему ты думаешь, что такая деликатная вещь может быть возложена на плечи плебея?

Д и о д о р. Потому что у него развязаны руки. Только не знающий, кто кому и кем доводится, кто кому и чем обязан, кто и какие цели преследует, может называть вещи своими именами.

А в л. Сказано хорошо, но руки, руки, руки!! Напоминаю, что размахивать руками в суде не принято. Если будете злоупотреблять, распоряжусь завязать руки.

Д и о д о р. Обе?

А в л. Одну, как можно обе! Вяжут обе только восставшим рабам.

Д и о д о р. А если из двух выбирают одну, какую обычно принято вязать?

А в л. Наиболее выразительную. Итак, суд по поводу непрерывной скорби Помпонии Грецины открывает свое заседание. Помпония Грецина, ты доверяешь суду?

П о м п о н и я. Да простит меня мой господин, я совсем ушла в работу и не расслышала. Что мне надлежит делать?

А в л. Ничего не нужно делать. Вопрос в том, доверяешь ли ты судье, с тем чтобы как я решу твою судьбу, так оно и было?

Помпония перестает прясть и призадумывается.

П о м п о н и я. Ubi tu Gaius, ibi ego Gaia. Где ты Гай, там я Гайя. Где ты Валентин, там я Валентина.

А в л. Это клятва невесты, и ты произнесла ее давно, на нашей свадьбе.

П о м п о н и я. С тех пор ничего не изменилось.

А в л. Благодарю тебя. Слово для обвинения предоставляется делатору, иначе говоря донос...

Наступает долгая, мучительная тишина.

А в л. А где обвинитель? Кто будет выдвигать обвинение?

Г р е ц и н ы. Доносчик не явился! Чудовище, хватающее невинных за горло!

П л а в т ы. Давайте не забывать, что Марк Регул отмечен богами. На его обвинительные речи в суде собирается пол-Рима.

Г р е ц и н ы. Да на кой нам ляд его таланты, когда он своим красноречием погубил цвет Рима и нажил на доносах огромное состояние?..

П л а в т ы. Будем помнить и то, что он не просто копит, а увеличивает красоту вечного города. Его имение за Тибром превращено в рай земной, мраморные статуи выстроились вдоль берега реки...

Г р е ц и н ы. Что за радость от птичьего пения в его садах, когда хозяин этого рая впивается зубами в голову друга, казненного по его же доносу?!..

П о н т и ф и к. Именем цезаря!

Авл звонит в колокольчик.

А в л. Слово Понтифику храма Юпитера.

П о н т и ф и к. Напоминаю, что этот домашний суд назначен самим императором. Обвинитель тоже назначен императором. Наконец, напоминаю, что сам император — Понтифик Максимус, божественное лицо. Прямое или

косвенное оскорбление императора влечет за собой наказание мечом. Не хотелось бы, чтобы в этом доме потекла кровь до завершения процесса.

А в л. Да, но... обвинитель не явился!

М а р к. In pleno! В полном составе!

Выходит из ниши, расположенной между статуями — крепкий, основательный и порочный до того, что порочность заложена в самой форме его черепа.

А в л. Вот никогда не думал, что у меня в доме есть ниши, пригодные для засады...

М а р к. Что мы знаем о своих домах! Мы о них почти ничего не знаем. И приходится собирать домашние суды...

А в л. Но, Марк, разве так входят в уважаемые дома?

М а р к. Именем цезаря входят любым способом, всюду и везде.

А в л. А если ты уже был здесь, почему не взял слово, когда оно было тебе дано?

М а р к. Ждал, когда облают, чтобы обрести форму.

А в л. Без этого ты не можешь войти в форму?

М а р к. Могу, но дается труднее. Твои воины в легионах съедают по утрам луковицу для бодрости духа, а доносчика, для того чтобы он обрел форму, нужно публично назвать доносчиком.

А в л. Я не употреблял этого выражения.

Обвинитель разгуливает по дому, наслаждаясь его красотой.

М а р к. Нет, Авл, ты пробовал его употребить, но запнулся. Так вот, Авл, можешь им пользоваться свободно. Я доносил и доносить буду. Это не порок, это профессия. Боги меня одарили таким вот талантом.

А р и о н и л а. Божьи таланты дохода не дают, а ты берешь треть имущества со всех, на которых ты доносил, если доносы подтвердились.

М а р к. Кроме таланта доносы, конечно, требуют и немалого труда, а всякий труд должен быть вознагражден.

Д и о д о р. Боги! Он пришел сюда с вечера, чтобы прикинуть, что из всего этого богатства ему может достаться!

М а р к. Нет, мой умный глинолеп, я вошел с вечера, чтобы стены этого дома начали привыкать к моему голосу, к моему лицу. Я профессионал в своем деле, и дом, в котором мне надлежит произнести обвинительную речь, должен быть моим союзником.

Г р е ц и н ы. Он уже видит себя хозяином этого дома...

П л а в т ы. Не следует понимать слова в буквальном смысле...

Г р е ц и н ы. Да при чем тут слова, когда он ногтем пробует, хорошо ли отполированы мраморные статуи?

П л а в т ы. Знатоки искусства должны как-то удостовериться в подлинности произведения...

Г р е ц и н ы. Смерть доносчику!!

Вопли и шум невообразимый.

П о н т и ф и к. Именем императора!

А в л (*позвонив в колокольчик*). Слово Понтифику храма Юпитера.

П о н т и ф и к. Pax huic domini. Мир дому сему. Успокойтесь, ничего необычного. Обвинителю нужно время, чтобы освоиться с пространством, в котором ему надлежит произнести обвинительную речь. Как известно, poetae nascuntur, oratores fiunt. Поэтами рождаются, ораторами становятся. Многие известные и уважаемые ораторы ночуют в храме Венеры Родительницы, если на следующий день им предстоит произнести там речь.

Авл обращается к клиентам. Один не слышит, другой не понимает.

А в л. Суд удовлетворен разъяснениями Понтифика. Переверните клепсидру. Начинаем отсчет времени. Слово доносчику Марку Регулу.

М а р к. Благодарю. Но тянет гарью, скажу я вам! Почти год прошло после тех пожаров, а все еще тянет гарью. Вы чувствуете удушающий запах?

А в л. Вопрос кому?

М а р к. Вопрос суду.

А в л. Доносчик хочет начать обвинительную речь с прошлогодних пожаров?

М а р к. Нет, Авл, хотя к тем пожарам я еще вернусь. Заговорил же я об этих удушающих запахах потому, что дух гари — предвестник конца.

А в л. Конца чего?

М а р к. Конца всего.

Д и о д о р. Если Рим стоит перед смертельной опасностью, почему надо судить женщину, пребывающую в постоянной скорби?! Пепел может предвещать крах, а печальное лицо да не смеет?

М а р к. Хороший вопрос. Да будет известно афинскому философу, что одно дело — предчувствие гибели при готовности ей противостоять, и другое дело — предчувствие гибели при полном отречении от борьбы.

Д и о д о р. Одни боги знают, кто истинный воин, а кто воин показной.

М а р к. Не только боги, но и Отечество должно знать, что творится в боевых порядках наших легионов. Ибо что такое печаль?

Д и о д о р. Состояние духа.

М а р к. Perfectus. Отлично! Печаль есть состояние духа.

Д и о д о р. Смущенное состояние духа.

М а р к. Смущенно-тревожное состояние духа. Ибо вот к pater familias, отцам семейств, речь моя. Во время утренних приветствий ваши глаза помимо воли ищут на лицах близких и родных отсвет состояния духа. Заметив печаль, тут же вопрошаете — что случилось? Болезнь, горе, несчастье какое? Вы делаете все возможное, чтобы развеселить опечаленное лицо, и не находите себе места, пока не вытесните печаль за порог своего дома.

Д и о д о р. До сих пор все хорошо.

М а р к. Хорошо будет и дальше. Вопрос — почему нас так тревожит появление печального лица в доме?

А в л. Вопрос кому?

М а р к. Суду.

А в л. Судам вопросы не задают. Суды сами задают вопросы.

М а р к. Судам, конечно, не принято задавать вопросы, но отцам семейств, укрывающим своими могучими крыльями печаль в своем доме вместо того, чтобы выпеснить ее за порог, им я не только вправе, но обязан задать этот вопрос!

Д и о д о р. При оскорблении судьи обвинитель лишается слова.

М а р к. Что, и это из *leges duodecim tabularum*?!

Д и о д о р. Девятая табула. Вторая часть,верху.

М а р к. В таком случае я сам отвечу на свой вопрос. Появление печального лица в доме тревожит нас потому, что римская вера в римский дух, римские обычаи и римский образ жизни несовместимы с печалью. Римлянин не приемлет гнета ни под каким видом — будь то нашествие варваров, налет саранчи, или духовное уныние отдельного лица. *Vivere est gaudio!* Жизнь — это радость!

Д и о д о р. Радость без печали называется ку-ка-ре-ку!

П о н т и ф и к. За оскорбление обвинителя тоже предусмотрено кое-что в законе двенадцати таблиц.

М а р к. Пусть плебей с площади представит нам свою мысль вместе с корнями и листвой.

Д и о д о р. Я хотел сказать, что одни петухи не ведают печали. Но, во-первых, петухи никогда не отличались особым умом. Во-вторых, сами эти развеселые петушки были высижены в свое время тощими, глубоко печальными наседками.

М а р к (*в ярости*). Если ты, ничтожный афинянин, пригнулся тут при нас и зарабатываешь кусок хлеба, это еще не значит, что можешь совать свой нос в чужие дела!

Д и о д о р (*откладывая работу*). Ну нет, я этого не потерплю. Плебей скромн, прост, но в суде он равноправен. Я повязываю голову черной лентой оскорбления и выхожу на площадь искать поддержки у народа. Суд приостанавливается.

Площадь в самом деле наполняется народом.

П о н т и ф и к. Именем императора!

А в л. Слово Понтифику храма Юпитера.

П о н т и ф и к. Объясню создавшуюся ситуацию. Виноват обвинитель, который, не удовлетворившись краткой репликой плебея, потребовал от него представить мысль в развернутом виде. Зная прямоту и грубость нравов простонародья, суды обычно удовлетворяются первыми репликами, не разгребая, что там под ними.

А р и о н и л а. Храм Весты просит считать мастера лепки защитником подсудимой, наряду со мной.

А в л. Защищать подсудимую, так же как и выдвигать против нее новые обвинения, может каждый присутствующий. На то суды и заседают. Однако если в реплике больше слов, чем пальцев на обеих руках, тогда нужно особо просить слова.

Д и о д о р. Плебей слова не просит, зная, что ему его не дадут. К примеру...

А в л. А не надо примеров. Слово доносчику.

М а р к. Благодарю. Итак, мы установили, что появление печального лица в доме выводит жизнь семьи из равновесия. Но представим себе, что проходит день, и два, и три. Опечаленное лицо по-прежнему пребывает во власти скорби. Носит только черное, избегает людных мест, и речь ее немногословна.

Д и о д о р. В немногословии обитает ум.

М а р к. Возможно. Однако, если тот ум долго не дает о себе знать, что толку в нем?

Д и о д о р. Толк большой. Невысказанное освящает землю. Почему, вы думаете, мы говорим... terra sacra, святая земля? Только ли потому, что в Греции живут греки, а в Македонии македонцы?

А в л. А еще почему?

Д и о д о р. Земля свята потому, что самые великие, божественные истины ушли в нее невысказанными.

М а р к. Кто так сказал?

Д и о д о р. Я так говорю.

М а р к. Ты ваятель или философ?

Д и о д о р. Творчество есть философия по самой своей сути. Кто созидает без философии, тот отправляется на войну верхом на метле.

М а р к. Поскольку здесь зашел разговор о метле, я почитаю за благо вернуть вас к сути нашего процесса, к печально молчаливым женам.

Д и о д о р. Между прочим, в Греции многие предпочитают молчаливых жен. Хвалят не нахвалятся ими.

М а р к. Друг мой афинский, одно дело молчаливая жена с ямочками на щеках, и другое дело печально-молчаливая жена!

Д и о д о р. Молчаливая жена с ямочками на щеках сказала как-то на площади, что она скорее согласится прожить жизнь с одним глазом, чем с одним мужем.

М а р к. У нее был синяк под глазом?

Д и о д о р. Очень даже был.

Смех грозит сорвать процесс, но колокольчик возвращает его в законное русло.

М а р к. Благодарю. До сих пор мы установили, что печальное лицо есть непосильная ноша не только для семьи, но и для круга друзей, которые обычно собираются под крышей того дома.

Д и о д о р. Какое их собачье дело?

М а р к. Они остаются в убытке, ибо вот приходят в дом повеселиться, но появляется это печальное лицо, и гаснут улыбки, умолкают острословы, хорошее настроение улетучивается. И день уже не день, праздник не праздник, жизнь не жизнь. Что делать?

Д и о д о р. Сидеть дома.

М а р к. Сидим вот дома. И еще сидим. И так до каких пор?

Д и о д о р. Пока боги не произведут движение круга.

М а р к. Какого круга?

Д и о д о р. Круга человеческих судеб. В Афинах даже дети знают, что жизнь имеет форму круга! В том круге вписаны все состояния духа — задумчивость, печаль, ярость, любовь, доброта, нежность. Возвышенность духа и безмерная радость хороши только при любовных играх, они обеспечивают здоровое потомство. В остальном жизнь — сплошная печаль. И даже наши мимолетные

радости не что иное как странные цветки, выросшие на поле печали.

П о м п о н и я (*своей рабыне*). Поцелуй этого человека вместо меня.

М а р к. Обращаю внимание суда на то, что капли, израсходованные глупыми рассуждениями грека, должны быть возвращены обвинению.

Д и о д о р. Обвинение требует невозможного.

А в л. Почему так думаешь?

Д и о д о р. Потому что время, о котором идет речь, уже было реализовано, став частью моих размышлений. Возвращено оно никак не может быть.

А в л. Но я могу предоставить обвинению дополнительное время!

Д и о д о р. Это уже другое дело. Доносчику так и нужно было просить — дополнительное время вместо времени, использованного другим. Слова требуют аккуратности, особенно когда попадают в зубы доносчикам.

П о н т и ф и к. Оскорбление обвинителя предусматривает выдворение из зала суда.

П о м п о н и я. Пускай остается. При нем хорошо крутится нить.

Д и о д о р. Вы слышали? Это самая высокая похвала, которая когда-либо доходила до моих ушей.

Родня затевает небольшой спор, но колокольчик их примиряет.

А в л. Слово доносчику.

М а р к. Благодарю. До сих пор мы установили, что появление печального лица в доме тревожит семью, родню, ближайших друзей, обрекая их на унылое существование. Что же, в каждом доме — свои паны. Волнения отдельного дома не должны беспокоить весь Рим. Вопрос только в том — чье именно лицо опечалилось?

А в л. Вопрос кому?

М а р к. Вопрос самому себе. Известный ораторский прием. Я же и отвечаю на свой вопрос. Если в Риме опечалилось лицо несчастного плебея, сбежавшего с мест поселения, никого это волновать не будет. Но если опеча-

лилось лицо мыслителя, знатока законов, это не может не тревожить Рим. Если опечалилось лицо полководца, стоящего на страже империи, это не может не волновать государство. Если опечалилось лицо Понтифика, беседующего по ночам с богами, это не может не сказаться на всеобщем настроении граждан!

Д и о д о р. Обращаю внимание суда на то, что меч входит в тело не от удара, а от нажима.

М а р к. Если этот паршивый грек прервет мою речь еще раз, я объявлю его персоной нон грата.

А в л. Только сенат может кого-либо объявить персоной нон грата. К тому же, да простит меня уважаемый Понтифик, обвинитель зашел слишком далеко. Моя жена, Помпония Грецина, достойнейшая матрона, но она не мыслитель, не жрец при храме и тем более никакого отношения к управлению войсками...

М а р к. *Perfectus!* Именно эту реплику я поджидаю, чтобы успешно завершить свою речь. «Достойнейшая матрона Рима», так назвал подсудимую ее супруг и председательствующий на суде. Возникает вопрос — как достойнейшая матрона могла превратиться в печальное, молчаливое создание, оказавшееся сегодня перед судом?

А р и о н и л а. Протестую. Оскорбление достоинства римлянок карается по закону двенадцати таблиц.

Обе ветви родни вопят в один голос — «Протестуем»!!

П о н т и ф и к. Именем императора!

Колокольчик с трудом восстанавливает тишину.

А в л. Слово Понтифику.

П о н т и ф и к. Когда ораторы заходятся и закатывают глаза, не обязательно посылать за доктором. Обычные приемы ораторского искусства.

А в л. Суд принимает объяснение, данное Понтификом, и подсудимая не должна себя чувствовать оскорбленной. Слово доносчику.

М а р к. Бедная Помпония...

А в л (*в ярости*). Не смей жалеть мою жену! Свою пожалей!

П о н т и ф и к. Именем цезаря!

А в л. Слово Понтифику.

П о н т и ф и к. Согласно установившейся традиции, на время проведения домашнего суда *pater familias* теряет статус главы семейства, пока на нем судейская мантия.

Авл обращается к клиентам. Один не понимает, другой не знает.

А в л. Объявляю следующее. Вопреки древним традициям я, Авл Плавт, остаюсь *pater familias*, отцом своего семейства, всегда, всюду и везде. И когда я дома, и когда я на войне, и когда сплю, и когда бодрствую, и когда в моем доме праздник, и когда в моем доме заседает суд. Но если отец Понтифик настаивает, приношу доносчику свои извинения. Ему же и слово.

М а р к. Бедная Помпония, повторю я еще раз. Кто ее в Риме не знает, кто ее в Риме не любит! Будучи знатного рода, отличаясь умом и добротой, она почти все свое детство провела при императорских домах. Когда дочь Друза Юлия выходила замуж за молодого Нерона, Помпония на правах ближайшей подруги несла за ней *solus et fusus*, прялку и веретено. Увы, ранние браки так же рано и распадаются. И когда Юлия покидала дом Нерона, у ворот ее поджидала все та же Помпония. Потом Юлия вышла замуж еще раз, по слухам неудачно, вынуждена была принять яд. Что делать, когда жизнь не приносит больше радости, лучше с ней распрощаться. На этом Рим стоял, стоит и стоять будет.

Г р е ц и н ы. Юлию отравили потому, что она имела несчастье нравиться, а в империи давно расписано, кто красив, а кто нет, кого надо любить, а кого любить не должно... И вот рабы с Палатинского холма, вооруженные склянкой с ядом...

П л а в т ы. Не будем тревожить покой высших мира сего.

Г р е ц и н ы. Да как их не тревожить, если меч висит над нами!!

П л а в т ы. Над вами, но не над нами.

Г р е ц и н ы. И над нами, и над вами, потому что, породнившись, мы можем либо вместе спастись, либо вместе же и погибнуть!

Шум грозит сорвать процесс. Колокольчик безмолвствует.

П о н т и ф и к. Именем цезаря!

А в л. Слово Понтифику.

П о н т и ф и к. Хочется верить, что благоразумие и степенность, отличавшие всегда этот дом, восторжествуют и на этот раз. Все мы преисполнены чувством глубочайшего уважения к хозяйке этого дома, и если сенат два дня разбирал случай с бесконечной печалью Помпонию Грецины и передал это дело в наши руки и вот мы уже третий день разбираем все ту же драму, то это только потому, что Риму грозит крушение. Почти год прошел после того немыслимого пожара, но до сих пор тянет гарью. Давайте дослушаем обвинителя, тем более что он обещал вернуться к тому пожару.

А в л. Слово доносчику.

М а р к. При возвращении к пожарам встает один из самых трудных вопросов — кто поджег Рим?

А в л. Вопрос кому?

М а р к. Истории. Будущее, однако, молчит, и тогда я сам попытаюсь ответить на него. Рим подожгли те, кто не любит вечный город с его шумными праздниками, с его зрелищами, те, кто, ни во что не ставя наши обычаи, нашу веру, наших богов, предпочитают прозябать в печали.

— Протестуем!!

Д и о д о р. Мир устроен таким образом, что когда радуются одни, пребывают в печали другие. Наши радости всегда идут за счет печали других. И чем больше радости, тем глубже печаль.

— Протестуем!

А в л. Протесты отклоняются. Слово доносчику.

М а р к. Существуют подозрения, об этом говорит весь Рим, что семена глубокой, бесконечной печали завезены к нам из тех диких дальних провинций, которые никогда ничем, кроме суеверий, не славились.

Д и о д о р. Кто их завез?

М а р к. Сами завезли.

Д и о д о р. Зачем?

М а р к. На свою беду.

Д и о д о р. Каким образом завезли в Рим эту печаль? В корзинах, в бочках, в мешках?

М а р к. На своих плащах, на гривах и хвостах своих коней, вместе с грязными, невымытыми рабами завезли мы эту заразу, которая спалила две трети Рима и грозит самим основам...

А р и о н и л а. Время для обвинений кончилось. Клепсидра вытекла.

А в л. Переверните. Доносчик продолжает.

М а р к. Можете не трудиться. Время меня, как и того мастера, не волнует. Доносы, так же как и искусство ваяния, так же как и стихосложение, из вечных категорий.

Д и о д о р. Доносы тоже живут на Парнасе?

М а р к. Друг мой, доносы основали Парнас! Доносы — это величайшее искусство, ибо то, что стоит у основания жизни, то, что движет жизнью, не может не быть искусством!

А р и о н и л а. Слушая тебя, можно подумать, что Ромул и Рем начали с того, что выдали охотникам волчицу, которая их вскормила.

М а р к. Когда кончится твое служение в храме Весты, не знаю, найдется ли кто, чтобы взять тебя в жены.

П о н т и ф и к. Эти слова могут тебе дорого обойтись. Веста — богиня строгая и жестокая.

Ликторы с копьями наперевес направляются к нему.

М а р к. Я же пошутил! Между прочим я и сам, если был бы помоложе и свободным от семейных уз...

А р и о н и л а. Не трогайте его. Он целый день шутит.

М а р к. Итак, я продолжаю свою обвинительную речь и говорю — бедная Помпония...

А в л. Опять? Я не потерплю...

М а р к. Потерпишь, Авл. И для того, чтобы приучить тебя к выражению, которое, возможно, вскоре следом за мной повторит весь Рим, я еще раз скажу — бедная Помпония!.. Тяжелая судьба и заморские суеверия превратили достойнейшую нашу матрону, гордость вечного города, в обыкновенную прядильщицу шерсти.

А р и о н и л а. Храм Весты протестует! *Domī sedet, lanam ducit.* Это высшая похвала римлянке, она никак не может быть использована для ее унижения!

М а р к. Приношу храму Весты и домине Помпонии Грецине свои извинения за неудачную интонацию, но от слов своих не отрекаюсь и в доказательство того повторю еще раз — бедная Помпония! Как известно, существуют мужи-однолюбы. Одна всего подруга жизни. Один только раз цветет у них душа. Существуют женщины-однолюбки как по отношению к своим мужьям, так и по отношению к своим подругам. Любая римская матрона увешана подругами так, что ими можно Тибр запрудить, но вот Помпония имела всего только одну подругу. Похоронив Юлию, оделась в черное, лицо стало скорбным, и трауру этому нет конца.

Д и о д о р. Эти слова бы на медную доску, да на площадь!

М а р к. Для ничем не примечательной женщины это могло бы быть большой похвалой, но Помпония Грецина была и остается первой среди римских матрон. До недавнего времени она открывала праздник матроналий в священной роще у Лесной Дианы... Теперь этот праздник больше не посещает, и весь Рим спрашивает себя — что стало с Помпонией Грециной?

Д и о д о р. Почему Рим так всполошился?

М а р к. Потому что Помпония выросла и провела добрую часть жизни при императорских домах; видела и знает то, что мало кто в Риме знает. Ее черные одежды и бесконечная печаль стали задевать престиж императорского дома, она как бы ставит под вопрос нравы и мораль наших правителей, а это, в конечном счете, может сказаться на авторитете самого государства.

А р и о н и л а. Помпония Гречина почти не покидает стены своего дома. Она не касается той грязи, что день и ночь течет по улицам вечного города, а если кто и видит ее печальной и в черных одеяниях, то смею напомнить, что заглядывать через заборы в чужие дворы — дело постыдное и недостойное.

М а р к. Дитя мое, именно потому, что Помпония Гречина упорно не покидает стены своего дома, Рим только об этом и говорит! Дело дошло до того, что сам император попытался вернуть ее в свет!

Д и о д о р. А любопытно, каким образом император попытался это сделать?

М а р к. В силу своих неисчислимых талантов наш император создал сенатский театр, где роли исполняют высшие сановники и должностные лица. Помпонии Гречине как супруге полководца поручили небольшую роль старой матроны, советующей своей приятельнице принять яд, чтобы освободить город от ненужных пересудов. Что вы думаете? Помпония отказалась.

Д и о д о р. Под каким предлогом?

М а р к. Подохнуть со смеху. Помпония передала императору, что скоро время полоскать полотна, а у нее еще пряжа не перемотана, и ткацкие станки не поставлены.

Д и о д о р. Это самые великие слова, произнесенные когда-либо женщиной!

М а р к. Если суд немедленно не выгонит этого горшечника, я покидаю заседание, не завершив своей обвинительной речи.

Д и о д о р. Вы слышали? Меня, наполнившего дворцы Афин и Рима богами и богинями, называли горшечником! Повязываю голову черной лентой и выхожу на площадь. При оскорблении плебея суд прерывает свои заседания, пока площадь не скажет своего слова.

Переполненная народом площадь мычит, блеет и воем. И тут раздается гром, сотрясающий весь Рим и дом Авла Плавта. Боги предупреждают о недопустимости происходящего. Авл ищет клиентов. Правый отсутствует улично, левого-таки нет на месте.

А в л. Суд считает, что обвинитель обязан извиниться перед уважаемым мастером.

М а р к. Плебей никогда не обидится за то, что его называли горшечником: для плебея это хорошее, прибыльное ремесло. Но если кто претендует на большее, то смею напомнить, что суд отказал мастеру ваяния присутствовать на суде.

П о м п о н и я. Позвольте мне в таком случае принести этому доброму человеку свои извинения. Я даже могу вот развернуться вместе с прялкой, если ему так будет удобнее работать. Могу пересесть поближе. Пусть это пойдет в погашение долга за оскорбление, которое ему было нанесено.

Д и о д о р. Я принимаю извинения и снимаю повязку.

А в л. Суд считает инцидент исчерпанным.

М а р к. А я так не считаю. Пусть горшечник выйдет вон, иначе я схвачу его за волосы и вытолкну за ворота.

А в л. Хватать римского гражданина и таскать его куда-либо помимо его воли запрещено законом. Ты не посмеешь.

П о м п о н и я. Еще как посмеет! Участнику убийств римских граждан ничего не стоит хватать их за гриву...

М а р к. Ты что такое городишь? О ком ты говоришь?

П о м п о н и я. Об убийстве сына Юлии. Об Атике говорю я.

М а р к. Бедный юноша! Кажется, он погиб на днях весьма нелепо в цирке во время утренних игр. Жаль юношу, но в его гибели я не повинен.

П о м п о н и я. Повинен. Ты его окликнул. С твоего голоса началась череда событий, приведших к гибели мальчика, и по закону тех же двенадцати таблиц человек, голосом которого начато преступление, является главным зачинателем и, стало быть, главным преступником.

А в л. Обвинителю предъявлено тяжкое обвинение. Суд объявляет перерыв.

Занавес

А в л. Помпония Грецина! Отдаешь ли ты себе отчет в том, что обвиняя в убийстве своего обвинителя...

П о м п о н и я. Я никого ни в чем не обвиняю. Я просто хотела сказать, что для того, кто на днях участвовал в гибели красивейшего и умнейшего из юношей Рима, вытолкнуть кого-либо за дверь — пустячное дело.

М а р к. Она говорит неправду.

П о м п о н и я. Нет, я говорю правду.

А в л. Помпония Грецина! Сообщи суду все, что тебе известно об этом деле.

П о м п о н и я. Позавчера, возвращаясь с гимнастических упражнений, юноши решили не идти по мосту, а состязаться меж собой, кто быстрее переплывет Тибр с кошкой в руке. Атик приплыл первым, и как только нога его коснулась берега, Марк Аквиллий Регул его позвал.

М а р к. Сам я где был в это время? Что делал? Держал корзину с кошками?

П о м п о н и я. Нет, вы стояли на мосту и следили за мальчишескими шалостями.

М а р к. Я был не один? Нас было много?

П о м п о н и я. Полный мост пурпурных плащей.

М а р к. Был и голубой плащ с золотыми звездами?

П о м п о н и я. Был.

М а р к. Да-а... Все-таки основа нашей природы — это предательство...

Призадумавшись, доносчик долго прогуливается по дому, который, похоже, уплывает из его рук.

А в л. Подсудимая ждет ответа.

М а р к. Как известно, подавленное состояние духа сужает горизонты, сводя все к одному единственному вопросу, который несчастный повторяет без конца. В данном случае он звучит так — зачем позвал Атика?

Д и о д о р. Обвинитель вторично оскорбляет обвиняемую, что недопустимо по закону *duodecim tabularum*. Если это повторится, я выйду на площадь в черной повязке.

М а р к. Суд позволит мне больше не реагировать на реплики этого раба, измазанного в глине?

А в л. Ему можете не отвечать, но подсудимой ответить обязаны.

М а р к. Я не могу признать того, чего не было. Я не стоял позавчера утром на мосту.

П о м п о н и я. Стоял. Есть свидетели. Пол-Рима слышало, как вы ржали там на мосту.

М а р к. На каком именно мосту?

П о м п о н и я. На Новом, императорском.

М а р к. Но каким образом, почему мы все вдруг там оказались?

П о м п о н и я. Вы с императором спешили в цирк на *ludi publici*, утренние игры. На Новом мосту остановились, чтобы полюбоваться юношами, переплывающими реку с кошкой в руке. Первым приплыл Атик, и, как только он ступил на берег, ты позвал его.

М а р к. Наглая ложь.

Судья из последних сил сдерживает себя.

А в л. Мы можем судить Помпонию Грецину за бесконечное, ничем не оправданное печальное выражение лица, но называть лгуньей хозяйку дома, в который ты вошел незванным!!

— Смерть ему!! — *вопят обе ветви рода.*

П о н т и ф и к. Именем императора!

А в л. Нет! Я никому не предоставлю слова, пока доносчик не извинится!!

П о н т и ф и к. Именем нашего высшего божества, Юпитера!

Авл, покинув кресло, преклоняет колени перед громовержцем, молится про себя, затем, умиротворенный, возвращается в свое курульное кресло.

А в л. Слово Понтифику храма Юпитера.

П о н т и ф и к. Обвинитель действительно оскорбил обвиняемую. Я подтверждаю этот факт и требую от него принести извинения.

Марк Регул стоит в растерянности. Такого поворота он не ожидал.

М а р к. Что же, по закону двенадцати таблиц, которые так часто тут упоминают, я согласен заплатить быками и овнами за нанесенное домине оскорбление... Сколько там за это полагается?

Возмущение судьбы не знает предела.

А в л. Да будет известно доносчику Марку Регулу, что за оскорбление моего дома платят не овнами и быками...

М а р к. Могу серебром.

А в л. Кровью!

Ветераны, обнажив мечи, подходят и становятся рядом с доносчиком, как бы заключив его меж собой.

М а р к. Что это значит?

А в л. Это значит, что хотя тут заседает домашний суд, ты находишься в доме воина и полководца и нарушение уклада этого дома карается по законам военного времени.

М а р к. Авл! Подумай, прежде чем делать. Это может тебе стоить головы.

А в л. Свобода — пустой звук, когда она дешевле головы.

М а р к. И получается, что я как бы уже...

А в л. Именно.

М а р к. Ну, хорошо. Admitum. Допустим, что я позвал того несчастного Атика. Обвиняемая в состоянии сказать, какими именно словами я его позвал?

П о м п о н и я. Ты крикнул: «Атик, малыш! Иди получать свою корону».

Д и о д о р. Какую корону?

П о м п о н и я. Ну, за то, что первым приплыл с кошкой в руке...

М а р к. И что мне тот юноша ответил?

П о м п о н и я. Он спросил — домин меня зовет? И ты ответил — тебя, раз ты приплыл первым. Он взбежал к вам на мост, и это был последний день в его жизни. Ты погубил его.

М а р к. Против меня выдвигается обвинение в убийстве. Пусть тот, кто выдвигает это обвинение, выйдет перед судом и примет клятву.

П о м п о н и я. Я готова выйти перед судом и принять клятву.

П о н т и ф и к. Суд не может идти по этому пути.

А в л. Почему?

П о н т и ф и к. Выдвижение нового обвинения потребует прервать заседание, а мы этого допустить не можем.

А в л. Я могу прервать заседание.

П о н т и ф и к. Можешь, но не посмеешь.

А в л. Почему это я не посмею?

П о н т и ф и к. Начнутся волнения в городе. Слышишь, как воют и лязгают зубами площади Рима? Ты думаешь, это продолжение Луперкалий? Все взоры устремлены на этот дом. Веди заседание.

А в л. Но обвинитель уклоняется от вопросов обвиняемой...

П о н т и ф и к. Заставьте его отвечать.

А в л. Чем, оружием?

П о н т и ф и к. Если понадобится, то и оружием. Суд должен быть завершен сегодня. Рим ждет сентенцию суда. Мы не можем играть спокойствием вечного города.

А в л. Ветераны! Найдите мечами друг друга в сердце этого человека.

Орлоносец заходит спереди, трубач встает сзади. Один меч нацелен в грудь, другой в спину. Бросают жребий, кто начинает первым. Жребий выпадает трубачу.

— Начинаем?

— Начинаем.

— Unus.

— Duo.

У ветеранов с юмором не очень, мечи идут своим путем, и доносчик начинает вопить.

М а р к. Но это же невозможно!!

А в л. Что?

М а р к. Невозможно, чтобы матрона, которая годами не выходит из своего дома, именно в то утро оказалась вблизи императорского моста!

П о м п о н и я. А меня и не было там. Чего это я буду бегать ранним утром по берегам Тибра! *Domī sedet, lanam ducit.*

М а р к. Но тогда откуда, как ты могла все это услышать?

П о м п о н и я. Я дала Юлии слово быть матерью ее сыну. Я была духом-хранителем того юноши. Я всегда и всюду следовала за ним. Я слышала все, что говорилось там, на мосту.

М а р к. Будучи дома?

П о м п о н и я. Будучи дома. Это часто со мной бывает. Пряду и слышу голоса, которые очень, очень далеки от меня. Я слышала крик боли, когда варвары пронзили Авла стрелой. Слышала, как меня позвала Юлия в свой последний час. Слышала и то, что говорилось на мосту и чего ты признать не хочешь.

М а р к. Как я могу что-либо признать, будучи заключен меж двумя мечами!

А в л. Ветераны! Отбой.

М а р к (*после того, как ветераны вернулись на пост*). Допустим, что я там был и я его позвал. Он подошел к нам и что я сказал?

П о м п о н и я. Как все юноши, взволнованный близостью императора, он сначала прошептал «Салве, Цезарь». Император спросил окружающих — что он такое сказал? Все рассмеялись. И тогда Атик возопил, что было мочи: САЛВЕ, ЦЕЗАРЬ!

М а р к. Что император?

П о м п о н и я. Он сказал: «Душечка! Пойдешь с нами посмотреть *ludi publici*». Он пошел с вами, и это был последний день в его такой короткой...

Помпония вытирает слезы, а Марк принимается еще раз прогуливаться по дому, завладеть которым уже точно ему не дано.

М а р к (в задумчивости). По некоторым наблюдениям, завезенные к нам из Палестины суеверия обладают таинственным, провидческим даром. Этим они и опасны, этим и встревожили цезаря, потому сегодня в этом доме и заседает суд.

П о м п о н и я. Он опять уходит от вопроса. Не хочет на него отвечать.

А в л. Ветераны!

М а р к. Да оставь ты ветеранов в покое! Помпония, на что я тебе еще не ответил? Что ты хочешь еще узнать?

П о м п о н и я. Зачем ты позвал Атика?

М а р к. Император приказал.

П о м п о н и я. Это неправда. Я не слышала на мосту его приказа.

М а р к. Это не было голосом.

П о м п о н и я. А как?

М а р к. Не знаешь, как приказывают императоры? Глазами. Мне было указано глазами — вот того позови. И я должен был выполнить.

П о м п о н и я. Но подозвав юношу, приняв его под свое крыло, ты уже отвечал за него. Почему в цирке ты не спас его?

М а р к. Как я смог бы это сделать?

П о м п о н и я. Удержать руками. Вы же сидели рядом.

М а р к. Нет, рядом мы не сидели. Так сидел император, рядом был я, рядом со мной сидел сенатор Приск, и только за Приском сидел Атик.

П о м п о н и я. И даже если юноша был третьим от тебя, ты не мог до него дотянуться? Третьего римляне не спасают?

М а р к. Не в том дело, второй или третий... Даже если бы я был совсем рядом, я бы все равно ничего не смог бы сделать.

П о м п о н и я. Почему?

М а р к. Потому что цирк есть цирк! Все происходит мгновенно. Загорается и горит на твоих глазах, а влиять на происходящее никто не может.

П о м п о н и я. Расскажи, как погиб Атик.

М а р к. Пошли свою рабыню на любой перекресток за подробностями.

П о м п о н и я. То, что говорится на перекрестках, я уже знаю. Хочу услышать от того, кто был рядом.

М а р к. Не располагаю временем рассказывать суду о посторонних вещах.

Д и о д о р. Какие посторонние вещи! Если мы судим женщину за печаль, но не хотим касаться причин, породивших эту печаль, то зачем было устраивать этот карнавал? Проще было взять меч и убить.

М а р к. Рим без суда не убивает. Рим — родина права.

Д и о д о р. А если Рим — родина законов и права, тогда расскажи, как погиб юноша, чьей второй матерью считала себя подсудимая.

М а р к. Если Помпония слышит голоса на расстоянии, она должна бы все знать и без моего рассказа.

П о м п о н и я. В цирке голосов почти не было.

М а р к. А что было?

П о м п о н и я. Был вопль, потом шепот. Потом дикие вопли и тишина. И, наконец, страшный вопль и страшная тишина...

М а р к. А что, действительно похоже! Так и было. Первый вопль был вопль восторга, которым плебеи приветствовали цезаря. Но длилось это недолго. Император был не в духе.

Д и о д о р. Только что на мосту он был в прекрасном настроении!

М а р к. Цирк расстроил.

Д и о д о р. Почему?

М а р к. Игры плохо подготовили. Невыносимая вонь. Открыли клетки — ни хищников, ни рыка. Пиками и плетью выгоняли львов на арену. Не иначе, как их подкормили, хотя под угрозой смерти было запрещено кормить зверей за неделю до игр.

Д и о д о р. Много их было?

М а р к. Четыре льва да молодая львица, все вялые, сонные, безразличные. Где христиане? — спросил император у префекта Рима, руководившего играми.

П о м п о н и я. Что-то я не слышала такого вопроса...

М а р к. Вот они, на мостике, — ответил префект.

П о м п о н и я. И этих слов почему-то...

М а р к. Так глазами, глазами разговаривают в цирке! Цезарь посмотрел, куда ему указали, и расстроился вконец.

Д и о д о р. Христиане тоже были никчемные?

М а р к. Дюжина жалких оборвышей. Кожа да кости.

Д и о д о р. Я слышал, к весне христиане постятся, вода и хлеб.

М а р к. Даже если постились и похудели, нашли бы кого помоложе! Тюрьмы переполнены! Так нет же, взяли тех, что толклись в дверях. А кто обычно старается быть поближе к выходу?

Д и о д о р. Больные, нищие, калеки.

М а р к. День был испорчен с самого утра. Ну какие игры можно устроить между пятью сытыми хищниками и десятком обморочных иудеев?

Д и о д о р. Отменить.

М а р к. Было уже поздно, и мы решили заменить кормежку львов гадитанскими танцовщицами.

Д и о д о р. Они и впрямь так хороши?

М а р к. Огонь из всех девяти отверстий... Ножку поднимут, десять тысяч молотков...

А в л. Доносчик позволяет себе непристойности.

М а р к. Прошу прощения. Возвращаюсь к прерванному рассказу. Уже начали было загонять львов обратно в клетки, как вдруг император, который по своему обыкновению разглядывает все сквозь любимый изумруд, заметил среди осужденных упрятанную под лохмотьями юную, прекрасной внешности иудейку. Подозвав префекта, шепнул ему — *illa primo*. Ее первой.

П о м п о н и я. Вот к чему относились эти слова! *Ша primo*...

Отложив работу, встает и уже молча дослушивает.

Д и о д о р. Ради самой Минервы! Не губите мой труд!
П о м п о н и я. Отдохни. У тебя руки устали. А при чем тут бык?

М а р к. Какой бык?

П о м п о н и я. Еще о быке был там разговор.

За коврами, на площади, толпа безумствует.

М а р к. Действительно, когда сняли с нее лохмотья и девица ослепила цирк стройностью и белизной своего тела, цезарь спросил, почему не вывели на арену быка, чтобы разыграть Данаиду. Волосы короткие, ответил префект, нечем привязывать к рогам быка.

П о м п о н и я. Неправда, я этих слов не слышала.

М а р к. Так не словами же!

П о м п о н и я. И это — тоже глазами?

М а р к. Почему глазами? А руки на что?

П о м п о н и я. А как это сказать руками?

М а р к. Вот так он показал — волосы короткие, нечем привязывать...

П о м п о н и я. ...Но вопли, вопли! Почему не утихали вопли?!

М а р к. Я же сказал, что иудейка была чудо как хороша. Звери и те заматались. Потом плебс утих, а звери уже не могли успокоиться.

Д и о д о р. Цезарь тоже любит стыдливую девственность?

М а р к. Император не отрывался от своего изумруда: это вогнутое стекло, говорят, необыкновенно увеличивает разглядываемые предметы...

Д и о д о р. Свидетельствую перед судом. Среди иудеек иной раз попадаются такие, что мрамор в недрах плачет по их формам.

П о м п о н и я. Что же она, бедняжка... Ей совсем нечем было себя прикрыть?

М а р к. К нашему счастью, кто-то подбросил ей небольшой прозрачный кусок ткани и тем спас игры. Глядя, как она мается, прикрывая то одно, то другое, цирк вопил от восторга. Цезарь колебался меж двумя страстями,

не зная, какой из них отдать предпочтение. Решил ее помиловать. Поднял было уже руку, чтобы остановить игры, но то ли рабыня не заметила жест императора, то ли не поняла его смысла, то ли ей почему-то не хотелось больше жить. Накинув на плечи ту крошечную ткань, направилась к калитке, за которой рычали звери. Шла легко, красиво и с таким достоинством, что околдовала всех...

П о м п о н и я. И Атика?

М а р к. Тот совсем ополоумел! Когда она проплыла мимо нас, он застонал, он до того был убит горем, что иудейка улыбнулась ему и бросила в утешение ту прозрачную ткань, которая была ей уже ни к чему...

Д и о д о р. Дух человеческий!

М а р к. Платок был еще в воздухе, когда она открыла калитку. Бедный юноша! С платочком, прижатым к груди, он смотрел как старый лев подошел и принялся ее обнюхивать. Казалось, что и львы поддались ее чарам, но тут молодая львица, до того дремавшая у ограды, одним прыжком настигла свою жертву. Львы мигом озверели. Дикий, нечеловеческий крик...

П о м п о н и я. Я слышала тот последний ее крик...

М а р к. Не успели мы опомниться, как юноша, перемахнув через ограду, бросился в то кровавое месиво. Десять тысяч плоток взревели так, что небеса дрогнули. Потом наступила та страшная тишина, о которой говорила Помпония. Слышно было, как львы, растаскав добычу по углам, упиваются. Цезарь подал знак умертвить хищников и, как только их добились, покинул игры, растроенный сверх всякой меры.

Д и о д о р. Почему растроенный?! Рим в восторге, все говорят что таких прекрасных ludus publici давно не было!

М а р к. Ты забываешь, глупый грек, что император — певец и поэт. То что плебею в радость, поэту может быть в невыносимую муку. Dixi. Я сказал.

А в л. Обвинитель завершил свою речь. Слово защите.

П о н т и ф и к. Защита не может выступать, пока обвинение не сказало своего слова.

А в л. Три клепсидры, три тысячи слов. Dixi — сказано было.

П о н т и ф и к. Видимо, бессонная ночь и Луперкалии сказались на выдающихся способностях нашего друга. Он дал увести себя с главной мысли обвинения и даже в истории Атика не увидел главное.

П о м п о н и я. Может и увидел, но утаил.

М а р к. Клянусь своим единственным сыном: все, что было там значительного, я изложил самым добросовестным образом...

П о м п о н и я. Перед тем, как открыть калитку, или чуть раньше, иудейка сделала некий знак правой рукой.

М а р к. Ничего подобного. Даю голову на отсечение.

П о н т и ф и к. Марк Регул, мне поручено подготовить тебя к жреческому званию. Ты не сможешь служить в храмах, если будешь давать голову на отсечение за вещи, в которых не уверен.

М а р к. Да как не уверен, когда я был рядом!

П о н т и ф и к. Вы, молодые, когда видите обнаженное женское тело, кроме одной части тела уже ничего не видите. А между тем Помпония права. Иудейка перед гибелью сделала знак рукой.

М а р к (*ошалело*). Это может утверждать только тот, кто видел все своими глазами!!..

П о н т и ф и к. Мои глаза это видели.

М а р к. Твое кресло на подиуме пустовало.

П о н т и ф и к. Я стоял переодетым среди служителей цирка.

М а р к. Ты, Понтифик храма Юпитера, среди чистильщиков навоза!

П о н т и ф и к. По Риму ходят легенды, что христиане, которых бросают львам, перед тем как идти на смерть, производят над собой некий таинственный знак, после которого им уже ничего не страшно. Даже, кажется, после того знака они жаждут гибели. Нас, римлян, трудно удивить мужеством перед принятием конца, но тот иудейский знак нас озадачил... Коллегия понтификов поручила мне выяснить, каков его смысл, какова его тайна...

М а р к. И ты утверждаешь, что та иудейка...

П о н т и ф и к. Собственными глазами!.. Но это было не перед калиткой. С самого начала, как только стали рвать с нее лохмотья, она, чуть отвернувшись, правой рукой обозначила лоб, грудь, правое, затем левое плечо. И уже после того знака ничто не могло ее остановить — ни поднятая рука императора, ни глаза юноши, полные слез...

П о м п о н и я. У Атика глаза были в слезах?!

П о н т и ф и к. Я стоял в двух шагах. Лицом к лицу.

П о м п о н и я. И ты... не смог?!

П о н т и ф и к. На мне была серая роба, а раб, если он вмешивается в игры, его тут же умерщвляют...

Помпония снимает с себя покрывало, вытирает лоб, лицо, глаза.

А в л. Помпония Грецина, ты удовлетворена ответами?

Молча кивает.

А в л (скрибу). Почему не записываешь?

С к р и б. Кивки не поддаются буквам.

А в л (Помпонии). Суд просит подсудимую выразить свое удовлетворение словами.

Помпония показывает руками, что не в силах и, обхватив голову, начинает рыдать.

А в л. Итак, обвинение сказало свое слово. Защита готова выступить?

П о н т и ф и к. Не спеши, Авл, потому что нас, обвинителей, двое. Марк Регул обвинял от имени Рима, я буду обвинять от имени веры.

П о м п о н и я (подняв руки). У меня нет больше сил.

П о н т и ф и к. Пусть подсудимая не волнуется, речь моя будет краткой и состоять будет из нескольких вопросов. Суд позволит мне задать подсудимой свой первый вопрос?

П о м п о н и я. Я не в силах больше...

Авл спускается с трибуны, подходит к своей жене, и, приласкав ее, как маленького ребенка, долго что-то нашептывает. Потом возвращается на свое место.

П о м п о н и я. Слушаю.

П о н т и ф и к. Скажи нам, Помпония Грецина... Тебе известен тот таинственный знак, которым освящают себя сирийские рабы, идущие на смерть?

Помпония кивает.

П о н т и ф и к. Ты могла бы тот знак перед всеми нами изобразить так, чтобы мы смогли увидеть, как он выглядит?

Отрицательно качает головой.

П о н т и ф и к. А если мы тебя попросим?

П о м п о н и я. Нет.

П о н т и ф и к. Почему?

П о м п о н и я. Руки заняты. Доми сидит, ланам дучит.

П о н т и ф и к. А если мы отберем у тебя орудия твоего труда?

П о м п о н и я. Как отберете? Силой?

П о н т и ф и к. Силой, конечно. Ветераны!

Ветераны обнажают мечи. Весталка поднимается и становится впереди обвиняемой, широко расставив руки. Ликторы нацеливают пики на ветеранов.

А р и о н и л а. Богиня Веста через меня берет под свою защиту эту женщину и требует прекращения суда.

П о н т и ф и к *(в ярости)*. Ты понимаешь, несчастная, во что ты вмешиваешься? Коллегия Понтификов непрерывно заседает! Еще до захода ты будешь живьем закопана!

А р и о н и л а. Я с радостью приму смерть, лишь бы продолжал гореть огонь в этом доме.

П о м п о н и я. Детка, не делай этого... Я уже свое выпряла, а ты еще не начинала...

Всеобщему возмущению нет конца. Авл долго и упорно звонит в колокольчик, пока, наконец, устанавливается тишина.

А в л. Понтифик допустил грубую ошибку, угрожая применением силы моей домине. Ветераны будут наказаны за то, что обнажили мечи по чужому приказу.

Все возвращаются на свои места, которые они занимали до произнесения угрозы.

П о н т и ф и к. Мое слово или твое главенствует?

А в л. Сегодня, здесь, мое слово будет последним.

П о н т и ф и к. Возможно ли, чтобы ты ничего не знал о полномочиях, возложенных на меня?

А в л. Знаю, конечно.

П о н т и ф и к. И все же?..

А в л. Я здесь и хозяин, и судья. *Leges duodecim tabularum.*

П о н т и ф и к. Играешь с огнем, Авл. Играешь с огнем... По крайней мере, я могу продолжить вопросы?

А в л. Слово Понтифику храма Юпитера.

П о н т и ф и к. Помпония Грецина! Известен ли тебе смысл того знака, которым осеняют себя палестинские рабы, идущие на смерть?

Не отрываясь от работы, кивает.

П о н т и ф и к. Что означает тот знак?

П о м п о н и я (судье). Я обязана отвечать на вопрос?

А в л. Понтифик храма Юпитера — *persona sacrosanta*, на вопросы священных особ мы отвечать обязаны.

Помпония долго собирается с духом.

П о м п о н и я. Этот знак — орудие казни, на котором умерщвляют рабов. Первые два знака — лоб и грудь — означают длинный столб, вторые два — с плеча на плечо — поперечину, которую прикрепляют к тому столбу.

П о н т и ф и к (потрясенный). Кто бы мог догадаться!! И зачем они перед смертью...

П о м п о н и я. На одном из таких крестов был распят живой Бог, рожденный женщиной. Осеняя себя тем знаком, они присоединяют себя к Его страданиям.

Долгое молчание.

А в л. Обвинитель закончил свои вопросы?

П о н т и ф и к. Еще один.

П о м п о н и я. Я устала.

П о н т и ф и к. Один короткий, очень короткий...

П о м п о н и я. И последний?

П о н т и ф и к. Последний.

Подсудимая кивает.

П о н т и ф и к. Скажи нам, Помпония Грецина, когда тебе слышатся голоса? Именно в то самое время, когда они раздаются, или бывает, что и задолго до того?

П о м п о н и я. Большей частью — до того.

П о н т и ф и к. Хотя вы сегодня смеялись над моей старческой сонливостью, должен сознаться, что я, прикрываясь дремой, следил за подсудимой. Она почти весь день отсутствовала, к чему-то прислушиваясь. Что слышалось тебе сегодня, Помпония Грецина?

П о м п о н и я. Этого я не могу открыть.

П о н т и ф и к. Я обращаюсь к судье и к обеим ветвям, давшим жизнь этому дому. Весь Рим смотрит на нас, потому что речь идет о жизни вечного города. Не играйте с огнем. Не губите себя. Я желаю всем вам добра. Помогите мне.

Вся родня окружает Помпонию, советуя и жестикулируя, но она спокойно прядет, ничего не видя и не слыша из того, что вокруг творится. Попытки родни оказываются тщетны. Остается муж. Судья. Полководец. Pater familias.

А в л. Помпония! Не как муж, не как судья, а как друг, как самый старый и верный твой друг, обращаюсь к тебе с просьбой...

П о м п о н и я. Авл, но это же... тайна... моя... и твоя...

А в л. Открой ее, если они так уж хотят.

П о м п о н и я. Хорошо. Я слышала рыдания и речи на похоронах. Длинные, красивые такие похороны...

П о н т и ф и к. Чьи это были похороны?

П о м п о н и я. Tuas.

Понтифик подходит к Юпитеру, преклоняет колена и молится.

П о н т и ф и к. Что же, все мы смертны. И что я помру раньше, будучи старше вас, это тоже не тайна. Меня моя судьба не волнует. Волнует ваша судьба. Я пришел сюда не столько для того, чтобы произнести обвинительную речь, сколько для того, чтобы помолиться богам этого замечательного дома, попросить у них защиты, ибо Рим в опасности.

А в л. Если Риму что угрожает, призовем легионы...

П о н т и ф и к. Легионы не помогут.

А в л. Почему так думаешь?

П о н т и ф и к. Потому что на этот раз нам угрожает не нашествие, а самоопустошение. Это самое страшное из всего, что с нами могло случиться, ибо духовная пустота — она влечет за собой пустоту тотальную.

А в л. Духовные недомогания нам не страшны, пока горит вечный огонь у алтаря Юпитера.

П о н т и ф и к. Что толку в вечном огне, если боги отвернулись от нас и начали покидать наши дома?..

А в л. Кто смеет это утверждать?!

П о н т и ф и к. Я, Понтифик храма Юпитера, хотя мне это очень тяжело, утверждаю, что с каждым днем боги покидают наши дома...

А в л. Но... почему?

П о н т и ф и к. Мы оказались недостойными их.

А в л. Возможно ли, чтобы римские боги разочаровались в своих римлянах?!

П о н т и ф и к. Это должно было случиться.

А в л. Но почему это непременно должно было случиться?

П о н т и ф и к. Потому что по природе своей человек есть существо пустое, темное и жестокое. Кто из населяющих этот мир ворует больше, обманывает больше, угнетает больше? Кто разрушил и пролил больше крови? Какому еще из живых существ пришла в голову мысль превратить интимные отношения в цирковое представление? Мир, всецело поглощенный половыми инстинктами, прикидывающий, когда, как и с кем бы еще переспать, не заслуживает покровительства богов.

Д и о д о р. Афины рукоплещут Риму!

А в л. Reprobo. Отвергаю. Мы, конечно, пустые и грешные, сгоряча мы можем любую крепость стереть с лица земли, но умеем и созидать. Дороги и мосты, построенные нашими легионами...

П о н т и ф и к. Авл, дорогой мой! Только когда боги стояли за нашими спинами, только когда они одухотворяли наши замыслы, мы что-то значили, что-то стоили, что-то могли. В тот день, когда боги нас покинут, произойдет падение Рима.

А в л. Это значит, что Рим никогда не падет; наши судьбы уверенно покоятся на плечах наших богов.

П о н т и ф и к. Ты не смотри на мощные торсы, ты их лица разгляди! Разве не видишь, как лица богов преобразились?

Авл сходит с трибуны и долго оглядывает богов. Тяжело вздохнув, возвращается в свое кресло.

А в л. Ну, нет, мои боги не покинут этот дом!!

П о н т и ф и к. Ушедшие душою никогда уж не вернуться, даже если их тени продолжают оставаться среди нас.

Авл еще раз сходит с трибуны, еще раз обходит богов и возвращается растроженный вконец.

А в л. Что с ними случилось? Ты, Понтифик, владеющий языками богов и часто общающийся с ними, объясни мне, почему на лица богов легла печать отчуждения?

П о н т и ф и к. Потому что тот палестинский знак обитает и под крышей твоего дома.

А в л. Impossibili! Не может того быть! Как он мог сюда проникнуть?

П о н т и ф и к. Несколько лет тому назад в твоём доме проживала палестинская рабыня.

А в л. Болезненная, хилая такая. Как мне сказали, умерла.

П о н т и ф и к. Она скончалась, это верно, но успела занести в твой дом тот таинственный знак. После ее похорон Помпония перестала посещать храмы.

А в л. Это неправда. Свидетельствую, что каждую неделю, когда раз, когда два, собрав что полагается в таких случаях, отправляется...

П о н т и ф и к. Но куда она отправлялась, куда?

А в л. Думаю, в храм Доброй Богини, или в храм Венеры Родительницы!

П о н т и ф и к. Да будет тебе известно, что она ходит за Тибр, к заброшенным катакомбам!

А в л. Зачем бы она туда стала таскаться?

П о н т и ф и к. Туда сбрасывают подобранные возле цирка христианские кости. Там же схоронили, по ее просьбе, ту вашу рабыню...

А в л (*вне себя от удивления*). Это правда, Помпония?

Она молча прядет, думая о чем-то другом.

А в л (*в ярости*). Помпония Грецина! Встань во весь рост и отвечай суду! Правда ли то, что утверждает Понтифик?

П о м п о н и я. Правда.

П о н т и ф и к (*после долгой паузы*). Вот теперь и я могу сказать: *Dixi*. Обвинение доказано, обвинители умывают руки, возложив на судью вынесение приговора.

Авл сходит с трибуны, горячо молится Юпитеру.

А р и о н и л а (*тихо — судьбе*). Пощадите, пожалуйста, эту достойнейшую женщину.

Д и о д о р (*любясь своей работой*). Какой бы ни был приговор, вечность уже запечатлела образ обвиняемой, а это главное, ибо сам человек есть призрак в этом мире и только глина, одухотворенная богами, становится крупницей вечности.

А в л (*отмолившись*). Суд благодарит вас за помощь, за многотерпение, за понимание беды, свалившейся на наш дом; теперь просим пройти в сад, где вас ждет полагающееся в таких случаях угощение.

Вкусный запах еды и шум разливаемого по кубкам мусума быстро опустошают внутренний двор.

П о н т и ф и к (*оставшись последним*). Авл, подойди. У меня к тебе слово.

А в л. Слушаю.

П о н т и ф и к. Сегодня ранним утром по Риму прошел слух, что некий безумец замахнулся то ли знаменем, то ли древком на цезаря...

А в л. Возможно.

П о н т и ф и к. Ты полагаешь, тот, кто это сделал, помнил о том, что цезарь — Понтифик Максимум, верховный жрец, священная особа?

А в л. Раз свершил поступок, полагаю, что помнил. А почему ты спрашиваешь?

П о н т и ф и к. Потому что этот случай, возможно, будет обсуждаться на коллегии Понтификов. Без этого стал бы я выходить сегодня из дому! У меня который день голова раскалывается от боли. *Salvus sis!*

А в л. *E tu salve.*

Площадь гудит, площадь требует казни, а судья колеблется.

П а у л а. «Ты царь иудейский? — спросил Пилат. — Ты это сказал, — был ответ. — Я не вижу вины этого человека, — сказал Понтий Пилат. Омыл руки, отдал Его стражникам, и те одели на него багряницу, на голову надели терновый венок. Били его по ланитам и издевались, говоря, пророчествуй, кто тебя ударил?»

Авл подходит к Алтарю Стыдливости, снимает судейскую мантию, и, подстелив ее, садится у ног своей домины.

А в л. Помпония, голубка моя!

П о м п о н и я. Ау!

А в л. Как поживаешь? Что подделываешь?

П о м п о н и я. *Domini sedet, lanam ducit.*

А в л. Не устала от этой шерсти?

П о м п о н и я. Для матроны кормить и одевать — это не работа.

А в л. А что?

П о м п о н и я. Молитва во благо семьи.

А в л. Да хранит тебя судьба.

П о м п о н и я. Не волнуйся. Обойдется.

А в л. Ты исследовала печень птиц?

П о м п о н и я. Что резать куриц одну за другой, когда я и без них знаю, что день для нас будет удачным. Может, даже очень удачным.

А в л. Очень удачным он уже никак не может быть.

П о м п о н и я. Почему?

А в л. Разве тебя не было сегодня с нами? Разве ты не слышала, о чем тут говорилось?

П о м п о н и я. Урывками. Было что разумное?

А в л. Было много разумного и даже неожиданного для меня.

П о м п о н и я. Что может быть неожиданного для патриция в его доме?

А в л. Ну, хотя бы то, что наши рабы ославили нас на весь Рим. Все только и говорят, что о той маленькой палестинской рабыне. Как было ее имя?

П о м п о н и я. Паула.

А в л. С этим именем она к нам вошла, или ты ее так нарекла?

П о м п о н и я. Ее иначе как-то звали, но была небольшого росточка, и ей нравилось, когда ее называли Паулой.

А в л. Когда она умерла?

П о м п о н и я. Три года тому. В январские ноны исполнилось три года.

А в л. Отчего?

П о м п о н и я. От шерсти.

А в л. И от шерсти помирают?

П о м п о н и я. Если плохо промьгта и много с ней возишься, начинает теснить в груди. Иной раз я слышала по ночам, как Паула за стенкой тихо, стыдливо покашливает...

А в л. Как она попала к нам?

П о м п о н и я. Купили.

А в л. По какой надобности?

П о м п о н и я (задумчиво). То был страшный для меня год. Судьба не уставала карать. Сын погиб. Тебя пронзили

стрелой. Единственную подружку отравили. Возвращаясь с ее похорон по Виа Аппиа, тряслись в простой повозке, так что зуб на зуб не попадал.

А в л. Виа Аппиа — хорошая дорога. Зачем было трястись по обочинам?

П о м п о н и я. Я все время падала в обморок, и наши слуги, желая мне добра, решили вытрясти из меня горе. Ехали и ехали, трясло и трясло. Сердце болело, душа рыдала, в горле застрял вопль. Ты позволишь мне — в память о бедной Юлии?..

А в л. Ну, поплачь.

П о м п о н и я. Хотя, нет. Поплачу в другой раз, потому что вот въезжаем в Порто Кампене; бедная Паула уже слышит грохот нашей телеги.

А в л. Чего понеслись в Порто Кампене?

П о м п о н и я. Обочины колесо сломали. Свернули к работорыночному рынку, чтобы починить телегу. Пока чинили, решила пройтись. Шла вдоль какой-то огромной стены, жить больше не хотелось. И вот в те тяжелые мгновения из-за каменной стены меня окликнул голосок, очень похожий на голос Юлии.

А в л. Ты разыскала ворота и вошла.

П о м п о н и я. Я разыскала ворота и вошла в ту часть рынка, где продают рабов. Пустой рынок. День близился к концу. Кому нужно было купить — купили. Кого можно было продать — продали. Оставшиеся рабы сиротливо торчали на помостах, с ногами, побеленными мелом, с табличками на груди — кого как зовут, откуда, сколько лет, что умеет. День был жаркий, воск на табличках расплавился, буквы плохо прочитывались. Все мужи продавались, и только в углу, на отдельном помосте, стояла Паула. Подойдя, я прочла, что она из Палестины, ей шестнадцать лет и она хорошо умеет сучить пряжу. Это ты меня звала? — спросила я ее. В ответ она улыбнулась. Улыбнулась до того мило и светло, что невозможно было не ответить. А чем ответить, когда сердце рыдает? Собрала все силы. Не знаю, что у меня на лице получилось, но вылетел из горла ком. Впервые за много дней я свободно вздохнула; какая-то пелена сошла с моих глаз, и я увидела окружающий меня

мир. Прибежали слуги сказать, что повозка готова. Трястись дальше не было нужды и я пересела в носильное кресло. Мы были уже в двух шагах от дома, когда меня в третий раз позвали — на этот раз тихо, скромно, без всякой надежды. И я заплакала.

А в л. Почему?

П о м п о н и я. Жалко стало саму себя. Ибо есть родство по крови, но есть еще и родство по духу, которое выше и значительней родства крови. И сколько страданий доставляет нам родня по крови, а мы все не решаемся отдалиться от них; и как редко мы роднимся по духу и как скоро избавляемся от этого родства...

А в л. И ты послала слуг купить ее!

П о м п о н и я. Нет. Я подумала, что недостойно вводить ее в дом при помощи слуг. Сама поехала за ней. Рынок был пуст, но уборщики сказали, что рабов грузят на корабли, чтобы отправить куда-то. Ночью — с факелами, с корабля на корабль, пока не раскопали Паулу за корзинами с инжиром...

А в л. Чего она туда забралась?

П о м п о н и я. Молилась.

А в л. Разве место богов за корзинами с инжиром?

П о м п о н и я. Для наших богов это невозможно. Их Бог — всюду и везде. Увидев меня, Паула воссияла, как солнышко, и тут же стала осенять себя тем знаком.

А в л. Они — что, не только перед смертью?..

П о м п о н и я. Нет, они часто его творят над собой.

А в л. Как часто?

П о м п о н и я. Утром, едва проснувшись, и вечером перед сном. И еще перед началом и завершением работы, перед дорогой и после возвращения, а также если горе или обидит кто-нибудь... Паула или пряла, или молилась, другого состояния у нее не было.

А в л. Она была хорошей прядильщицей?

П о м п о н и я. Все что на мне, все что на тебе и даже под тобой — ее работа.

А в л. Ты хочешь сказать, что и эта судейская мантия?..

П о м п о н и я. И эта мантия.

А в л. А я как раз собирался спросить — как тебе могло придти в голову, что когда-нибудь в нашем доме понадобится судейская мантия!

П о м п о н и я. Это не мне. Это ей пришло в голову.

А в л. И не может того быть!!

П о м п о н и я. Клянусь. Однажды под вечер, незадолго до своей кончины, она вдруг опечалилась и сказала — боюсь, моя домина, что я много горя принесла в твой дом. После меня, говорит, город восстанет против моей домины. Позвольте мне сшить для нашего домина судейскую мантию, чтобы было кому тебя защищать.

А в л. Ты думаешь, ей тоже слышались голоса?

П о м п о н и я. Будучи молодой, она слышала лучше и видела дальше.

А в л. Вы говорили о том, что вам видится и слышится?

П о м п о н и я. Нет. Но она мне помогала уяснить себе то, что я вижу.

А в л. Как это происходило?

П о м п о н и я. Очень просто. Вот сидим и прядем молча. Мы обожали тишину и берегли ее, как только могли. Вдруг я вздрагиваю — да так, что веретено катится по полу.

А в л. От чего вздрагиваешь?

П о м п о н и я. Так ведь дикие орды несутся по нашим полям! Гул, свист, вопли. Все погибло — пшеница, ячмень и тот клин чечевицы, что ты засеял...

А в л. Какая пшеница, какой ячмень, какая чечевица?!

П о м п о н и я. Я говорю о наших полях в Нуде.

А в л. Так. И что с теми посевами стало?

П о м п о н и я. Уничтожены на корню. Крики, вопль, кровь. Ищу веретено, дрожат руки, Паула выловила, подала. Я уже начинаю приходить в себя, как вдруг слышу рядом ее голосочек: варвары — они варвары и есть...

А в л. Друг мой, Помпония!! Ну, откуда могут взяться в Нуде варвары! С чего им гулять по нашим полям! Что ты вообще знаешь о варварах! Наши легионы крушат их на бегу и складывают отрубленные головы в кучу, и куча та до самого неба! Оставшихся продают в плен, затем ты идешь на работорговый рынок, покупаешь рабыню, которую мои же воины приволокли из-за моря, садишься с ней

прясть шерсть, и она тебе рассказывает, как варвары уничтожают наши поля!

П о м п о н и я. Не Паула, а Гораций сказал — варварам достанутся ваши посевы.

А в л. Не слушай ты их, не читай этих клейменных! Истинный римлянин — это не поэт, а воин.

П о м п о н и я. Прости меня, если я помимо воли огорчила тебя.

А в л. А кроме варваров какие были еще видения?

П о м п о н и я. Ну, разные. Сидим, работаем, и вдруг земля под нами начинает качаться, и пахнет серой так, чтодохнуть нечем. Это земной дух, говорит Паула, или, как он тут у вас называется, Везувий.

А в л. Что Везувий! Он дымился при легендарной волчице и будет дымиться еще тысячи лет.

П о м п о н и я. А то вдруг вскрикиваю так, что слуги сбегаются!

А в л. Отчего вскрикиваешь?

П о м п о н и я. Ты же знаешь, как я их боюсь.

А в л. Кого?

П о м п о н и я. Крыс.

А в л. Да при чем тут крысы?! Откуда они взялись?

П о м п о н и я. Я думаю, то были крысы поражения. После каждого большого поражения, происходит нашествие крыс.

А в л. О каком поражении ты говоришь?

П о м п о н и я. Я не могу точно сказать, но это было, надо думать, величайшее поражение. Крысы кишмя кишели под ногами. Кругом — мраморные развалины, заросшие сорняками, а по ним гуляют полчища крыс. Приблудный кот хотел было на них поохотиться, они лавиной сошлись на нем, а когда разошлись, кота уже не было. Я ищу, куда бы ногой ступить, чтобы не стать на живую крысу, и вдруг вижу в мусоре очаровательную женскую руку с раскинутыми веером пальчиками. Поднимаю ту мраморную руку и мучительно гадаю, где я ее раньше видела, ведь видела ее много раз и даже целовала! И сквозь муки воспоминаний слышу рядом голосочек — Это Венера-мать, Родительница ваша.

А в л. И после этих слов она продолжала жить под нашим кровом, питаться с нашего стола?!

П о м п о н и я. Великое поражение показалось мне, а не ей. Это я подняла осколок богини Матери и мучилась догадками. Паула только помогла мне вспомнить, чья это была рука.

Авл поднимается, осматривает, хорошо ли прикрыты двери и нет ли кого за коврами, укрывающими портик.

А в л. Она знала латынь?

П о м п о н и я. Нет, языки ей не давались.

А в л. Как же вы общались?

П о м п о н и я. На арамейском.

А в л. Матрона выучила язык своей рабыни?!

П о м п о н и я. Это случилось как-то само собой.

А в л. Она тебе говорила слова, а ты их записывала?

П о м п о н и я. Нет, мы часто пели вдвоем. Она удивительно хорошо пела, я подпевала. Так и выучила слова.

А в л. Что это были за песни?

П о м п о н и я. Песни-молитвы. У них молитвы поются. И, знаешь, спетая молитва, это далеко не та молитва, которая произносится вслух или про себя. Бедная Паула, когда не кашляла, то пела. Лицо светится, глаза полны слез.

А в л. Вспоминала свою семью? Тосковала по ней?

П о м п о н и я. Часто по ночам всхлипывала и однажды призналась, что мечтает поскорее умереть, чтобы там, на небесах, соединиться со своими.

Авл призадумывается. Переполненная площадь угрожающе дышит рядом, за коврами.

А в л. Что она больше всего любила?

П о м п о н и я. Молитву, прялку и кусочек хлеба, обмоченный в красном вине.

А в л. А чего не любила?

П о м п о н и я. Города. Особенно Рим.

А в л. Рим не любить!!

П о м п о н и я. Даже не то что не любила, она его боялась. Войдя куда-нибудь, а я ее часто брала с собой, она прежде всего оглядывала потолок, крепко ли там все держится, не упадет ли ей на голову?

А в л. Помпония, друг ты мой сердечный! Как ты могла отдать уши и душу этой маленькой палестинской дурочке! Что она видела в своей жизни, что она знала? И что такое Иудея! Видела ты ничтожные лачуги, в которых живут иудеи? Видела ты их кое-как распаханные поля, ездила по их разбитым тропкам, которые даже дорогами назвать нельзя, потому что телега там не проедет?..

П о м п о н и я. Не в том дело, кто какой себе дом построил и как распахано его поле, и по каким дорогам ездит. Не это главное.

А в л. А главное что?

П о м п о н и я. У кого какой бог. Наши боги каменные, немые, а их боги живые, теплые, они с ними постоянно общаются.

А в л. Помпония, друг мой! Иудея — это самая непокорная наша провинция! Там прольется еще немало крови, но римский меч покорит тот край!

П о м п о н и я. Неизвестно.

А в л. То есть... как это — неизвестно? Почему неизвестно?

П о м п о н и я. Потому что воюют не только наши легионы с их повстанцами. Воюют и наши боги с их богами. И если их боги одолеют наших богов, победа останется за ними...

Говорить больше не о чем. Авл поднимается с пола, берет судейскую мантию, направляется к Юпитеру, но затем возвращается.

А в л. Спой мне иудейскую молитву.

П о м п о н и я. Она тебе не понравится. У них глухой, гортанный язык.

А в л. Все равно, спой.

Стоя, с судейским плащом на плечах, прослушивает псалом царя Давида. Тяжело вздыхает.

А в л. И какие в этой песне самые твои любимые слова?
П о м п о н и я. «Хлеб печали моей». Вот любимые мои слова.

А в л. Пора нам, Помпония, прощаться.

П о м п о н и я. Тебе дали армию? Отправляют усмирять даков?

А в л. Нет, армию я не получил, никого усмирять не идем, но в нашем доме, как ты, наверное, помнишь, заседает суд, и сентенция еще не вынесена...

П о м п о н и я. И ты думаешь?..

А в л. Все может случиться, Помпония, дорогая моя супруга, так что давай без свидетелей попрощаемся. Я благодарю тебя за жизнь, которую ты прожила рядом со мной, за то, что честью, правдой и трудом содержала мой дом.

П о м п о н и я. И я благодарю за то, что ты меня осмыслил и помог.

Они обнимаются, целуют друг друга. Надев плащ, Авл подходит к Юпитеру; преклонив колени долго с жаром молится, затем, обернувшись, спрашивает:

А в л. Разве моя домина не хочет стать рядом со мной, помолиться?

Она отрицательно качает головой.

А в л. У тебя есть другие боги?

Она кивает.

А в л. Укажи мне их.

Став лицом к восходу, приняв строгое выражение лица, Помпония осеняет себя крестным знамением. После чего, поклонившись мужу, молча удаляется.

Тишина стоит мертвая, веретена не жужжат, голосок исходит печалью.

П а у л а. «И пригвоздили Его ко кресту, и распяты
рядом разбойники насмеялись над Ним. Он же, увидев
неподалеку убитую горем мать, подозвал любимого учени-
ка и сказал — вот твоя мать. Ей же Он сказал — вот твой
сын. И, сильно воскорбев духом, изрек: «Отец! В Твои
пресвятые руки передаю дух Мой».

*Авл молится. Спина совсем сгорбилась, голова почти ка-
сается пола.*

*Вдруг, в порыве отчаяния выпрямившись, видит, что
постамент великого божества пуст. И рядом пустуют по-
стаменты. Сами боги и богини в спешке покидают его дом.
Поднявшись, Авлу удастся в дверях удержать одного Юпи-
тера.*

А в л. О, Юпитер! О, всемогущий бог моих отцов, бог
моих предков! Ты, который приладил Ромула и Рема к
сосцам волчицы и основал вечный город, сделав его сто-
лицей мира; Ты, родитель всех богов, дарящий свет и смысл
жизни; Ты, который остановил меня в моем постыдном
бегстве и бросил в гущу сражений, чтобы закалить; Ты,
который отправил меня на Британские острова и дал мне
силы покорить их; Ты, который вывел весь Рим на улицах
и площадях приветствовать Авла Плавта с венком триум-
фатора на голове, — почему Ты покидаешь меня в мой
самый трудный день жизни? Почему другие питаются
духом своих богов и слышат их голоса, а я духом твоим не
питаюсь и голоса твоего не слышу? Я ли не преклонял
колена, я ли не воскуривал фимиам, я ли не приносил тебе
часть всего того, что росло и зрело на моих полях и в моей
душе?

Юпитер размышляет.

Ю п и т е р. Рома!

А в л. Знаю. Это не только твое, это и наше всеобщее
горе, и потому римляне каждое утро, едва проснувшись...

Ю п и т е р. Нет.

А в л. Согласен, время жертвоприношений прошло, и потому я как воин перед лицом твоим готов принять решение... Конечно, сегодня не фимиам и быков, а самое дорогое, что у нас есть, мы должны принести тебе в жертву, чтобы спасти Рим. Но, Юпитер, я не создан для судейства. После целого дня пустословия мой дух устал, он не то что не летает, он и ползком еле-еле... Помогите. Подскажи то единственное слово, на котором должен быть воздвигнут приговор...

Ю п и т е р. Меч.

А в л. Итак, решено! Меч! Спасибо тебе, отец нашей справедливости. Меч — это закон предков. Чужеродное подлежит отсечению. На весах Фемиды не могут быть поставлены рядом — судьба Рима и судьба какой-то прядильщицы шерсти. Даже если она вернейший друг. Даже если она достойнейшая матрона. Даже если она редчайшей души человек. Но, Юпитер... Между нами говоря — что такое Рим? Плод наших фантазий, куча всего и вся, символ. Хоть и прекрасный, хоть и возвышенный, хоть и грозный, но все-таки символ. А Помпония Грецина — живой человек. Будучи поставлены рядом, человеческая жизнь и символ, как ты думаешь...

Юпитер размышляет.

Ю п и т е р. Лестница.

А в л. Прекрасно! Конечно же, лестница! Хотя, с другой стороны, если так подумать... Живьем закапывают в землю только весталок, нарушивших обет девственности. Допустимо ли, чтобы достойнейшая матрона Рима, хранившая очаг, честь и достоинство своего дома, осела в памяти народа рядом с этими шлюшками? Справедливо ли это будет? Согласно закону двенадцати таблиц, суд, который увеличивает несправедливости, не должен выносить свои приговоры. Если сомневаешься — воздержись. Сказано на века.

Юпитер размышляет.

Ю п и т е р. Гиар.

А в л. Вот слово, которое душа моя ищет целый день. Гиар! Островок в океане. Что с того, что необитаем. Под ногами какая-никакая земляца, волны плещутся, небо голубое. Конечно, это край света. По правде, Гиар это никакой не остров, а нагромождение голых скал, осажженных взбесившимися волнами. Змеи, черепахи да шакалы. Как там прижиться тому, кто боится крыс, кто чуть что падает в обморок!

Ю п и т е р. Гиар.

А в л. Хорошо, пусть будет Гиар, я пойду на это, но, всемогущий мой бог, ты прекрасно знаешь, что в мире живут парами. Я — и еще тот, которого любит моя душа. А если ты сечешь эту пару пополам, что от нее останется? Если на тех голых скалах птицы выключот глаза моей половине, они мои собственные глаза выключот! А они еще могут понадобиться Риму! На Дунае даки точат ножи против нас. Ты как покровитель Рима не можешь быть безразличным к городу, который основал!

Юпитер призадумывается. Действительно, там на Дунае, эти даки...

Ю п и т е р. Отлучение.

А в л. Благодарю тебя, громовержец, отец богов и царь людей. Ты был как никогда великодушен. Позволив моей руке выбрать самую малую кару, ты снял камень с моей души, хотя, если подумать, на закате дня, одинокая женщина, изгнанная из дома, в котором провела жизнь, отлученная от огня и воды, с узелком шерсти прижатым к груди, со своим старым веретеном... Но, Юпитер! Будучи богом верности, богом самого прекрасного, что только есть в этом мире, ты не можешь не согласиться со мной, что...

И осекся. Юпитера уже нет. Блуждая в тяжких раздумиях по опустевшему храмовому пространству, Авл натывается на глиняную головку, вылепленную греком, и мучительно долго, точно видит эту женщину впервые, со всевозможных точек изучает ее.

Клейменный раб, вбежав, бросается в ноги.

Ф а б у л и н. На площадь вот-вот прибудет цезарь. Гости спрашивают, как быть?

А в л. Пусть выходят приветствовать. Ворота открыты?

Ф а б у л и н. Ворота-то открыты, но им выйти не с чем.

А в л. Как не с чем?

Ф а б у л и н. Площадь ждет не песен под кифару, а приговор домашнего суда.

А в л. Что делать! Я и сам жду не дождусь того решения. Однако неволить свободу нельзя, тем более свободу принятия судейского решения...

Звонит в колокольчик. Вбегают слуги.

А в л. Откройте портик для парада и переоденьте меня для торжества.

Едва успевают снять судейскую мантию и надеть пурпурный плащ, как фанфары оповещают вступление императора на площадь. Конная гвардия разрезает толпу пополам, образуя проход. Медленно шествует пожарище пурпурных плащей, голубой плащ с золотыми звездами доминирует над всеми. Поднявшись на помост, Нерон поднимает руки в знак всеобщего приветствия, но народ безмолвствует и, кажется, смотрит куда-то в другую сторону. Оглянувшись, император видит меж колоннами портика одинокую фигуру Авла Плавта.

А в л. Салве, цезарь! Дом Авла Плавта приветствует тебя!

Н е р о н. Суд свершился?

А в л. С помощью Фемиды, цезарь.

Н е р о н. Почему на лезвии топора я не нахожу свидетельств вынесенного приговора?

А в л. Потому что подсудимая оправдана.

Н е р о н. По какой статье закона?

А в л. Благо семьи — наивысший закон.

Н е р о н. Я рос под другой статьей: благо Отечества — наивысший закон.

А в л. Отечество, цезарь, есть не что иное как совокупность отцовских домов. Без блага семьи нет и блага Отече-

ства. И только там, где дома стоят незыблемо, там и Отечество незыблемо стоит.

Нерон вытаскивает топор из чурки, долго изучает его лезвие. Устало садится на чурку. Берет топор, как обычно берут гитару, и поет:

Любовь и смерть — вот два крыла,
Два хищника перед прыжками.
Полет — и счастью нет конца.
Удар — и гаснет свет над нами!..

Площадь стоит окаменелая. Чтобы не искушать большие судьбу, Авл возвращается в свое храмовое пространство. Скульптуры уже нет. Вынесли и трибуну. Клейменный раб, прибежав, бросается в ноги.

Ф а б у л и н. Плохие вести, домин.

А в л. Говори.

Ф а б у л и н. Храмы вернули мулсум, который накануне выпросили, чтобы умиловить богов.

А в л. Почему ты думаешь, что это плохие вести? Наше же вернулось к нам.

Ф а б у л и н. Но, мой домин, это еще не все!

А в л. Говори.

Ф а б у л и н. На воротах появился знак. Высокий столб с короткой поперечиной. Хотели соскоблить, да не удалось. То ли деготь, то ли смола.

А в л. Оставьте как есть.

Ф а б у л и н. Но ведь это же... позор!..

А в л. Все в мире относительно, Фабулин. И то, что сегодня выглядит позором, со временем великою славою обернуться может, а то, что сегодня в зените славы, со временем великим позором может стать. Sic transit tempus. Так проходят времена.

Обойдя стоящего на коленях раба, Авл проходит во внутренние покои. Воины, отдав честь, закрывают за ним двери. Сумерки в храмовом пространстве мягко заполняют

пустые ниши богов и богинь. Тихо, пустынно, только у парадных дверей маятся двое ветеранов и плачет стоящий на коленях раб. Вдруг, поднявшись, раб восклицает: «Sacer esto!!» Трубочка играет мгновение божественного Просветления. И вот на небесах возносится огромный золоченый крест и откуда-то издали, через века и народы начинает пробиваться голос христианства, возвещавший наступление новой цивилизации.

Занавес

1995

РОССЫПЬ

* * *

Вдруг вырвалось пламя из топки
приморской часов эдак в шесть;
опять подтвердили раскопки,
что Царство Небесное есть.

И уж не оттуда ль скорее,
чем мы ожидать их могли,
вернулись со снегом на реях
с сезонных работ корабли?

В широтах немеряных — ночи,
ветрами сносимые, и
еще холодней и короче,
еще безымяннее дни,

когда из разбитой коробки
доносится хриплая весть.
...И владивостокские сопки
хранят в себе Осипа персть.

14.XI.1995

**Юрий
КУБЛАНОВСКИЙ**

— родился в 1947 году в г. Рыбинске. Окончил искусствоведческий факультет Московского университета. После выхода в американском издательстве «Ардис» сборника «Избранное», составленного Иосифом Бродским, был вынужден под угрозой ареста эмигрировать. Жил в Париже, затем в Мюнхене, работал на радио «Свобода». В 1991 году окончательно вернулся в Россию. Автор нескольких поэтических сборников. Живет в Москве.

Посвящается Соловкам

1

Всё освежёвано: непобелённый свод,
столбы опорные, само пространство храма
и стены, мощно скошенные вверх.
Как заколдованы — осклизлый частокол,
и проминаемые пальцем сваи,
и затхлая гидросистемы цвель.

Здесь в сорок первом встретил офицер
командировочный гурьбу мальчишек,
толкающих чумного пацана
на шее с камнем.

— Вы чего, ребята?

— Мы, дядя, стукача ведем топить.

Еще унылей — дальние скиты:
там кельи-камеры и посейчас с глазками
и сеет дождь в проломы потолка.

Но сколько это будет продолжаться?
О, думаю, минуты — не века.

Ещё бездействует Всевышнего рука,
и Божье око не решит снижаться,
и мощи иноков безжизненны пока...

Но всё вот-вот начнет преображаться.

2

Давно на Заяцком проложена тропа
тяжелой поступью помора.
И камни белые горой, как черепа,
лежат на берегу простора.

Здесь Божий Промысел
смешал для нужд своих
большие кости ратников советских,
эсеров пуганых, гвардейцев золотых —
с мощами старцев соловецких.

3

Отстреляли чаек соловецких,
дабы предприимчивый зэка
не послал цидуль антисоветских —
на архангельские берега.

Это он на ледяной ступени
держит вёдра полные воды.
Где теперь замученные тени?
Кто встает пред ними на колени,
говорит спасибо за труды?

Корешей, прихваченных в облаве,
старика, что ростом невелик,
столпника, поэта в первой славе
увели поутру к переправе

с острова — на Божий материк.

4

...Когда грядой туман осел
на разоренную обитель,
сноп лунный в озере истлел,
не хорошо, а как умел,
запел, подвыпив, здешний житель.

Бог любит каждый Свой острог:
еще вчера глазки, овчарки,
с прощаньем письма между строк —
а вот сегодня вдруг помог
товарищам наполнить чарки.

Весь день гребенчатой косою
ловили водоросли в море,
а вот теперь ночной порой,
галдя, расходятся домой...
И Белое вздыхает море.

Пора и мне — большую печь
набить дровами из сарая,
с трудами всё-таки разжечь
и дни считать до наших встреч,
клюкой по углям ударяя.

* * *

Осеннее солнце садится
за темный с прожилками лес,
в котором кустарник дичится
и листьев осталось в обрез.
У берега выпрыгну с лодки,
гремучею цепью взмахну.
Устал я, и хочется водки
хорошую рюмку одну.
Закат зеленеющий ярок,
но вокруг него стало темней.
И шелковый шарф — твой подарок
повязан на шее моей.

Рыбак

Рыбак, надеясь на улов,
силки сетей забил в колодки
и до утра сидеть готов
в ребристо-влажном чреве лодки.

Его замшелая фелонь
как видно не имеет сносу,
когда под красную ладонь
он подставляет папиросу.

...Но вот качается гамак
с большим и белым телом шуки.
И счастлив сумрачный рыбак,
сжимая ей на жабрах руки!

Не думаю, что я добрей,
когда тебя ищу и кличу,
а отзовешься — поскорей
спешу вернуть свою добычу.

Голодных чаек хищный гам
и огоньки-сороконожки.
И в темноте по берегам
пылают масляные плошки.

* * *

Златоверхий у жилья
в шумной клен раскачке,
где расейская своя
жизнь в трудах и спячке,

от которой вперекос
визави всего лишь
приснопамятный погост —
вот туда и клонишь.

...Приезжаю ль в город N,
занимаю номер,
никого не жду — взамен
тех кто жил да умер.

Убираю ль серым днем
за опавшим кленом,
вспоминаю ли с трудом
погода об оном,

возвращается ль в окно
мой высоколобый
кот, который заодно
с космосом утробой, —

в листопадных куч дыму
смыты все границы.
И скрипят, скрипят в доме
ночью половицы.

1995

* * *

Шавки у свалки
голодны, жалки,
их пожалей,
вихорь над креном
смешанных с тленом
валких полей.

...В поле былинку,
в милой слабинку,
лунный прогал,
то бишь глубинку,
в небе с овчинку
долго искал.

Октябрь 1995

ТАХАНА МЕРКАЗИТ

Повесть

Науму Ниму

1

Ну, перетеплился малость, что поделаешь. А с другой стороны, если как Мерцалова велела — в шортах да в майке, — уж лучше совсем без порток, чтобы прямым в дурдом.

Так рассуждал Петр Иванович Васин, спускаясь по трапу на летное поле аэродрома Бен-Гурион. Первое, что он увидел за пределами аэродрома: пальмы натуральные, будто в Сочах. И жару увидел — марево над бетоном колыхалось, как прозрачный желей.

Одет Петр Иванович был по-солидному: черный костюм, джемпер, сорочка — с галстуком, разумеется. На голове шляпа. В одной руке плащ, в другой — портфель (пожрать на первое время, мыло, то-се...).

На транспортной карусели уже крутились оба его чемодана. Один деревянный, сработанный специально под плотницкий инструмент; второй обычный, фибровый — там инструмент электрический: лобзик, рубанок, точило...

**Сергей
КАЛЕДИН**

— родился в 1949 году в Москве. Окончил Литературный институт. Дебютировал повестью «Смирненное кладбище» («Новый мир», 1987). Автор повестей «Стройбат» (1989), «Поп и работник» (1991), цикла рассказов «Коридор» (в книге «Коридор», 1987), рассказов «Рождество в посольстве Канады», «Когда б вы знали...» («Континент», №83-1995) и повести «Берлин, Париж и «Вшивая рота» («Континент», №84-1995). Живет в Москве.

Мартин, дурак, все смеялся, зачем ты с собой такую тяжесть прешь, там все дадут. Дадут, куда кладут! Кто ж это, интересное дело, свой инструмент чужому человеку даст? Пришлось Мартина маленько осадить: ты в своей яме сидишь и сиди, палочкой дирижерской маши, я тебя не учу. А в мое дело не суйся.

Петр Иванович подхватил чемоданы.

На специальных столах шмонали багаж. Не у всех, на выборку. К Петру Ивановичу подошла девушка, блондиночка рыжеватенькая. На левой грудке у нее табличка на прищепке, написано не русскими буквами, но и не местными крючками, а, может, по-немецки. Петр Иванович все-таки разобрал имя — Сара.

— Это ваш багаж? — по-русски, но как-то чудно спросила девушка.

— Мой, — кивнул Петр Иванович.

— Вы уже посещали Израиль?

— Первый раз, Сарочка, — улыбнулся Петр Иванович, но, видать, рановато.

— С какой целью вы предприняли свой путь?

— У меня родственница есть непосредственно, сватья мне, Ирина Васильевна Мерцалова. По всему миру поет. Ей тут у вас один еврей, муж бывший, дом подарил. Она просила меня его взглянуть. Я сам-то строитель.

— Вы читали Тору?

— Тору?.. — опешил Петр Иванович. — Это Евангелие, что ли? Читал.

— Вы посещаете синагогу?

— Зачем она мне надо? В церковь хожу иной раз... Может вы не поняли... Я ж не в евреи приехал записываться. Я в гости. Русский я. В командировку как бы...

— Откройте ваш багаж.

Петр Иванович заволок оба чемодана на операционный стол и отомкнул деревянный.

— Зачем вам это? — строго спросила таможенница.

— Инструмент мой, — недоуменно пробормотал Петр Иванович и сразу вспотел. — Я плотник...

Таможенница не стала его слушать, подозвала уже на своем толстого дядьку, видать, начальника. Плотницким

инструментом толстый остался доволен, а на электрический — набычился.

— Кто компоновал ваш багаж? — чистым русским, без примесей, спросил он. — Через посредника или лично?

— Сам собирал.

— Зачем вы везете это в Израиль?

— Ты что, издеваешься?! — Петр Иванович почувствовал острое желание слегонца заехать жиду в волосатое ухо. Он полез за папиросами, наткнулся на письмо Мартина по-английски, написанное на всякий случай для израильских властей.

Таможенник заглянул в письмо.

— Мерцалова — это кто?

— Мерцалову не знаешь?! Да она же у вас тут была! Вы ей премии сами надавали!..

— Релакс, — сказала Сара. — Спокойно. Отвечайте только на вопросы.

Петр Иванович аккуратно поплевал на незажженную папиросу, замаял для верности о ладонь и сунул в карман.

— Чего вы от меня хотите, черти? — произнес он потухшим голосом и присел по-плотничьи на корточки, считая разговор законченным. Теперь ментов ихних ждать, говорить без толку. А он еще в самолете выпил на халяву — могут и в трезвиловку засунуть... Пстой, пстой... Он встал, пошарил в пиджаке и протянул толстому фотку.

— Вот она.

На зарубежной фотографии мэр Тель-Авива вручал Ирине Мерцаловой приз. Она стояла возле белого рояля. Но самое главное было на обороте: «Желаю тебе, Петя, счастья в прекрасном Израиле. Ирина».

Толстый повертел фотку, только что не понюхал, вернул ее Петру Ивановичу, прижав руку к сердцу:

— Шабат Шолом!

Наклонилось было у Петра Ивановича желание развернуться и улететь назад, благо билет на полгода безразмерный... Ладно! Он плюнул на мраморный пол, теранул по плевку черным, специально для Израиля купленным полуботинком. Будем считать типа анекдота непосредственно!

Стеклянные непрозрачные двери бесшумно отворились. Петр Иванович вышел за пределы таможенной зоны. В Израиль!

Мог ли он подумать месяц назад, что окажется вдруг на этой ихней земле обетованной?..

2

Месяц назад перед участком номер один садового товарищества «Салют» притормозил, чиркнув низко посаженным брюхом по разбитой дороге, белый «Мерседес» народной артистки бывшего Союза Ирины Васильевны Мерцаловой.

На бревнах, сваленных вдоль забора, сидел невеселый ханыга в меховой шапке с ушами и в синих милицейских галифе.

Ирина Васильевна шагнула во двор. Посреди участка возвышалось грандиозное сооружение. Строение до половины было выполнено из красного кирпича, выше — сруб. Далеко, однако, сруб не ушел: три венца ощерялись поверху мощными шкантами. Вокруг были навалены готовые к кладке бревна с выдолбленными пазами. Меж бревен блуждали куры, поклевывая опилки, нервно дергал башкой цветастый петух, недовольный появлением нового человека.

В углу, у забора, притулилась крохотная времянка, обитая драным рубероидом. На оторванной дверце холодильника «Север-6» был сервирован стол. Ирина Васильевна подошла, заглянула в кастрюлю, вилкой поддела содержимое... Это оказался разваренный бычий хвост, опутанный водорослями петрушки. Окружали кастрюлю мутные стаканы, штук пять чесночин, две полубуханки чёрного хлеба и несколько яиц с прилипшим сором.

Рядом со столом, на земле, убранный щепой и завивающейся душистой стружкой, лежал сват Ирины Васильевны Петр Иванович Васин.

Три года назад сын Петра Ивановича Игорь женился на дочери Ирины Васильевны Наташе. Знакомство их состо-

ялось по вызову. Игорь работал врачом на «Скорой помощи». Ложный приступ аппендицита у Наташи оказался судьбоносным, и, как результат, Петр Иванович чохом — хоть и не сразу ладом — приобрел кучу родни. Оперную певицу с мировым именем, невестку, тоже певицу, но без имени, и внучку Машку — дочь Наташи от первого брака с молодым полужнаменитым балеруном. А также назревающего в настоящий момент во чреве невестки внука, однозначно обнаруженного неопасным рентгеном. Да еще свата, Мартина, дирижера музыкального. Его, правда, Ирина Васильевна как неродного держала в черном теле — он и не высывался.

Ирина Васильевна достала из сумочки дымчатые очки на золотой цепочке, пригляделась к свату. Лежал Петр Иванович бескровно. Она выбрала из яиц которое почище, отшелушила соломинку, расковыряла макушку и выпила.

— Курям кинь! — крикнул с бревна мужик в ушанке.

Ирина Васильевна послушно бросила скорлупу петуха под ноги и, обернувшись к ханыге, кивнула в сторону свата.

— Живой?

— Вчера освежались, — ответил тот и, помолчав, продолжил странно: — Просыпаюсь — ничего не слышу, посмотрю — ничего не вижу... Вот братан галифе подарил. Из милиции. Говорит, носи, Евгений, менты не загребут. Слушай, у меня комбикорм для курей кончился, давай на твоей машине в Глухово сгоняем, а? Пока он спит.

Ирина Васильевна не удивилась.

— У тебя ноги есть? — ласково спросила она своим знаменитым на весь мир контральто. — Ходить умеешь?

Мужик безропотно снялся с бревна и, придерживая рукой галифе, поплелся прочь.

Ирина Васильевна подпернула на коленях тесные джинсы, склонилась над распростертым родственником и пропела ему в ухо: — Вставать пора! Именинник! Царство небесное простишь!

Петр Иванович зашевелился, оторвал голову от земли: — Не понял. — И снова уронил лицо в стружку.

Ирина Васильевна мотанула вокруг шеи длинные концы шарфа и направилась к «Мерседесу».

Сват между тем поднялся. Провел расщеперенными ладонями по распавшейся густой волосне и — порядок: какой тебе пьяница-пенсионер, спортсмен на параде из пятидесятих годов. Одну за другой он принялся поднимать с земли пустые бутылки — смотрел их на свет, переворачивал и снова кидал на землю. Гостью он не видел.

— Было, — убеждал он себя густым басом. — У, Женька, паразит!.. Забью, как муху на стекле!..

— С днем рождения, Петр Иванович! — укрощая голос, но все равно раскатисто приветствовала свата Ирина Васильевна.

Петр Иванович мотанул похмельной головой, пытаясь стряхнуть наваждение: к нему направлялась Ирина Васильевна Мерцалова, держа на плече большую картонную коробку.

— Помоги, — она протянула коробку свату. — Дары-подарки.

Петр Иванович озадаченно напрягся.

— Ты как тут оказалась? Ничего не случилось? Сразу говори непосредственно.

— Все в порядке. Все живы-здоровы, просто в гости к тебе. Поздравить с днем рождения.

Петр Иванович поставил глухо звякнувшую изнутри коробку на дверцу «Севера-6», силясь осмыслить ситуацию. Да, — она, Мерцалова Ирина Васильевна, собственной персоной... Надо же! Года полтора морду воротила, не только зрить, слышать не хотела ни о каком Игоре, тем более Петре Ивановиче. Но и Наташка, даром что на вид фитюлька, с норовом девка оказалась. Год скрипела-терпела материно выкобенивание, а потом уперлась, и ни в какую. Это, мол, моя судьба теперь. И муж, и тесть, а для Машки он вдвоёв ещё и дед. Не принимаешь всех — нас с Машкой не принимаешь... Смирилась Ирина Васильевна — никуда не денешься, дочь дороже. Да и то сказать: за год Машка так к новому деду прикипела — водой не разольешь. Ну, и он к ней, старый дурак, соответственно. Больно уж ласковая девчонка оказалась.

«Деда», — все, — «деда»... Каково родной бабке слышать такое на каждом слове? Познакомились, встретились. Раз, два... А там как-то само покатилося-поехало. Сроднились непосредственно, сами как не заметили. Своя баба оказалась Ирина Васильевна, несмотря что знаменитость, по всему миру песни распевает. Но чтоб вот так — сама, сюда к нему, на участок, — такого еще не случалось. Петр Иванович был озадачен, даже чуток растерян.

А Ирина Васильевна, словно не замечая растерянности свата, собирала уже стаканы, споласкивала их под ручкой-мойником, ставила обратно на дверцу холодильника и безмятежно вела свой рассказ:

— ...Мотаюсь с раннего утра. Сперва в консерваторию, потом в театр...

Петр Иванович выкопал из-под ног чинарик и безуспешно пытался его запалить.

— ...в театре устроила разнос, так, для остротки, профилактически. Совсем распустились. Трудовой коллектив, трудовой коллектив!.. Я вам покажу трудовой коллектив! Демократы вшивые! Ишь ты, забастовкой они грозятся!.. Я говорю директору: забастовку объявят — в шею гони!.. Что ты никак не прикуришь? Спичку ближе поднеси. — Она надела дымчатые очки. И сразу помолодела.

— Без очков красивше, — отметил Петр Иванович, — хотя и постарше чуток. Ресницы-то у тебя! По очкам изнутри шоркают. Не приклеенные?

Ирина Васильевна засмеялась, сняла очки.

— Подергай.

— И так вижу, — кивнул Петр Иванович. — И зубы тоже хорошие, — добавил он одобрительно. — Как у Аллы Борисовны. У Пугачевой.

— Сказал! — Ирина Васильевна обиженно дернула головой, свернутая в пучок коса упала на плечо. — Алка-то какого года? Да и у нее, небось, искусственные. Она ж из косметических лечебниц не вылезает. То жир снимать, то еще чего. Молоденького себе завела!..

— Васильевна-а! — пробасил Петр Иванович. — Аллу Борисовну не замай. Я ее уважаю.

— Виски, джин, пиво... — хмуровато перечисляла Ирина Васильевна, выставляя дары на крышку холодильника. Похоже, сильно задело ее сравнение с Пугачевой. Достала из коробки стеклянную банку, протянула хозяину. Петр Иванович подозрительно оглядел ее, поморщился.

— Это что за гады?

— Креветки очищенные, не смертельно. К пиву. Да сядь ты, не суетись. — Ирина Васильевна потянула свата за карман брюк. — Ты ж именинник.

— Какие тут именины! Стройка вконец зае... Ладно, — отрезал Петр Иванович. — Гулять так гулять! — И свернул у джина крышку. — Будешь?

— Немножко, я за рулем... Ну, ты уж совсем, будто корвалол льешь — сорок капель... Вот та-ак. Не зовет сват, думаю, надо самой нагряться. За три года ни разу не пригласил!..

Петр Иванович промолчал. «Не пригласил!..» — хитра баба.

— Поехали, — Петр Иванович поднял стакан. — За все хорошее... Легко пошла, мягонькая, словно мышка... Как там молодые-то, бываешь у них? Или, может, Игорь опять чего... не в строчку? — не удержал-таки себя Петр Иванович, уколол.

— Оставь, Петя, проехали уже, — с досадой махнула рукой Ирина Васильевна. Но, помолчав, тоже не удержалась: — Конечно, я-то хотела, чтоб кто-нибудь из наших — театр, музыка, балет...

— У тебя уже один балет дома был, — проворчал Петр Иванович. — Завели дома пидора, как хорошо! А нормальный мужик, значит, врач, уже не подходит, не в строчку?

— Да подходит, подходит! Не заводись, сказала же. Сам знаешь — хороший парень, зря нос воротила. Признаю. Нет, честно, Петь! Я даже не ожидала. И Наташка другая стала, не узнать. Это она ведь меня сегодня к тебе отправила. Поезжай, говорит, у деда сегодня день рождения, а он на даче застрял. Сюда, видно, не приедет. Проведай хоть, поздравь, приятно деду будет... А, Петь! Или, может, я не ко времени? — Ирина Васильевна засмеялась, довольная.

Петр Иванович встал, освежил стаканы.

— Ну, ладно, — проговорил он растроганно. — Поехали. За сказанное!.. За тебя, за молодых! — Он выпил, постоял несколько секунд с закрытыми глазами. Поправился непосредственно. — Ты чего ж на «Мерсе»? По нашим дорогам — джип в самый раз...

— Сперли джип. Мартин сигнализацию забыл включить. Сейчас у всех угоняют. Уланову зимой остановили на шоссе, забрали машину. Чуть не замерзла старуха.

Петр Иванович выждал паузу из уважения к знаменитой балерине, кашлянул для перебивки темы.

— А у меня катер... слышала? Сожгли...

— Да я уж знаю, ребята сказали. Не повезло тебе, Петруша.

— А почему должно везти? Сам живешь, сам и вези... Главное, десять лет строил. Движок от «Волги». Авиационный охладитель масляного редуктора. Длина семь метров... Короче... Прямо у пирса. Белым днем...

— Денег хотели?

Петр Иванович кивнул.

— Откуда у меня деньги? Был бы прикуп — жил бы в Сочах! Да и были бы, не дал!

Они помолчали.

— Так один и живешь, Петь? — Ирина Васильевна решила отвлечь свата от грустной темы, но переехала неудачно, тоже на невеселую.

— Да я вроде как, Васильевна, уже приодолбился в одинаре-то. Хотя иной раз и скучновато, врать не стану... Ладно... Надо успех закрепить.

Ирина Васильевна накрыла свой стакан ладонью. Петр Иванович закрепил в одиночку, заел креветкой.

— Как Машка?

— Горюет, — вздохнула Ирина Васильевна. — Хомяк у нее сдох. Реву было...

— Давай я ей петушка молодого подарю, — предложил Петр Иванович, — кукарекать будет...

Он извлек из кастрюли хвост, раздербанил его, кости кинул кошкам, похлебку — на плиту. Пока он кухарил, Ирина Васильевна зашла внутрь недостроенного дома. Походила, вернулась.

— Небоскреб!.. Не справиться тебе, Петя, с ним. Нанял бы мужиков...

— Кого?! Женьку?.. — неожиданно разозлился Петр Иванович. — Рвань эту. Уж лучше я Машку подожду. Она говорит, погоди, дед, я вырасту — помогать тебе буду.

— А я все понять не могу, чего ее сюда тянет?.. У нас в Пахре дача с бассейном, а ее отсюда за уши не вытащишь.

— Здесь природа живая: пруд, курочки, кот Полкан, Мурка с котятами... Андрюха вон, сторожа сын — жених, — Петр Иванович мотнул головой в сторону калитки.

Ирина Васильевна обернулась. Возле забора стояло странное существо — лысое, толстое, с полуоткрытым ртом. Андрюха блаженно улыбался, катая на ладони пинг-понговый шарик, и помыкивал.

— Бабка его покойница, — продолжал Петр Иванович, помешивая варево, — на участке у себя посебень-траву выращивала. Вроде жень-шеня, только наоборот — людей изводить. Она Андрюху, бывало, на все лето из дурдома брала. Хворостиной его стегала за непослушание. А как таблетку ему забудет дать, он на нее кидается: то доской, то зубом непосредственно. Озорной.

Поспел суп-кондей. Дымящееся варево Петр Иванович разлил по кружкам. Ирина Васильевна не совсем уверенно приняла свою порцию.

— До Чикаго-то долечу после него?..

Под ногами мяукнула пестрая полусиамская кошка с впалыми боками. Петр Иванович мельком взглянул на нее, потом наклонился.

— Ну-ка, ну-ка, Мурка, иди сюда... Так. Точно. Ощенилась утром непосредственно. Теперь все, Мура, хана тебе. В лес отвожу, на пенек ложу — разрубаю надвое: пусть бежит в разные стороны! Три раза в год! Никакого прокорма не хватит! Да плюс полушку сегодня обгадила, сучонка! Хотя это вроде Полкан...

— А где котята?..

— Котята!.. Дура она тебе! Попрятала. Знает, сучка, что пока слепые, я их запросто купну.

— Топишь?!

— Мя-мя-мя, — напомнил о себе Андрюха.

— Вот тебе и «мя-мя-мя», — Петр Иванович побарабал ложкой в кружке, попробовал, не горячо ли, и протянул Андриюхе. — Ну, ступай. Отцу привет пионерский. Кружку вернешь.

— А дом ты свой, Петя, никогда так и не достроишь, — задумчиво сказала Ирина Васильевна.

— Не дострою, — покорно согласился Петр Иванович.

— Вот что, Петр Иванович! У меня ведь к тебе разговор. — Ирина Васильевна решительно закрутила косу в пучок и воткнула в голову костяную шпильку-рогатку. — Оставь-ка ты пока свою стройку века. Тебе денег надо заработать?

— Ну, надо.

— Так вот, ты знаешь — мой первый муж, отец Наташки, был еврей...

— Знаю. Бывает.

— Станный у нас был брак, по молодости. Да и он странный был товарищ. В университет пешком ходил: туда — два часа, обратно — два. А по дороге думает — работает. И дома спросишь его что-нибудь, а он: «Не мешай, Ирочка, запомни свою мысль, я думаю». Ученый, солнечные батареи все выдумывал. А у меня, сам понимаешь, жизнь совсем другая... Развелись. Ему, правда, ходу не давали. Не печатали, на симпозиумы не пускали. Когда мы развелись, он уехал в Израиль. Больше не женился. Живет один с экономкой. Ну вот — в прошлом году была я в Израиле на гастролях, он меня нашел и, представляешь, дом подарил! Дачу на озере. Я ему говорю: мне таких подарков, Наум, не надо, я сама богатая. Хочешь, запиши дачу на внучку. Так он взял и переписал на Машку... — Ирина Васильевна помолчала. — Надо бы поглядеть, что там. Я не знаю, попаду еще когда в Израиль... У меня гастроли на два года вперед расписаны. И жару я не переношу, да и евреев, если честно, не очень-то. Съездил бы туда ты, Петя, а?.. Взглянул, что за дом. Может сделать что надо... И вообще там люди с хорошими руками нарасхват. Страну заодно посмотришь. Колыбель христианства... Ты в Бога-то веришь?

— Вот сподобился, — Петр Иванович достал из кармана брюк бечевку с крестиком, надел на шею. — В прошлом году вместе с Женькой крестились. С будуна пошли... Когда отдыхаю, — он кивнул на бутылку, — снимаю, грех как-никак.

— Вот и грехи свои замолишь. В Иерусалиме. Поедешь?

Петр Иванович выкопал в щеле бычок, раскурил.

— Там же все по-еврейски говорят.

— По-русски тоже.

Петр Иванович в раздумьи взял трущуюся о его штаны Мурку за голубой хвост и со словами «не мешай» кинул кошку за дрова.

— Петь! Мужик ты или нет?! — Ирина Васильевна пошла в наступление. — Съезди, помоги сватье, беспомощной, слабой женщине!.. — Она рассмеялась. — Поезжай, Петь! Отдохнешь, поглядишь, что за дом, может и подзаработаешь... Там хорошие руки в цене.

— В пустыню загнать хочешь?..

— Да на озере у него дом! На Тивериадском озере. Где Иисус ходил. На яхте покатаешься. У Наума яхта с мотором.

— С мотором?..

— Ага. Да и мужик он хороший. Только старый очень и больной.

— Чем?

— Чем-чем. Тем самым. Только у стариков это все дольше тянется. Ладно, думай, а я разомнусь немножко.

Ирина Васильевна пошла по участку. Петр Иванович залюбовался ею. Тоже ведь под шестьдесят, а выступает — пава. Взгляд его сполз вниз по ее статной фигуре и вдруг запнулся: за ажурным высоким башмачком что-то волочилося, как портянка из худого солдатского сапога. Пригляделся: бинт эластичный.

— Ирина Васильевна, — окликнул он, не зная, как подступиться, — на левой ноге у тебя, не споткнись... — И подхватил ведро — воды набрать якобы.

Ирина Васильевна поставила ногу на бревно, задрала брючину.

— Вот так, Петенька. Звезда, знаменитость. А ты постой тридцать лет у рояля. Булавки маленькой нет?

Петр Иванович нашел булавку и, присев на корточки, сам заколол бинт. И даже захотелось ему погладить больную ногу. Но не погладил.

Ирина Васильевна спустила брючину.

— Ну, поедешь?

Петр Иванович улыбнулся.

— А споешь мне?

— Что, сейчас?

— Непосредственно. А то ведь я здесь так тобой и не похвастался. Скажут, врет Васин с похмела...

Гори-и, гори-и... моя звезда!..

Председатель садового товарищества прервал подкормку смородины элитного сорта «Минай Хмырев» и замер с вонючим черпаком в руках.

— Это у кого ж радио в такую силу?! — крикнул он через забор сторожу.

— Васин развлекается, электру жгет. А ведь киловатт — сто двадцать целковых с августа... День рождения у него, вот и куролесит.

...Звезда-а любви... Звезда заветная-а!..

Председатель, заслушавшись, рассеянно пролил пенный раствор себе на ноги.

— Знаешь, кто поет?

— Мерцалова, — слегка обиделся сторож. — Ирина Мерцалова. У меня с ней пластинки есть...

— Погоди, дай послушать.

...Умру ли я, ты над могилою
Гори-сияй, моя звезда-а!..

— В Большом театре выступает, — сказал сторож. — Мы с супругой еще на балет с ней ходили.

— На оперу, — поправил председатель задумчиво.

Накидано, насоломлено,
На меня, на атаманку, наговорено.
Что хотите, говорите — будет все по-моему,
А твои штаны в полоску оболью помоями!..

— То есть?.. — пробормотал ошалевший председатель. — В смысле? Это не радио...

Возле участка Васиная стоял белоснежный «Мерседес». За забором на ошкуренных бревнах восседала не очень молодая красавица. Она пела, простирая роскошные руки к Петру Ивановичу. Тот стоял перед ней со стаканом желтого питья.

Ах тын-перетын,
Перетыннина,
Любовь, как огонь,
Перекинется!

Красавица закончила свою партию. Петр Иванович плескнул из граненой бутылки в ее стакан, они чокнулись, выпили и поцеловались. И только тогда она небрежно заметила:

— Петя, к тебе гости.

Петр Иванович обернулся.

— Заходи, мужики. Сватья моя — Ирина Васильевна Мерцалова.

3

...И зря он сомневался насчет экипировки. Встречающие — в основном, мужики — все были в черных костюмах, в шляпах. Только у евреев шляпы черные, а у Петра Ивановича — беж. И рубашки у них почему-то без галстуков. Зато волосня какая-то по бокам. Может, это пейсы и есть? Скорей всего. А у некоторых еще из-под пиджаков бахрама белая вылезает... Так. А кто ж меня встречает?.. Должны с плакатом...

— Васиная кто встречает?! — гаркнул он.

Из толпы выпростался запыхавшийся лысый бородатый мужик лет сорока пяти в толстых очках. На груди у него

висела табличка: «Встречаю Васина Петра Ивановича». Петр Иванович никогда еще не видел свою фамилию, написанную такими большими буквами.

— С приездом, Петр Иванович! — Лысый без разговоров перехватил у него чемодан с электричеством и, к немалому удивлению Петра Ивановича, не помер тут же на месте. Похилился малость, но попер без особой натуги.

— Может, тележку взять? — предложил Петр Иванович.

— У меня машина рядом, метров триста.

«Дает еврей!» — улыбнулся Петр Иванович, и настроение у него пошло на поправку. Он кивнул на окружающую среду:

— Тель-Авив?

— Он самый. Не люблю. Жлобский город. На Бескудниково похоже. Иерусалим увидите, это да!

В зарубежной машине, иномарке, сидела баба, помоложе лысого, но тоже в очках, правда, не таких толстых. Малость вислоногая.

— Алка, жена моя, — сказал лысый и только теперь сунул гостю вялую руку. — Миша. По-здешнему, Моше. Так ведь и она по-тутошнему не Алка...

— А чего, Алла — очень красивое имя, — сказал Петр Иванович, загружая чемоданы в багажник. — Вот Пугачева Алла Борисовна...

— Петр Иванович, — перебил гостя лысый, — тут вот какие у нас осложнения, не знаю, говорила вам Ирина Васильевна, Наум бен Арон, ну, в смысле Наум Аронович, он... болен. Сейчас ему хуже, положили в больницу. Останьтесь пока у нас, потом разберемся. Алка, падла невестая моя, врубай, поехали! Кушать хочется.

Алка устало улыбнулась. Петр Иванович сразу просек, что балабона своего она любит.

— Курить можно?

— У нас все можно. Алка, включи мазган. Он же кондиционер.

— А разве жарко? — искренне удивился Петр Иванович. Алка взглянула на него с такой страдальческой завистью, что ему стало неловко: — Припекает вообще-то... Как в Сочах.

— Мишке вот жара хоть бы что, — вздохнула Алка, выруливая на шоссе. — А я помираю. С мая по сентябрь ни одного дождя.

— Полукровка, одно слово. Лучше скажи, пожрать приготовила? Алкоголь есть в доме?.. Молчит, зараза. Значит пусто.

Петр Иванович деликатно перевел тему.

— Природа здесь как в Крыму непосредственно?..

— Какое! Там рай! Алка сама из Ялты кстати, я ее там на пляже отловил...

— Ну вот же — вроде пальмы?..

— Так не росло ж ничего! Посадили. Ничего не было — каменная пустыня... На севере в Галилее получше. Алка, ты мне не ответила на поставленный вопрос: есть в доме жарчка с питьем или нет?

— Я ж сутки дежурила, — уныло отозвалась Алка. — Не отвлекай меня, а то врежусь. Я работаю, понимаешь?

— Она работает, а я?

— Тоже мне работа!.. Сидит до двух в университете, с девками треплется!..

— Это — да, — скромно подтвердил Мишка, кивая лысой головой. — Очень девок люблю. И они меня, отдать должное, тоже.

— С такой-то лысиной? — усмехнулась Алка.

— Борода компенсирует. И вообще: укороти метлу, женщина, следи за базаром.

Петр Иванович приятно оторопел, уж больно лексикон знакомый. И вопросительно взглянул на Алку.

— Да не сидел он, не сидел! — засмеялась она. — Он просто книгу пишет по бандитскому языку, по жаргону.

— И, между прочим, спецкурс веду в Иерусалимском университете, прошу не забывать.

— А кому ж ты его ведешь, этот курс? — поинтересовался Петр Иванович, само собой перейдя на «ты».

— Студентам-славистам. Они русский язык всесторонне знать должны. Алка, у нас газета есть? Когда сегодня звезда взойдет?

Алка достала из бардачка газету и, не оборачиваясь, протянула мужу. Мишка зашуршал бумагой.

— Та-ак... можно не спешить. Звезда сегодня в семнадцать тридцать две. А сейчас семнадцать тридцать семь. Всё! Спасибо тебе, золотушница моя. Поясняю гостю наши туземные порядки. Вы, Петр Иванович, попали в гости к мудакам. До завтрашнего вечера все магазины закрыты. Алка, тормози у танка, я тебя убью, ты будешь моей прошедшей женой.

Действительно, на каменистом откосе, поросшем колючим кустарником, стоял крашенный суриком допотопный броневик. Рядом на камне была табличка. Алка останавливаться, разумеется, не стала.

— Памятник войне сорок восьмого года, — сказал Мишка.

— Кто победил? — поинтересовался Петр Иванович.

Мишка на секунду примолк, внимательно разглядывая гостя в зеркало заднего вида. — Как кто? — стараясь погасить в себе удивление, ответил он. — Евреи, конечно. Арабы воевать не умеют.

— Ну, не скажи-и... Я на Кавказе служил, там грузины...

— Так то грузины, — перебил Мишка, — а здесь — арапы. Кстати, о грузинах. Вот Иосиф Виссарионович умный был человек, а дурак. В сорок восьмом году своей собственной рукой организовал государство Израиль. Вернее, не запретил, не наложил вето. Хотя евреев, как известно, люто ненавидел. Уверен был, что разреши Израилю сегодня возникнуть, завтра коалиция арабских стран объявит Израилю войну и сметет его с лица земли до основания, а затем... А перед всем миром Ёся, значит, будет интернационалист и миротворец. Не вышел фокус. Евреи размолотили арабов за себя и за того парня...

Петр Иванович понимал, конечно, — тюлю порет лысый, однако осаживать Мишку не решался, в гостях какникак. Только морщился незаметно.

— А что если нам к арабам заехать? — вслух подумала Алка. — У них все и купим. В Вифлееме?

Петр Иванович вздрогнул.

— Да, да! — закивал в зеркале Мишка. — Туда, где Иисус родился! Сейчас там арабский город, одни арабы живут. Машину нашу камнями закидают, а нам отрежут яйца...

— Поедем в Вифлеем, — твердо сказала Алка, притормозила и стала разворачиваться.

Мишка покорно сложил руки на животе.

— Господи Иисусе, спаси, сохрани и помилуй!

Вифлеема никакого не оказалось. Был проклятый пыльный пригород без единого кустика. Грязно-белые одинаковые двухэтажные дома с плоскими крышами. Пацаны на замызганных улицах гоняли в футбол. О стену терся осел, и минарет торчал на площади. Поехали дальше и уткнулись в некрасивую кубастую церковь.

— Храм Рождества, — сказал Мишка.

— Это... где Иисус родился? — неуверенно предположил Петр Иванович.

— Точно. Хотите, зайдем?

Храм Рождества больше был похож на крепость. Двое из трех ворот были замурованы. Алка осталась в машине. Петр Иванович с Мишкой вошли в храм.

— Шестнадцать веков церквушке, — заметил Мишка. — Остальное все покрушили, поломали, кому не лень, а этот вот не тронули почему-то.

Они подошли к алтарю. Петр Иванович, не заметив, чуть не наступил на заделанную в пол серебряную звезду. Рядом со звездой надпись. Мишка перевел: «Здесь Девою Марией рожден Иисус Христос».

Слева от алтаря была большая икона Богородицы. Под иконой стеклянный ящик для пожертвований. Петр Иванович достал портмоне. Засомневался: в одном отделении доллары, в другом — рубли. Мишка помог:

— Не надо доллары, рубли нормально.

Петр Иванович вытянул все русские деньги и сунул в ящик.

Машину за время их отсутствия камнями не закидали, Алку не изнасиловали. Правда, сидела она с поднятыми стеклами.

Остановились у какой-то лавчонки.

— Сидите в машине, — вдруг приказал Петр Иванович. — Я сам. Нужно будет, кликну.

Он зашел в магазин.

— Салям алейкум!

Пожилой, обычно одетый араб — костюм, рубашка — перебирал четки. На приветствие кивнул.

— Из Москвы я, — сказал Петр Иванович. — Русский. Поесть надо. А у них шабат назревает. И выпить. — Петр Иванович выразительно пощелкал себя по горлу и пожевал вхолостую.

Араб вышел из-за стойки и повел его по магазину. Ткнул пальцем в круглые лепешки: «Пита?» Петр Иванович кивнул, ткнул пальцем в пиво: «Бира?» Опять кивнул Петр Иванович и дальше уже обходился без поводыря. Забуксовал он только на алкоголе. Араб снова пришел на помощь, стал предлагать одну бутылку за другой. На каждой из них был нарисован плод, а водку на растениях Петр Иванович отвергал в принципе. Араб наконец достал с полки большую прозрачную бутылку, на которой по-русски было написано «Водка».

— Годится, — кивнул Петр Иванович. — Две.

Расплатился он долларами и подарил арабу притаившуюся в дальнем отделении пятитысячную русскую денежку. Араб от себя кинул в пластиковый мешок Петра Ивановича зажигалку «Крикет» и пакетик орешков. Белозубо улыбнулся.

— Бай-бай.

Петр Иванович в знак дружбы пожал сморщенную коричневую лапку араба.

— Чудеса, — только и сказал Мишка, заглядывая в набитую доверху суму Петра Ивановича.

Но настоящие чудеса ждали Петра Ивановича позже, уже в Иерусалиме.

Проезжая часть улицы была перегорожена.

— Ремонт? — предположил он.

— Шаба-ат, — плохо скрывая застарелое раздражение, проскрипел Мишка. — Ехать нельзя. Камнями кидать начнут.

— Арабы? — озабоченно спросил Петр Иванович.

— Да нет, евреи. Религиозники, хасиды. В шабат ничего делать нельзя. Работать нельзя. На машине ездить нельзя. По телефону нельзя. Дурь, короче. — Мишка поморщился. — Одну войну из-за этого чуть не просрали. Воевать-то

тоже нельзя. Евреи молиться ломанулись, тут арабы и налетели. Еле выкрутились. Алка, давай в объезд!

Машина развернулась.

— И давно у вас эта канитель?

— Давненько, — сказал Мишка. — Три тысячи лет. А может, и все четыре. Раньше-то от этого хоть прок был: неделю работаешь, а в субботу хочешь-не хочешь отдыхаешь, сил набираешь, помолишься, подумаешь, как дальше жить...

Из машины они вылезли за километр от дома: дом был в полурелигиозном районе.

— Чего ж вы так не продумали, когда квартиру брали?.. — удивился Петр Иванович, вытягивая из багажника чемоданы.

Мишка пожал плечами: — Так я же вам сказал: вы приехали к мудакам. Мы сперва квартиру купили, а потом только и стали соображать, что к чему. А продавать вроде жалко, приняхались...

Возле подъезда карабкалась вверх виноградная лоза с гроздьями черного винограда. Петр Иванович отщипнул — сладкий, типа нашей «Изабеллы».

Лифт не работал. Почтовые ящики висели косо. Дверка одного была оторвана.

— Лифт мог бы и работать, — пояснил Мишка, взволновывая чемодан на пятый последний этаж. — Говорю это как профессионал — пять лет в Москве лифтером сидел в отказе. Есть шабатные лифты: кнопки не нажимаешь, лифт сам останавливается на каждом этаже. И Богу хорошо, и грыжи не заработаешь. Это в дорогих домах. А у нас евреи экономят. Выключают на шабат, и все дела.

Алка потянулась к звонку. В это время из квартиры напротив вышла дама с выводком детей. Алка резко отдернула руку от кнопки.

— Шабат шолом!

— Шабат шолом, — ответила дама без особой радости, обозревая подозрительно всю компанию. Потом, слава Богу, стала спускаться. Алка раздраженно повела головой — видать, все это крепко ее доставало.

За дверью послышался ор.

— Мири, открой! — крикнула Алка.

Дверь распахнулась — на пороге стояла маленькая зареванная девочка.

— Мама, набей Пашку. Он меня бьет!..

Петр Иванович замешкался. Алка махнула рукой: — Идите, ничего...

4

В большой, изуродованной боем комнате Мишка, нелепо жестикулируя, доказывал что-то огромному — за метр восемьдесят — румяному толстому балбесу в военной форме. Пилотка торчала у балбеса под погоном. Вопил он не по-русски. На просиженной до пружин зеленой тахте валялась незнакомая Петру Ивановичу винтовка, похожая на удлинённый автомат. Покрывало сбилося на каменный пол.

— Немедленно прекрати, Павел! — орал Мишка. — У нас гость из Москвы! Васин Петр Иванович!

Павел замолк. Стало тихо. Мерно гудел, поматывая зарешеченной головой, голубой вентилятор на длинной ноге. Мири, точь-в-точь московская его внучка Машка, такая же зубастенькая, высунув от старания язык, на цыпочках подобралась к братану и со всего размаху заехала ему ногой чуть не по зубам. Пашка взвыл, кинулся за сестрой, но та уже нырнула в кухню к матери.

— Каратэ занимается, — не без гордости пояснил Мишка. — Третий год.

В комнату заглянула Алка.

— Петр Иванович, идите сюда, пускай сами разбираются.

Кухня была такая же, как у него в Чертанове. Гарнитурчик едкого для глаз салатного цвета, плита чистая, без прижарок, посуда на полочке... Но вот тараканы!.. Отдать должное, у него тараканов не было, а здесь расхаживали по-хозяйски.

Мири сидела в углу кухни на табуретке, разглядывала комикс и одновременно ошкуривала банан.

— Хочешь? — спросила она Петра Ивановича, протягивая ему фрукт. Петр Иванович отрицательно помотал головой.

— А кошки нету?

— Тут и без кошки зоопарка хватает, сами видите, — отламывая у дочери полбанана, сказала Алка.

Петр Иванович не случайно спросил про кошку. Уж больно Мири похожа была на Машку, внучку Ирины Васильевны, ну и его выходит, непосредственно, несмотря что от первого брака. Когда Машку привозили к нему на садовый участок, обычно вечером в пятницу, Петр Иванович прекращал стройку, и они шли на пруд. Машка с разбегу кидалась в черный, неприветливый, холодный от ключей пруд, проныривала его насквозь, потом долго не отзывалась на его крики. Это была их игра в водяного, хотя каждый раз Петр Иванович был не до конца уверен, что Машка откликнется.

Потом шли домой. Петр Иванович варил суп-кондей и учил Машку кухарить: кидал в кипяток все, что было в доме и росло в огороде: вермишель, картошку, капусту, репу, морковь, свеклу, лук, чеснок, зелень, крапиву, лебеду, яблоки ветхие, горсть ягод. Туда же разбивал три яйца. Варился кондей на свиной голяшке, либо на обрывке свиной же кожи, или за основу шла часть свиной башки. Короче говоря, Машка уплетала варево только так. А привезенный припас оставался почти нетронутым. Вечером Машка укладывала спать Полкана, рыжего старого кота, бессменного отца всех Муркиных детей. Петр Иванович смастерил для него тюфячок, одеялко. Машка укладывала старого кота на матрасик, покрывала попонкой и выпрастывала ему лапку поверх одеяла. Полкан вяло выбирал лапку. Машка снова выкладывала лапку поверх. Полкан опять прятал ее. Через некоторое время Машка своего добивалась — обессиленный Полкан засыпал с лапкой поверх одеяла...

...Настал черед доставать гостинцы. Петр Иванович выложил на стол буханку бородинского, розоватое сало с прожилками, три банки килек пряного посола. От приятного занятия его отвлек непривычно крупный таракан,

который дойдя до края стола, вдруг взял и полетел. Петр Иванович возмущенно проводил его взглядом.

— Это ладно. Насекомых мы ликвидируем, — решил он вслух. — Это я умею.

— А вот она не умеет! — поспешно выпалил Мишка. — Биолог, кандидат наук!.. Мало того, пять лет уборщицей ишачила, когда в отказе сидели! Все без толку!

Алка молчала, устало сгорбившись на табуретке, собираясь с силами.

— Алла, — не удержался Петр Иванович, — ты меня извини, конечно, но детей твоих, Алла, надо лупить. Посмотри на себя: заморенная, как морская свинка. Куда же это к черту?.. Так ведь можно и ласты склеить непосредственно.

— Как-как? — оттопырил ухо Мишка, выдергивая из-за ворота майки ручку. — «Ласты склеить»? — и записал на ладони, потому что Алка успела вовремя вырвать у него журнал мод.

— Помереть, в смысле, — кивнул Петр Иванович, а про себя подумал, что если дело пустить на самотек, то пожрать сегодня не придется.

— Аллочка, давай курячьи ножки в духовке зажарим. Духовка работает? — И, не дожидаясь ответа, вытянул из духовки противень. Достал ножки — он их приметил, когда водку клал в холодильник для охлаждения. Отсчитал пять штук по количеству едоков.

— Почему так мало? — озабоченно спросил Пашка, неожиданно появившись на кухне. — Я много буду кушать, тебе разве мама не говорила?

— Не успела, — сказал Петр Иванович, посыпая курей незнакомыми приправами. — Перец где?

Пашка отыскал перец.

— Ты, Павел, если в кендюх будешь харч кидать непосредственно, такой пупин отрастет, что башмаки зашнуровать не сможешь.

Но Пашка не отставал.

— Положи мне, Васин, пожалуйста, еще две ноги. Пожалуйста.

Мири оторвалась от комикса.

— Васин, не дай ему, пожалуйста, есть ноги. Он ест все наши шекели.

Петр Иванович удивился, с какой легкостью этот толстый и сопливка эта стали называть его на «ты» и «Васиным». Главное, почему-то не было обидно. Уж больно Пашка вежливо слова произносил. По-иностранному как-то, а у пигалицы вообще смешно получалось.

Петр Иванович положил на противень еще одну ногу.

— Всё. И чтоб без претензий. У тебя родители не миллионеры. Машину взяли, квартиру купили, а ты еще жрешь, как потерпевший. Ясно?

— Спагеттей побольше, пожалуйста, — твердил свое Пашка. — Если в шкафу не имеется, у нас есть резерв. Мама, где у нас резерв?

— Не трог мать! — Петр Иванович укоризненно покачал головой, но полпачки макарон все же дозасунул в кипящую кастрюлю. — Всё.

Но Пашка продолжал нависать над кастрюлей.

— Я смолоду тоже здоров был жрать, — сказал Петр Иванович, помешивая макароны. — В войну пацаном наголодался... У нас в деревне немцы стояли. Охотиться любили. А зайцев несмотря почему-то не ели. Повар у них Макс в нашей избе поселился. Сварит ведро супа перлового и на помойку волочит — солдаты, мол, с зайчатиной жрать отказываются. А мне мигнет. А вместо, чем на землю, мне в кастрюлю перельет. Потом узнали — за Можай Макса загнали.

— Зачем?

— За суп. За то, что меня с матерью тишком подкармливал. Не положено. А вообще у нас немцы были люди, как люди. Матушка моя, если б грамотная была, ушла бы с ними. У нас много с немцами ушло...

— Врешь! — крикнул Пашка.

— Рад бы, Павел, поднавать малку, только это голая правда.

— Павел, немедленно извинись перед Петром Ивановичем! — взвизгнула Алка.

— Да ладно, Аллочка. Мне бы сказали, я бы тоже не поверил. Было, куда денешься. Люди как люди. А вот ваших они несмотря передушили сто миллионов.

— Десять...

— Какая разница, где десять, там и сто. Вот как это понять, не знаю... — И, чтобы перебить тему, сказал Пашке: — У тебя вон синячина под глазом. Только тройным одеколоном. Слушай лес, что дубрава говорит...

Петр Иванович вскрыл банку, выложил кильки на тарелку, посыпал лучком.

— Васин, — сказал Павел, озабоченно наблюдавший за действиями гостя. — Голову у рыбы сними и хвост сними — так кушать нельзя.

— Иди-ка ты, Павел, лучше стол накрой, — отправил его Петр Иванович. — И туда и сюда — один не управлюсь.

Водка, вынутая из морозильника, текла медленно и тягуче, как жидкий кисель. Пока выпивали и закусывали, Пашка умял две куриные ноги и сейчас приноравливался к недоеденной отцовой. Наконец, выбрав удачный момент, сдернул с отцовой тарелки недоедок. Мишка в это время отвлекся на телевизор, где арабам собирались передавать Голанские высоты. Не отрываясь от экрана, он ткнул вилкой в пустую тарелку, близоруко склонился над ней и заорал:

— Пашка, сволочь, верни отцу мясо!

Петр Иванович уступил хозяину свою неначатую еще ногу.

— Кильку без водки не есть! — скомандовал он, заметив, как Павел, умявший курей, нацелился на кильку. — Не положено.

— Васин, — робко сказала Мири, — а можно мне кильку без водки?

— Возьми, — разрешил Васин. — А тебе, Павел, со всей апломбой заявляю: будешь притеснять сестру, увезу ее к себе на дачу. У меня там кот Полкан, Мурка с выводком. Умная такая кыса эта Мурка: поймает грызуна и несет свою жертву детям, а ведь ничего не кончала. Машка, внучка у меня есть. Скоро внук будет.

— А у тебя дети есть, Васин?

Петр Иванович опешил.

— Если внуки есть, стало быть, и дети есть. Игорь. Врач на «Скорой помощи». Кто заболит, любого вылечит.

И еще у меня сватья, певунья знаменитая. Ох, баба! Красавица!.. Живем все дружно, только по-разному нитку сучим.

— Васин, а тебе сколько лет? — вдруг спросила Мири.

— Мне? Шестьдесят один.

— Ты тоже имеешь красивую жену?

Задумался Петр Иванович.

— Не очень-то.

— Странно, — задумчиво сказала Мири по-взрослому. — Ты имеешь сексопиль. Ты знаешь, что такое сексопиль?

— Мири! — одернула ее Алка. — Не приставай к человеку. — Она сунула Петру Ивановичу колесико ананаса.

Но Петр Иванович ананас отверг.

— От ананаса у меня узда зажевывается. Во рту заеды получаются, кислота теребит... Лучше я покурю, пожалуй.

Мири пододвинула к нему пепельницу.

— Рассказывай, пожалуйста.

— Да что рассказывать? Один я остался, как сундук с товаром. Шутка такая. В общем это все ерунда непосредственно. Катер вот у меня сгорел — это жалко...

Поели-попили. Алка, нарушая шабат, ушла в ванную включить стиральную машину. Отключится она сама по себе, все выстирав, отжав и просушив. Так что если и навредит шабату, то самую малость.

Петр Иванович сытый, довольный откинулся на спинку дивана. Растегнул рубаху.

— Мири, мне Машка заказала привезти лошадь для Барбия. Кто такой Барбия?

— Это просто, — кивнула Мири, — это мы купим. А что у тебя висит на шее? — Она пересела поближе. — Покажи, пожалуйста.

— Крест православный. Павел, включи!

Пашка, кряхтя, включил вентилятор. Но прохлады он не добавил, только месил жару.

Петр Иванович снял с шеи крест.

— Каждый человек русский должен носить крест. Ты, например, Мири, человек еврейский, тебе крест тоже подходит...

— Ну, не совсем, — улыбнулся Мишка, не отрываясь от Голанских высот.

— А ты чего не разливаешь, Михаил? Ты что, с водкой «на фе»? Смотри, приходить не будет.

— Где ручка, Пашка? — крикнул Мишка. — И бумагу.

— И еще: убить — гасить в шубу, — довольный своей нужностью, сказал Петр Иванович. — Записывай, Павел, подмогни отцу.

— Я не умею писать по-русски, — виновато опустил голову Пашка, протягивая отцу ручку. — И читать по-русски не умею. Не ругай меня, Васин, пожалуйста.

Петр Иванович опешил. Такого он не ожидал.

— Не понял. Раз просишь, ругать не буду. Но все равно — не понял. А эта, мелкая? — он кивнул на Мири.

— Я тоже не умею, — радостно отозвалась девочка, вылизывая остатки мороженого из коробки. — И читать, и писать. Мишка разлил водку.

— Не впрягайтесь, Петр Иванович, — он чокнулся с гостем. — Мы с Алкой ничего не можем поделать. Не хотят, сволочи. Может, убить?

Петр Иванович молча выпил и крикнул как положено.

— Ну, ладно. Так на чем тормознулись? Насчет креста?

— Я вот что ношу для Бога, — Мири вытянула из-за ворота маечки серебряную шестиконечную звезду на цепочке. — Мой могоендовид. Хочешь, он будет твой? Но ты ведь не еврей, ты можешь иметь проблемы с твоим Богом...

— Бог, Мири, запомни, один на всю хиву, — наставительно сказал Петр Иванович и для серьезности разговора даже застегнул рубашку на последнюю душную пуговицу. — У одних он — Будда, у русских — Христос, у чурок — Аллах... Тут главное — вера.

Мири стянула с себя цепочку.

— На.

Петр Иванович, не ожидавший такого поворота, вопросительно взглянул на Мишку. Мишка зевнул, лениво пожал плечами. Петр Иванович прицепил могоендовид на одну бечевку с крестиком.

— Ну, тогда будем здоровы!

— Лэ хаим!

Суббота. Шабат в разгаре.

С утра опохмелялись, но не слишком.

— А что, музей открыт сегодня? — поинтересовался Петр Иванович. — Достопримечательности непосредственно?..

— «Метро закрыто, в такси не содют...» — пропел Мишка. — Шабат во всем околотке. Алка в лаборатории сегодня дежурит. Пашка! Будешь поваром.

— Ага, — въедливо усмехнулся Петр Иванович. — В лаборатории, выходит, можно. Не возбраняется. Гляди, как интересно: то понос, то золотуха. А музей, значит, аля-улю?

По правде-то говоря, Петру Ивановичу не больно хотелось на экскурсию. Это он скорее, чтоб хозяев не обидеть. Тем более, где Христос родился, он уже видел. В Вифлееме. Где харч покупали.

— А что если Петр Иванович у нас на крыше позагорает? — предложил Мишка. — Павел, отнеси гостю матрац.

Настроение у Петра Ивановича было отличное. Да у него всегда было хорошее настроение, кроме когда живот с перепоя гудел или остеохондроз в руки стрелял. Или — не к столу будь сказано — в мошонку. От хребта туда боли иной раз отдавались. Но, это все чепуха, так сказать непосредственно. Главное, жив. В оккупации не подох; после войны голодуха — снова живой; отец в штрафбате сгинул, матери на переезде «кукушкой» голову отсекло — обратно живой! И на зоне не пропал. Там, правда, уже взрослым был. Бога гневить не надо. Главное, чтоб из жопы пыль не шла!

— Ладно, Михаил; не мни водку! — весело призвал он хозяина. — По последней, и — на крышу!

Плоская крыша, залитая раскисшим от жары гудроном, была густо заставлена солнечными батареями: их-то, оказывается, и выдумал на весь Израиль, а также для всех арабов Наум Аронович, первый муж Ирины Васильевны. Ячеистые стеклянные щиты батарей усталились в синее прокаленное небо. В некоторых ячейках стеклышки были выбиты, в пробойнах валялись окурки, смятые пачки сигарет и даже пустые банки из-под пива. На веревках между

солнечными батареями сушилось разноперое белье. Рядом стояло несколько стульев из белого пластика, такой же столик на невысоких ножках.

Петр Иванович, покуривая, облокотился о заграждение — обзирал субботний иерусалимский двор. Пашка притащил на крышу матрац, пепельницу и зачем-то еврейскую газету. Он стоял рядом с гостем, готовый комментировать происходящее внизу и вокруг.

— Дай я покурю из твоей сигареты, — робко попросил он, поглядывая на дверь.

Петр Иванович удивился, но оторвал у беломорины обмусоленный конец, сунул папиросу Пашке.

— А мать узнает?..

Пашка задымил отчаянно и башкой замотал: не узнает.

— Васин, а что ты ешь, чтобы от тебя не пахло с водкой? — поинтересовался он, выпуская дым колечками.

Петр Иванович пожал плечами.

— Ничего такого не ем. Закусываю активно и все. Лучше суповину, похлебочку... Хватит тебе курить, дурака валять! — Он перегнулся через парапет. — Рассказывай, чего тут? Куда это они? В церкву, грехи замаливать? Пускай, дело хорошее.

Внизу евреи, все в черном, все как один в очках, шли в синагогу. Вернее, — как объяснил Пашка — в пять синагог, помещавшихся в одном длинном, похожем на барак строении с разными входами.

— А рядом что? — Петр Иванович отобранным у Пашки окурком показал на непонятное сооружение, напоминавшее перевернутый горшок.

— Миква. Бассейн для женщин, когда водой так делают...

— Баня, что ли?

— Только без мыла. Баня для религии.

Петр Иванович вспомнил правила гигиены на Кавказе, где он служил пять лет, и, чтобы не конфузить дальше парня, остановил расспрос.

— Ясно. Почему все в очках? По религии?

— От книг зрение уменьшается.

— Отец и мать у тебя почему в очках обоя?

— Они ученые были в Москве, кандидаты наук.

— А здесь, выходит, не заладилось? — посочувствовал Петр Иванович.

— У папы с работой проблемы, — Пашка кивнул чуть виновато: — нагрузка маленькая и кончается грант в университете... А мама имеет работу в больнице, но — анализы: кровь, моча...

— Кал, — продолжил перечень Петр Иванович. — Выходит, глаза-то они себе еще в Москве посадили? Ясно. Ну, они-то хоть ученые, а эти? — он потыкал вниз мощным прокуренным пальцем. — Чего эти вот под мышкой с собой целую библиотеку тащат? Дома почитать не могут?

— Им везде положено читать, — сказал Пашка, явно думая о другом. Чего-то он хотел, но стеснялся сказать. Потом все-таки решился: — Ты кушать не хочешь, я могу нести сюда? Скажи, Васин.

Петр Иванович рассмеялся.

— Ну и проглоти ты, Пашка. Поясни мне еще чуток, и покушаем. Почему кто в шляпах, кто в тубетейках. А вон и вовсе в малахае меховом пилит?

— Все хасиды, но все по-разному.

— А вон с мальцом в халате стеганом, этот кто?

— Опять хасид.

Петр Иванович агрессивно закричал и стряхнул пепел не в пепельницу, стоявшую на ограждении, а вниз, где возле подъезда сидели с детьми бабы в одинаковых прическах.

— Это знаешь, как называется?! Это сектанты называется! Непосредственно. У нас их на кол сажали и в избах жгли, чтоб не баловали!

Пашка, не желая включаться в компрометирующий его страну разговор, сделал вид, что углубился в газету. А может и правда, читал.

— Чего там? — буркнул Петр Иванович, недовольный, что на старости лет сцепился с мальчишкой.

— Голаны арабам отдают, — повторил Пашка фразу, сказанную вчера отцом.

— Ну и что? На всех земли хватит, ладно уж вам чурок пригнетать. Я вон когда в армии служил, в дивизии Дзержинского, у нас поперву-то тоже над чурками муд-

ровали. Мне не понравилось. Пару раз в клюв кое-кому дал и прекратил безобразия. У меня с левой хорошо идет.

Пашка тяжело, как взрослый умудренный жизнью человек, вздохнул и сложил газету.

— Васин, ты этого не поймешь. Они стрелять начнут. Или взрывы делать. Как раньше...

— Ну уж так уж?

— Васин... Когда первые поселенцы землю, как это по-русски, — делали?..

— Обрабатывали, — подсказал Петр Иванович.

— ...обрабатывали, арабы стреляли по ним. Пришлось ездить в тракторах с броней. Землю делать. А когда делали землю руками, томаты и прочее так дальше — рядом был автомат. У мужчин, у женщин, у детей даже. И старые тоже имели вооружение. Так было.

— Не врешь? — Петр Иванович почему-то безоговорочно верил этому жирному балбесу. — Ну, так нельзя. Так люди не делают. Война войной. А крестьян на поле зачем? Тут арабы не правы. За это надо наказывать.

Петр Иванович совсем не собирался вступаться за евреев, но за них вступалась деревенская его душа.

— Ладно! — оборвал он неприятную тему. — Скажи лучше, почему вот у баб лица, в основном, приятные, одеты чисто, даже, можно сказать, модно, а прически одинаковые? Опять религия?

— Опять, — засмеялся Пашка. Почему-то здесь, на крыше, с Петром Ивановичем он стал говорить по-русски нормально, не как вчера. — Это не прически. Это парики. Из волос.

— А под париком?

— Бритвой так делают, — Пашка погладил себя по голове.

— Броют? — ахнул Петр Иванович. — Налысо? А... мать твоя?.. Алка, в смысле, тоже?..

Пашка, заливаясь хохотом, схватился за живот.

— И нечего ржать... — недовольно пробормотал Петр Иванович, понимая, что сказал что-то не то, но не понимая — что. — Ладно, иди уж, жратву тащи...

Пашка, продолжая хохотать, мигом скатился с крыши. Но, похоже, не за одной жратвой, а чтоб и семью посмешишь. Только чем вот?..

Вслед за Пашкой, который минут через пять приволок обед с ледяным пивом, показались на крыше и Мишка с Мири. Они весело лопотали что-то между собой по-ихнему и, смеясь, поглядывали на Петра Ивановича. Мири сразу бросилась к парапету, выискала внизу какую-то товарку и тоже начала лопотать ей что-то смеясь, на своем еврейском. Петр Иванович, которого не оставляли сомнения, подошел и наклонился над ее головой, пристально изучая макушку. Потом протянул руку и, погладив девочку по голове, не-сильно дернул ее за волосы.

— Ай! — взвизгнула Мири.

Пашка с Мишей, молча наблюдавшие за действиями Петра Ивановича, опять покатались с хохота.

— Да парики — это только у хасидок, когда они идут жениться!.. — задыхаясь и вытирая проступившие от смеха слезы, проговорил Пашка.

Посмеялись уже все вместе. Потом принялись за обед.

— Миша, объясни ты мне, Христа ради, — сказал Петр Иванович, нарезая окостеневшее в холодильнике сало. — Вот все талдычат у вас про терроризм. Да и меня вчера два часа с чемоданами шмонали. Ну, когда война, это я понимаю. А сейчас? Да и кого взрывать, скажи на милость? Этих? — Петр Иванович, брезгливо сморщившись, простер руку в сторону двора, где внизу мельтешили евреи. Он за ними опять успел понаблюдать, пока Пашка отсутствовал. Спешили они по своим делам молча, сосредоточенно, и эта их повышенная деловитость производила какое-то несерьезное впечатление. Будто придуриваются, в бирюльки играют. — Ну кому их взрывать?!

— В общем-то да-а... — протянул Мишка. — Эти-то, может, и не очень нужны. Но...

Но что «но», так и не сказал, а принялся за курицу. Петр Иванович решил, что опять сунулся куда-то не туда, и не стал допытываться. Помолчав, он тоже выломал у холодной курицы ногу, полил ее кетчупом. Закончив с курицей, заел ее картофельной стружкой — чипсами. Допил пиво.

После обеда посидели еще, покурили. Мири опять от-правилась к парапету, свесилась вниз, что-то выискивая там глазами. Но Петру Ивановичу крыша уже осточертела, а загорать — так у него и на даче загара хватает.

— Слушай, Миш, — сказал он, — если транспорт не работает, так ведь можно и пехом, по карте? А?.. Я думаю, просмотреть маршрут поточнее непосредственно и вперед с песнями... Как считаешь, Миш?..

— Попаля, попаля! — радостно завопила вдруг Мири. — Я в мальчика внизу плювала и попаля. Я несла Гюле уроки, был шабат, он меня бил.

— Нормально, — недовольно сказал Петр Иванович, думая о своем. — Взрослых перебиваешь...

— Васин, ты не любишь теперь меня?

— Люблю, люблю... Понимаешь, Миша, своими силами хочу добраться до Гроба Господня. Ты мне адресок черкани по-русски и по-жид... по-еврейски. Не заплутаю. А заплутаю, прогуляюсь.

Мишка почесал лысину.

— Пашка?

— Папа, я очень устал. Оставь меня, пожалуйста, в моем покое.

Мири подняла руку как школьница.

— Можно я с Васиным пойду в Старый Город?

— Ты? А почему бы и нет? — Мишка положил руку на плечо дочери. — Значит так. Идете в Старый Город. Покажешь Гефсиманский сад. Крестный путь. Стену Плача. Повтори.

— Мы купим...

— Вы ничего не купите, — нахмурился Мишка.

Мири тоже нахмурилась и, по-отцовски повторяя интонацию, сказала мрачно:

— Мы ничего не купим. Васин будет молиться в Стену Плача...

— Не надо ему молиться в Стену Плача! — рассердился Мишка. — Просто покажешь. Потом где Иисус ходил...

— Не надо ему молиться в Стену Плача! — воскликнула Мири. — Просто покажешь! Так?

Мишка кивнул. Потом почесал свою наморщенную лбину:

— Жалко, черт... Там по пятницам монахи-францисканцы ходят по Крестному пути. К ним хорошо бы пристроиться. А, может, и сегодня кого нелегкая занесет, почему нет?!

— Главное, где Иисус с мучениями ходил непосредственно, — уточнил на всякий случай Петр Иванович. — Не устанет она? А то я и в одинаре могу без проблем.

— Я сильная! — Мири сердито погрозила ему кулачком и, не говоря ни слова, встала на руки. Прошла по крыше туда-обратно, лавируя между солнечными батареями: возвращаясь, угодила в пододеяльник, но, потоптавшись немного, выпуталась и затихла в сторонке, покусывая ноготок.

Петр Иванович захлопал в ладони.

— Прошу прощения.

Подозрительными, напряженными взглядами провожали Васина с Мири дворовые евреи. Очаровательный рыжий пацаненок лет пяти, еще без очков, но уже с длинными до плеч пейсами, подбежал к Мири и что-то залопотал ей угрожающее. Мири показала ему язык. Пацан, явно озадаченный, запихал палец в нос и тоже высунул язык.

— Ми-ри-и! — донесся сверху голос Мишки.

— Чего?! — крикнул Петр Иванович, задрал голову.

— В арабском квартале поаккуратней как-нибудь!..

6

Ну и город! Что за город! Улиц не было вовсе. Они шли по проезжей части шоссе, серпантином спускавшегося с верхотуры в котловину, к центру. Правда, и машин не было. Солнце лупило в темя, но Петр Иванович предусмотрительно надел шляпу. Пальм не было, зато по обочинам росли кактусы в человеческий рост, колючие, как положено.

— Здесь можно раздеть себя, — сказала Мири, — а в Старом Городе надеть.

Петр Иванович послушно снял рубашку, сложил ее, как в прачечной, убрал в пакет. Мири тем временем достала из красного рюкзака пластмассовую бутылку с водой, принялась жадно пить, косясь на татуировку полуголого своего спутника. Потом завернула на бутылки крышку, спрятала, отобрала у Петра Ивановича пакет с рубашкой и аккуратно сложила в рюкзачок. «Бабенка маленькая», — усмехнулся Петр Иванович.

— Зачем тебе это? — она ткнула пальцем в плечо Петра Ивановича, на котором красовалась роза.

— Это когда я был в неволе, мы так делали. В тюрьме.

— Зачем ты был в турме?

— Негодяя побил.

Жара была не жаркая, с ветерком, прям-таки курортная. Иерусалим раскинулся по далеким оплывающим холмам бело-розовыми домами, похожими на россыпь камешков. Дома иной раз вырастали из ущелий, возле обрывов. Петр Иванович шел легко, насвистывая романс Ирины Васильевны.

Неожиданно из-за поворота завиднелся Старый Город. В самом центре его горел на солнце золотой купол.

Петр Иванович остановился.

— Гроб Господень, — хрипло пробормотал он, засовывая незажженную папиросу в карман.

— Мечеть Омара, — бесстрастно поправила его Мири, продолжая рассматривать пронзенное сердце на другом плече. — У нас тату делают цветные. Хочешь, и тебе сделают? Я буду делать на моей ноге здесь. — Она задрала юбочку. — Посмотри. Я буду делать тут, у-у, как это по-русски?.. Батерфляй. С крыльями такую... бабочку.

— Ляжку-то зачем портить? — буркнул Петр Иванович. — Где ж Гроб Господень?

— Я не знаю, — пожала плечиками Мири. — Храм царя Соломона сломал Навуходоносор... Посвистуй еще.

— Насвистелся уже. Ладно, хрен с ним, с Соломоном. Гроб Господень должен быть непосредственно...

Странное дело, они были уже недалеко от центра города, а где-то совсем рядом блеяли овцы, козел вроде замекал.

Петру Ивановичу хотелось передохнуть перед дальнейшей экскурсией, но на травке не больно-то посидишь: с виду зеленая, а на самом деле — опять колючки.

— Пойдем через Львиные ворота, — сказала Мири. — Здесь наши парашютисты на танках в Старый Город поехали и катались шесть дней всю войну...

— Здесь Иисус Христос на ослиати въехал! — наобум перебил ее раздраженно Петр Иванович. — А вы его распяли непосредственно...

— Не знаю, — капризно изогнула губы Мири. — Танки катались и победили арабов...

— Чего вы все: арабы, арабы? Арабов они победили...

— Потому что евреи самые умные и самые сильные. Как ты. Ты рубашку сделай. — Она достала из рюкзака пакет.

— Самые умные, главное дело, — бурчал Петр Иванович, заправляя рубашку. — Арабы вон математику выдумали, спирт, порох...

— У тебя рубашка сзади не так. — Мири обошла его и засунула в брюки незабренный кусок. — Порох китайцы выдумали. Ты купишь мне айскрим?

— Кого?

— Лед сладкий. А себе ты купишь биру, пиво.

На площадке перед воротами с львиными мордами лежал плешивый оседланный верблюд. Он жевал вхолостую, по привычке.

— Близо не подходи, — Петр Иванович взял Мири за руку. — Оплюет.

К верблюду подошла толстая туристка с фотоаппаратом. Эх, забыл фотоаппарат попросить! Верблюд даже башки не повернул в ее сторону. Туристка забралась на него, верблюд по частям поднялся и, покачивая худыми, развалившимися в разные стороны горбами, медленно побрел по пыльной площади, ведомый под уздцы арабом в белом длинном плаще.

Петр Иванович огляделся. За столиком пили пиво мужики европейского вида в шортах, в панамках с козырьками; араб соломенной метлой шоркал улочку; две пожилые туристки с розовыми воздушными прическами тыкали пальцами в карту — выбирали маршрут.

В стороне во что-то играли чернявые парни, окруженные любопытствующими. Петр Иванович подошел поближе. Точно, в наперстки. Как в Москве грузины. Лихая бригада! Все то же — он сразу понял. Бугор гоняет наперстки, а двое подставных выигрывают без перерыва, заманивая лохов. Вот и свежий дурак попался, не турист, из местных. Выиграл раз, выиграл два, а потом стал проигрывать.

Невдалеке остановился джип. Из джипа вышли два молодых парня, тоже туристического типа, тоже в шортах. Здоровые. Какие-нибудь скандинавы шведские. Неспешно поозирались, закурили и подбрели к играющим. Неужели и эти дураки? Постояли, посмотрели. Потом один без особой поспешности заехал бугру по затылку, схватил его руку и замкнул на ней браслет. Второй браслет он даже не стал раскрывать, просто держал пустое кольцо в кулаке. Подручные бросились наутек. Полицейский лениво крикнул им вдогонку два слова, показывая на арестованного: мол, все равно же он вас заложит. Парни остановились и понуро поплелись к джипу. Туда же пошел и второй полицейский — принимать товар.

Держа в поводу бугра, полицейский ногой расшвырял наперстки, выплюнул сигарету, снял черные очки, презрительно оглядел собравшихся и процедил сквозь зубы: «Фраерин!» Потом он отомкнул бугра и без слов заехал ему по загривку, сильно, но лениво, будто паута надоедливое хлопнул. Фраер припал к земле, немного поверещал и пошел к машине своим ходом.

Петру Ивановичу стало немножко не по себе, неудобно. Ловят их, для нашего же блага, а мы, как олухи, потакаем, смотрим. Правильно сказал мент: фраера.

— Мы можем идти, где Стена Плача, или где ваш Иисус Христос гулял с мучениями, — перебила его невеселые мысли Мири.

— Куда ближе?

— И туда, и туда, — Мири сосала розовое прозрачное мороженое и, глядя на него снизу вверх, терпеливо ждала ответа. Петр Иванович решил посмешить девчонку, устала ведь. Присел на корточки спиной к туристам, плюнул на

ладонь, ребром другой ударил по плевку — слюна метнулась вправо.

— Мы в ремеслухе так вопрос решали непосредственно. Куда летит, туда идем.

Мири вытерла задетую плевком щеку и сама повторила процедуру. Маршрут опять лег вправо.

— Стена Плача, — сказала она. — А на верблюде гулять не будешь?

Дорога к Стене Плача шла кривенькими улочками. Мимо сновали туристы, то и дело сворачивая в бесчисленные лавчонки, набитые медной посудой, побрякушками, сладостями, кожаными изделиями, преимущественно ярко-рыжими. Лавки располагались не на самих улочках, а в выдолбленных стенных нишах. Снаружи висела только мелочевка, чтоб не мешать проходу: цветастые платья, косынки, шарфы...

Продавцы зазывали покупателей, но невесело как-то зазывали, будто трудодень отработывали. Никакой ожидаемой Петром Ивановичем восточной активности. С чего же они тогда навар делают? Может, наркотой приторговывают?..

От запахов пряностей, приправ, маринадов, кофейного духа пощипывало ноздри. Петр Иванович старался держаться солидно, особо не балдеть. Хотя, конечно, неплохо было бы распросить Мири, что за приправы в таком изобилии, чему соответствуют по-русски. Может, и прикупить чего-нито. Его так заинтересовали маслины всех сортов и размеров, что он остановился, забыв про сдержанность. И еще лучки маринованные, маленькие, беленькие, с ноготь величиной в ушате у араба медном плавали. Тоже бы спросить рецепт, наверняка не сложно. Соления у Петра Ивановича круглый год, но можно было бы разнообразить. Хохла-соседа позлить, думает, один он умеет.

Народ тек тугой струей по улочкам, в основном туристы, но иногда и местные мелькали. Вон две бабы пошли в длиннополых темных платьях, головы обмотаны белыми платками, как у наших баб на сенокосе. Один турист навел было на них фотоаппарат, а они — хоп и увернулись. И

правильно, тут тебе не моды Слава Зайцев показывает, не театр.

Стену Плача сторожил солдат. Он стал проверять Петра Ивановича машинкой. Тот усмехнулся.

— Зачем вы смеетесь? — по-русски спросил солдат. — У нас есть террор.

— В кого террор? — презрительно спросил Петр Иванович и прошел вместе с Мири на территорию Стены.

Стена была с трехэтажный дом. Серая, изъеденная временем, ноздреватая, как пемза. Слева молились мужики, справа, за оградой — женщины. По Стене расхаживали автоматчики. Чуть в стороне из выкопанных котлованов высывалась опалубка: историки искали старину.

За Стеной горел купол мечети Омара.

— Там арабский Иерусалим, — сказала Мири притомленным от затянувшегося гуляния голосом. — Я буду ждать тебя там, — она показала на крытую галереечку.

Петр Иванович подошел ближе к Стене, остановился метрах в десяти перед ней, возле ограждения. Дальше не пошел: не хотел менять шляпу на дурацкую картонную кипу-тюбетейку, которую брали посетители в коробе с той стороны забора при входе. Хотя в черных шляпах вон молятся за милую душу. Но у него же не черная — беж. Может, на цвет убора тоже регламент непосредственно?

— Курить можно?! — крикнул он вдогонку Мири. Та кивнула.

Петр Иванович закурил, облокотился на заборчик.

Разный возраст стоял у Стены, кто с книжками, кто без. Но все, как один, подергивались верхней половиной тулова туда-сюда, вперед-назад, даже смотреть неловко. Причем, песен, псалмов там, не пели. Всухомятку дергались. Ихнее дело. А у нас в церквях, когда бате руку лижут или на полу валяются грязном, или иконы всем гамузом мусолят?.. Тоже ведь не каждому по нраву. А этим вот подергаться, может, хочется, ну и пусть себе...

В Стену, на высоте человеческого роста, в трещины, выбоины вставлены были свернутые бумажки. Наверное, как у нас: за здоровье, за упокой? Типа молебна. Только

здесь без попа, прямо Господу Богу адресуют непосредственно. Это правильно. И короче.

Насмотревшись на Стену, Петр Иванович неспешно побрел, закинув руки за спину, в сторону Иисуса Христа. Рядом плелась Мири. Она совсем, видать, притомилась, Петр Иванович взял ее за руку.

— Поговори со мной, — попросила она. — Ты не злой?

— А зачем мне на такую хорошую девочку злиться? — Петр Иванович погладил Мири по голове. — Вспотела, — вытер ладонь о брюки. — Про что рассказать?

— Про русское.

— Про русское?..

Петр Иванович помолчал. Вспомнил, как он решил сходить на Пасху в церковь. Пришел вечером. Глазам не поверил: не церква — дискотека. В ограде парни поддатые, девки курят... Матерятся в голос. Вдруг топот. Казаки. Бабка рядом: «Артисты приехали». А тут еще староста церковный прожектор над папертью врубил. Ну точно, киносъемка! Одного «казака» он узнал. Парторг бывший в ДРСУ-5. Он у него песок, гравий для фундамента брал слевака, без квитанций. Батюшка вышел в облачении, говорит «казаку»: «В нашем храме сложился хороший дружный коллектив». Плюнул Петр Иванович, ушел. Даже Пасхи не дождался. Потом все переживал, что крестился у этого бати вторично, наверняка ведь мать в детстве крестила. С будуна был, на гвоздях, вот и повело креститься по второму заходу...

— Значит, про русское. А ты совсем там не была, в России?

— Меня моя мама родила в Иерусалайме. Десять лет назад.

— Хм... А у меня прошлой осенью три козленочка родились непосредственно. Две ярочки и один барашек. Жили в ящике фруктовом, бумажкой я им там застлал. Когда они родились, я пленочку им с головы снял и посыпал солью...

— Зачем? — испуганно спросила Мири.

— А затем. Посыпал солью и дал матери, козе, она соль любит, она их вылизала до полного блеска. Барашка-то я на семена оставил, а ярочек...

— Где живут сейчас ярочки? — заподозрив неладное, спросила Мири и остановилась. — Ты их ешь?

Петр Иванович понял, что влип.

— Упаси Господь, — соврал он. — Подарил там... соседке одной...

— А главную козу. Маму?

— Козу продал, — с облегчением сказал Петр Иванович, ибо козу он действительно продал в Можайске. — Отвез на рынок и продал.

— Сколько шекелей ты получишь? — не унималась Мири.

— Не помню уж, когда дело-то было... Сколько стоит, столько и получил...

— Хм, — сказала Мири, но допрос закончила. — Мы — уже. Иисус здесь.

7

Пройти сегодня, в неурочный день, Крестным ходом собралась большая разноперая толпа. В основном японцы-христиане. Самолет у них задержался на сутки, и они не успели к пятнице, когда отцы-францисканцы устраивают шествие по Скорбному пути. В связи с этим экскурсия начнется не от Гефсиманского сада, объяснили им, а по укороченной программе. Экскурсовод по-английски извинился перед группой за японцев, Мири переводила. Оказывается, она и по-английски секла, вот девка! Машку его, правда, тоже английскому обучали. Японцы почему-то все время виновато кланялись. Потом японцы разложили привезенный с собой металлический складной крест. Экскурсовод с неудовольствием рассматривал его.

Пройти Крестным ходом стоило десять шекелей — по-нашему, три доллара. Петр Иванович заплатил положенное, за девочку вполтину, и покуривая, ожидал команды.

— Экскьюз ми... — обратился экскурсовод к нему, но присмотревшись, тут же перешел на русский. — Можно вас?

Петр Иванович затушил папиросу и растерялся — все же Иисус Христос, а урны мусорной нет. Сунул окурок Мири.

— Подержи.

Экскурсовод завел его в подсобку, где давали напрокат кресты деревянные в человеческий рост, если не больше.

Петр Иванович подошел к крестам.

— Кипарис, по запаху чую.

— Кипарисовый быть не может, — возразил экскурсовод. — Кедровый, наверное, — из Ливана...

— Кедровый тяжелее был бы в два раза. Кипарис, как отдать... Вот этот, думаю, сосна. Не наша сосна, но сосна. Советую его.

Экскурсовод согласился. Петр Иванович взвалил крест на плечо.

— А японский не подошел?

Экскурсовод поморщился:

— Галантерея.

— Почему? Я смотрел — титановый, крепкий. И полегче... Больше ничего брать не будем?

— А что еще? — удивился экскурсовод.

— Ну, венец там?

— Креста достаточно. Это ж символика.

Петр Иванович вышел из подсобки. Подскочила Мири.

— Крест руками не трог, — окоротил ее Петр Иванович. — Символ непосредственно.

— Лэдис энд джентельмен!.. — загундосил экскурсовод. — Виа Долороза...

— Не понял, — пробормотал Петр Иванович, поудобнее укладывая крест. — А я?

— Идем, идем. Я тебе все буду переводить, — дернула его за рукав Мири. — Будешь понимать.

Пошли. Той самой дорогой, которой Петр Иванович с Мири перли от Стены Плача. Только обратно, выходит. Те же лавки, та же небойкая торговля... Вот он в Баку был в командировке — насосы авиационные для МИГ-21 отрабатывали, — его дружок на базар водил, вот это да, базар! Каждый к себе зовет, пробуй, дорогой, на части

рвут, мамой-хлебом клянутся, по рукам колотят — звон стоит...

— Стой, — сказала ему Мири. — Кури свой сигарет.

Петр Иванович опустил крест на землю, вытер пот, достал «Беломор».

— Про что говорят?

— Здесь Иисуса били, когда он шел на Гольгофу.

— Понятно, — Петр Иванович закурил, потер натруженное плечо.

Японцы во всю щелкали фотоаппаратами. Жестами они вежливо просили попозировать с крестом на плече. Петр Иванович, не вынимая папиросы изо рта, взвалил крест на плечо. Защелкали фотоаппараты. Японцы, сложив руки на груди, — как чурки молятся Аллаху — благодарственно поклонивались Петру Ивановичу. Петр Иванович сдержанно кивал им: «Ничего, ничего, пожалуйста...» Собой он остался недоволен. Проверял со стороны: смешон он был или все нормально? Да вроде ничего.

Невдалеке старый араб жарил шашлыки, кебабы. Вентилятор раздувал угли. Готовое мясо шашлычник упаковывал в лепешки, добавляя зелень и соус. Кусок мяса съехал с шампура на землю. Араб поднял его, обдул и сунул в лепешку.

Петр Иванович протянул Мири деньги.

— Поди купи две штуки.

— Уже надо идти, — помотала головой девочка. — Потом еще будет.

Петр Иванович взвалил крест на другое плечо, сбил шляпу с головы. Шляпа укатилась к часовне, где, оказывается, бичевали Христа. С алтарной стороны светились мудреные витражи. Пока Мири догоняла шляпу, Петр Иванович хотел узнать у экскурсовода про технологию изготовления витражей, но тот уже забарабанил по-английски. Вернулась Мири, принесла шляпу. Петр Иванович повлек крест дальше.

Возле одной из четырнадцати станций — остановок на последнем мученическом пути Христа — у маленькой часовенки пацанята играли в футбол. Экскурсовод отогнал их. Группа остановилась. Петр Иванович тяжело вздохнул: и здесь они с Мири уже были.

— Здесь ваш Христос упаль первый раз, — прошептала Мири.

— Почему?

— Крест тяжелый несет. Он устал. Он идет на свою Гольгофу.

Петр Иванович невольно подергал плечом: действительно тяжело.

— А где Голгофа?

Мири пожала плечами.

— Мешаете, господа, — экскурсовод недовольно посмотрел на них. — Вопросы потом.

Солнце уже не висело над головой, но жара и не думала униматься.

На следующей станции Петр Иванович курить уже не хотел — в горле пересохло. Он кивнул Мири: чего здесь?

— Ему пот вытерла проститутка.

— Мария Магдалина? — Петр Иванович сглотнул слюну.

— Нет, другая, Вероника. Он на Гольгофу идет.

Петр Иванович разочарованно вытер пот свободной рукой.

— Вероника какая-то... Магдалины мало им... Голгофа где? Спроси у него, где Голгофа?

— А зачем ты его сам не спросишь? — испуганно прошептала девочка. — Он знает русский язык. Будешь пить? — она достала бутылку с водой.

Петр Иванович смочил волосы под шляпой, поправил крест. Затем дождался паузы.

— Извиняюсь, товарищ. Я, конечно, плохо знаю по религии. Я сам-то христианин... — В подтверждение своих слов он вытянул свободной рукой из-за ворота бечевку, на которой висел его православный крест. Рядом с крестом болтался могендовид. Петр Иванович несвойственным ему суетливым движением запишал крест обратно. — Но не в этом дело непосредственно... Я хотел...

Экскурсовод великодушно улыбнулся, вежливо оттеснил его в сторону, нажав на перекладину креста. Петра Ивановича под силой рычага как мишеньку развернуло от разговора к стене часовни.

— Лэдис энд джентельмен...

— Нет, ты погоди! — Петр Иванович вместе с крестом рванулся к экскурсоводу. — Я тебя только спросить хотел, где Голгофа? А то хожу, как пешка...

Группа недовольно зашумела. Только японцы на всякий случай виновато улыбались, не забывая при этом щелкать фотоаппаратами. Экскурсовод что-то объяснял группе и, раздраженно жестикулируя, кивал в сторону Петра Ивановича.

— Ты руками-то не меси! — окрысился вдруг Петр Иванович, слизывая каплю пота, дотекшую до рта. Достали они его все — евреи эти, японцы, прочие чурки... — Я сам месить умею. Ты скажи, где гора? Голгофа где?

— Так ведь и нет, собственно, никакой Голгофы, — меняя тон, сказал экскурсовод. — Это легенда... Символика. Может, ее и вообще не было...

— Как не было?! — опешил Петр Иванович. — И не будет?! А какого ж хера я эту балалайку таскаю, народ смешу?!

Он мощным движением плеча скинул тяжелый крест, крест с грохотом упал перед входом в монастырь.

— Полис!.. — слышались голоса из группы. — Полис!..

Мири дергала его за рукав.

— Васин, я боюсь! Идем домой...

Петр Иванович потянул девочку к себе. Рука его дрожала.

— Саям алейкум! — крикнул он взбудораженной толпе. — Дуй до горы непосредственно! — И наклонился к Мири. — А ты не тушуйся.

— Домой не пойдем еще, — сказал он строго, уводя Мири в глубь Старого Города. — Надо еще этот пренцидент заесть. Забыть, короче, чтоб. Где здесь кофу можно, лед твой мороженный?..

Мири нашла кофейню. Молодой красивый араб вешал на стену цветной фотопортрет мальчика лет пятнадцати. Хорошая фотка, и пацан красивый, волоокский такой, на девушку похож, только ретуши многовато...

— Он хозяин, начальник кафе, — сказала Мири, когда араб подошел, улыбаясь, к их столику.

— А мальчик кто? — Петр Иванович показал на стенку, где висела фотография.

Мири спросила.

— Его сын, — перевела она. — Он умер от пули. На территории. Это где живут арабы. Там стреляют пули. Не всегда.

— Скажи ему, что я из Москвы и все такое прочее... Соболезнование непосредственно сыну...

Мири залопотала. Араб сдержанно улыбался и благодарственно кивал, уважительно поглядывая на Петра Ивановича. Потом принес кофе, пиво, мороженое... На прощание он вымыл кофейную тоненькую чашечку, из которой пила Мири, красиво завернул ее в кулечек, перевязал ленточкой с бантиком и, вопросительно взглянув на Петра Ивановича, с поклоном вручил девочке.

— ...Я же ничего против вашей истории не имею, пойми меня, Михаил. Я сам за Иисуса Христа жизнь отдам непосредственно. И за Феликса Эдмундовича. В дивизии его имени даже служил... Но ты мне голову не морочь. Скажи прямо — так, мол, и так: нет Голгофы. И — по рукам!

Мишка почесал лысину, пошебуршил бородавку, помычал чего-то невыразительное и потянулся к бутылке.

Но Петр Иванович не мог успокоиться.

— Выходит, театр разыгрываем под открытым небом непосредственно?! Кресты таскаем?! Может, еще разок распнем кого-нито для хохмы?!

— Может и распнем, — Мишка бубнил чего-то непонятное, Петр Иванович напрягся. — Если из цивилизации исключить художественную ложь, цивилизация рухнет...

Вот те на-а! Петр Иванович лихорадочно припоминал нужные слова.

— Это знаешь, как называется?.. Это цинизм называется!

А Мишку будто подменили. Уже не балабон лысый, а прямо лектор политграмоты на их заводе:

— Тот, кто испытал на себе цинизм в квадрате, имеет право на цинизм в третьей степени.

Матушки ты мои, совсем рехнулся парень!..

Дальше, правда, Мишка серьезности не выдержал.

— Да черт с ними, Петр Иванович! А в остальном нормально сходили?

— Нормально.

Мири достала свой кулечек с подарком. Мишка повертел чашечку на свет.

— Плохи твои дела, Мири. Продам в гарем, когда с работы выгонят. Кстати, через год, наверное, наша лавочка закроется в университете. Чего тогда делать? Пускай Алка, падла, тогда кормит.

— А саму Алку кто покормит? — слышалось из прихожей. Незаметно как и пришла.

— Мама! — вскричал Пашка. — Нам всем очень хочется кушать. Васин очень хочет. Он устал.

Ужинали под телевизор. Телевизор как раз показывал новости из России — заседание в Думе. В Думе шла драка. Похабная, неумелая — один козел сдернул с попа крест, другой душил немолодую тетку. Отдушив, еще потаскал за волосы.

— Глаза б не смотрели! — сердился Петр Иванович, стыдясь за отечество. — Павел, переключи лучше на баб голых!

Пашка голых баб не нашел, зато накрутил какой-то сериал типа «Богатые тоже плачут». Индейский вроде.

— Сегодня заходил ко мне в лабораторию Наум, — сказала Алла. — Ему получше. Предлагает завтра поехать на Кинерет, дом Петру Ивановичу показать. Вот ключи. Вы езжайте с утра, он тоже подъедет. Его на денек отпустят из больницы.

— Слава тебе, Господи! — воскликнул Петр Иванович. — А то знай, кресты таскаю без толку, а с человеком до сих пор не познакомился! А он мне родня непосредственно. Сват.

— Васин, возьми меня на Кинерет! — взмолился Пашка. — Я тебя очень прошу. Я прошу тебя как старшего друга и русского человека!

— Тебе же в армию завтра поутряку! — опешил Петр Иванович. — А самоволку я лично не одобряю...

— Мири, я запрещаю тебе раз и навсегда смотреть эти поганые сериалы! Сосульку эту стометровую! — Алка с хрустом выключила телевизор. — А ты, Павел, не сходи с ума!

— Мама, папа! — не отступал Пашка, решив зайти с другой стороны. — Кто поможет Васину завтра нести его тяжелые чемоданы? Больной старый человек Наум?

— Не суетись! — отрезал Петр Иванович. — Не возьму я никакие чемоданы. На кой они мне сейчас?

Мишка налил жене вина.

— Много работы было?

— Дури вашей еврейской много было! — раздраженно бросила Алка. — Шабат. Анализы-то шабат не отменяет. А к аппаратуре я прикасаться не могу. Автоклав открыть не могу, препараты из холодильника достать не могу, в гистологию звонить не могу... Полный идиотизм, — Алка безнадежно махнула рукой. — Завязывать нужно с этим Израилем!

— Винца попей, винца, — Мишка подлил ей красненького.

— У нас начальник религиозник, не хуже этих, — объяснила Алка, кивнув на стену, за которой громко кончали субботу соседи.

— И как же ты управляешься? — спросил Петр Иванович, сочувственно взглянув на стену. Все у них не по-людски, все через хвост по-волчьи.

— Они араба на субботу берут, — пояснил Мишка. — Он за ней как привязанный ходит: она велит — он делает.

— А сегодня его понос пробрал, — рассмеялась Алка. — То и дело убегал — все анализы пропали. Пашка! Ладно, черт с тобой. Позвони своей командирше, пока спать не легла — скажи, на пару дней задержишься. Будут проблемы, дашь трубку мне. Если будут проблемы, — с нажимом добавила она и поднялась. — Устала я, как собака.

Через пять минут вопрос об увольнении Пашки на двое суток был решен положительно.

— По телефону? — не поверил Петр Иванович. — Баба — командир? Сколько же ей лет?

— Двадцать три.

Петр Иванович помотал головой, как мотал всегда, стряхивая похмелье. Но ни хмеля, ни похмелья не было, голова была ясной. Климат такой, курортный...

8

Воскресенье — рабочий день. Встали рано: Мишке в университет, Алке в больницу, Мири — в школу; Васин с Пашкой — на автовокзал. А дальше на Кинерет, то бишь на Тивериадское озеро. Куда Иордан впадает и откуда вытекает и течет дальше до самого Мертвого моря. И где Иисус Христос.

Утренние сборы шли споро, пока вдруг Пашка не забился в истерику. На этот раз, похоже, всерьез.

— Мама! — вопил он сиплым басом. — Подумай, мама! Твой сын Павел будет мучиться в военной тюрьме!..

Мири спрятала куда-то рожок с патронами от Пашкиной М-16. Это Пашка обнаружил, когда прятал винтовку подальше на время поездки.

— Прекрати, Павел! — Алка топнула ногой. — Мири, где патроны?

Мири молча собирала ранец.

— Мири, зачем ты это сделала?

Вместо ответа Мири по-прежнему молча принесла свиную-копилку. Донышко у нее было аккуратно выбито.

— Я не дам Пашке патроны. Пусть он идет лежать в военную турму. Ты будешь отдыхать два года. Папа будет отдыхать два года. Я буду отдыхать два года. И Васин будет отдыхать.

— Миша, — простонала Алка, — не пускай ее в школу! Накапай мне кардиамин. Пашка, сейчас же верни деньги!

— Нет, мама, — твердо сказал Пашка. — Эти деньги мне нужны более. Ей их не надо. Сейчас я деньги не имею.

Мишка накапал жене лекарство. И встал на страже у двери.

— Что будем делать, сволочи? — проникновенно спросила Алка.

— Я иду в свою школу, — предложила Мири, — Пашка едет с Васиным смотреть дом. Потом Пашка идет лежать в военную турму. Два года.

Пашка рыдал, но за деньгами, гад, не шел.

— Пашка, не доводи мать, — не выдержал Петр Иванович. — Отдай бабки. Не отдашь, ей-Богу врежу. Непосредственно.

Пашка взвился. От такой несправедливости у него даже слезы высохли.

— Васин! — вскричал он. — Скажи мне, Васин. Я ношу тебе холодное биру на крышу? Соленые чипсы, горячий картофель и матрас с сигаретами? Я хочу сегодня носить для тебя тяжелые чемоданы. Я прошу тебя, Васин, не ходи в мою личную жизнь!..

— Черт вас разберет... — Петр Иванович махнул рукой и побрел на кухню.

— Алка, — робко подал голос Мишка, — опоздаю, у меня сегодня кафедр.

— Мири, — тихо сказала Алка, — я могу умереть. Я не шучу. У меня нет больше сил вас разнимать.

Мири, демонстративно не слушая ее, окликнула Петра Ивановича:

— Васин! Я уезжаю с тобой в Москву. Я решила, — и, обернувшись к матери, сообщила: — Патроны в помойке.

Пашка вывалил помойное ведро на каменный пол кухни: масло от шпрот, остатки соуса, окурки, недопитый йогурт... С урчанием он извлек из общей пакости магазин с патронами и, подвывая от счастья, стал бережно омыwać его над раковиной.

— Ты забыл отдать сестре деньги, — Алка отобрала у него рожок, вытерла его вафельным полотенцем и машинально сунула в сушилку с тарелками. — Деньги верни.

Пашка побрел к себе в комнату. Мири спокойно с ранцем за плечами ждала, когда он принесет награбленное. Пересчитала деньги, открыла дверь и уже с лестничной клетки вlepила Пашке ногой поддых. Пашка с воплем завалился на пол.

Петр Иванович, хотя и сидел перед открытым чемоданом, в зеркале углядел финал. И даже головой покачал.

— Надо же: третий год всего в каратэ, а наловчилась! — Он перебирал инструменты. — Рубанок взял, зензюбель забыл. Ладно, прикупить придется. Ты, Павел, чем лежать, вставай помаленьку. Ехать пора. И не вой, ты свое заработал по-честному, как коммунист. В чем поедешь, в военном или гражданке? Лучше военное, у вас вояк уважают.

Пашка кряхтя поднялся с пола. На шею повесил солдатский жетон, где, оказывается, вся о Пашке информация: кто он, откуда, какая кровь. Такой же жетон Пашка сунул в правый башмак в специальный кармашек. Башка отлетит — по башмачному жетону найдут, нога с жетоном уйдет — на шеяке бирка. Все предусмотрено.

Воскресенье — ну, рабочий же день! — нет! евреи опять с книгами под мышкой. Напротив автобусной остановки группа хасидов читала в ожидании транспорта свои талмуды. Подошел специальный автобус, и без того уже набитый до отказа, местные погрузились, поехали.

— Куда опять? — Петр Иванович уныло проводил их взглядом. — Чего дома-то не сидится?

— Учиться надо, — улыбнулся Пашка. — В иешиву поехали. Они всю жизнь учатся. Это ж наши мудрецы, — он хохотнул.

— Не обоссись, — очень серьезно и задумчиво посоветовал Петр Иванович. — Куда ж их столько? Страна маленькая, я по карте глядел. Ископаемых нет. Вокруг арабы, того и гляди война. Парни, девки под ружьем. А эти... Кто ж их кормит?

— Америка. Она богатая.

Подошел еще автобус. Оказалось — их, годится. Доехали до центрального автовокзала, пошли по подземному переходу, чтобы пересечь на загородный. В переходе Петр Иванович еще издали заметил смуглую красавицу, которая шла навстречу. Шла, не меняя курса, шла рассеянно и устало, но одновременно и томно, не забывая ни на секунду, что она красавица. Спешивший на работу люд расступался перед нею, мужики оборачивались, бабы фыркали. Когда она прошла, обернулся и Петр Иванович. Красавица, покачивая бедрами, удалялась на длинейших ногах, воз-

детая дополнительно на огромные каблуки. В минимальной юбчонке, грудь, конечно, большая, как здесь на Востоке принято, но без признаков лифчика. И с гаманком — кошельком на ремешке вокруг талии. Черные волосы распущены по спине до самой попы. Петр Иванович по мере удаления девушки все больше выкручивал голову, пока не врезался во встречного хасида. Тот уронил книгу, но ругаться не стал.

— Красавица, — пробормотал Петр Иванович, когда девушка скрылась из вида.

— Проститутка, — согласился Пашка, кусая мороженое. — Марокканка. Пятьдесят шекелей. Я у нее был. Ты хочешь, чтоб я с ней говорил для тебя? — Пашка собрался было дернуть вдогонку за девушкой, но Петр Иванович придержал его.

9

Автобус три часа катил меж полей. Один раз только речку переехали, выяснилось — Иордан. Иордан оказался узеньким, шустрым и коричневым на цвет. Никакой солидности в священной реке Петр Иванович не узрел. Пейзаж походил на наш среднерусский. Даже лесочки кое-где проносились мимо. Правда, приглядеться, лесочки все выровнены по струночке — посаженные лесочки. Так же пальмовые рощи: разбиты на квадраты, шашечками. Но поля-то, поля какие!.. Даже отсюда, из окна видно, как кусты ломаются от помидоров. А вот людей не видать — не шибко корячатся.

А где поля нет, бедуины скот пасут. Где пасут, там и живут — в огромных драных шатрах, похожих на залатанные солдатские палатки. Жилища необихоженные, на живую нитку. Хотя антенны телевизионные торчат над халабудами. И машины — иномарки. А рядом осел стоит, о бампер чешется. Грузовик без колес, раскуроченный вон загорает... Под него баба из таза помой выплеснула...

У самого шоссе высокий дед в белом балахоне с белой обжатой обручем тряпицей на голове пас овец. Дед-пастух

постоял, потом сел на бугорок, развернул газету. Что твой Иисус Христос. Поднял голову — и этот в очках! как стоворились! — проводил взглядом автобус и снова уткнулся в газету. Тут к шалашу их цыганскому подкатил желтый автобус, из него россыпью прыснула пацанва с яркими ранцами за плечами, как у Мири...

Да-а... виллочка оказалась, как на картинке. Маленькая, одноэтажная, ошкатуренная розовой шершавой шубой. По приметам, понятным только ему, опытному строителю, Петр Иванович, еще не заходя во двор, определил, что дом в идеальном порядке, ловить здесь нечего. Взять хотя бы оградку. Кованая, из крученого квадрата. А цоколь! Без единой выбоинки, раковины. А черепички на крыше: глянцевые, прямо пряники тульские глазированные...

Рядом с домом голубой бассейн в форме кляксы, вокруг него — гаревая площадочка, красные цветки по периметру, качалка под голубым навесом. Столик круглый пластмассовый, креслица... Тут не заработок ему, тут санатория!.. И прекрасно это Ирина Васильевна знала. Отправила она его, выходит, погулять в Израиль на свой кошт. Мир в семье закрепить. Сделать его вечным своим должником и в себя влюбить навсегда. Ох, хитрая баба! А он и не против. Он согласен.

Пашка открыл калитку, вошли за ограду. Под каждым кустом по выжженной каменистой земле змеились мокрые шланги, из которых сочились вода. Петр Иванович уже знал, что это не простая вода, а витаминизированная, управляемая компьютером чуть ли не по всему Израилю. Знал, но уразуметь эту фантастику не мог.

Из соседней дачи с тряпкой в руках вылезла тетка. Без парика — растрепанная, нормальная. Пашка покричал ей, тетка улыбнулась, смахнула упавшую на лицо седую прядь, помахала рукой...

— Они нам в бассейн воды сделали, — перевел Пашка. — Можно плавать.

Вошли в дом; Пашка отпер двухстворчатую дверь, на которой вместо ручки была приделана бронзовая львиная морда с кольцом в зубах, включил свет в передней. Потом

— в салоне. Раздраил окна. Одно — огромное — выходило на Тивериадское озеро. По озеру порхали разноцветные бабочки — молодняк резвился на серфингах. Барышня без лифчика неслась вдоль берега на водных лыжах. Все, как у нас на Икшинском водохранилище. Только кроме лифчика, ну, в смысле, с лифчиком. Картинка была так хороша, что даже сожженный катер, пришедший на память, ее не испортил.

Между ног белого рояля в корзине на искусственных яйцах сидела искусственная утка. На единственной без окон стене висел портрет Ирины Васильевны — молодой еще, в полный рост. А напротив, в проеме между окон, — детская картинка в скромной рамочке: кривобокий гусь тащит мужика носатого с книгой под мышкой по желтому небу. Ущемил его клювом за ворот пиджака и прет по небесам. Машкина, скорей всего, работа. Такие точно рисовала она, когда шел дождь и нечем было заняться.

Рядом с музыкальным агрегатом — полочка, на полочке пластинки. Петр Иванович вытянул одну. Мерцалова. Все пластинки с Мерцаловой. Ишь ты, как ее еврей любит.

Тараканов он не обнаружил нигде. Почему-то именно они более всего беспокоили Петра Ивановича. Не мог он сопоставить вальяжную, белую, в драгоценностях Ирину Васильевну и здоровую усатую пакость, которая вдобавок еще и летает.

Пашка уже разделся и, тряся жирами, искал плавки. Плавки он, как выяснилось, забыл, а потому затрусил в бассейн в белых растянутых трусах.

— Слышь, Павел! — крикнул Петр Иванович. — У вас в религии жертвоприношения есть?

— Раньше были. Авраам сына своего хотел принести...

— Принес?

— Бог передумал, сказал: не надо сына.

— Ясно. Я вот что подумал: может, Наум ей как приношение дом отписал?

Пашка согнулся на краю бассейна, намереваясь нырнуть, солдатский жетон на цепуре, раскачиваясь, хлопал его по сиське.

— Ох, Пашка, ты и жирен! К Рождеству колоть будем...
— Я пойду скоро жир срезать.
— Ты что! Я пошутил! Сойдет со временем, рассосется...
— Он ее любит! — крикнул Пашка. — Он скоро умрет! — и нырнул в бассейн. Вынырнул. — Она будет сюда приезжать! И ты будешь сюда приезжать! Васин, принеси, пожалуйста, покушать.

Петр Иванович взял из холодильника ледяную биру для себя, Пашке воду коричневую, паштетик открыл индюшинный, сухарики достал, стружку эту ихнюю — чипсы, и маслинку подцепил к пивку. Благодать!..

И пошел купаться.

Он долго сидел на дне бассейна, задержав дыхание, сколько мог — охлаждался. Когда воздух кончился, вынырнул, поплавал, снова нырнул. А когда вынырнул окончательно и открыл глаза, увидел, что от дома к бассейну мелкими шажками, опираясь на палочку, медленно движется крохотный старикан — ну, прямо, гном из машинной сказки...

— Приветствую! — сказал Петр Иванович и полез на берег.

— Купайтесь, купайтесь на здоровье! — Наум Аронович замахал на него палкой, загоняя обратно в воду. — Мы ж никуда не спешим...

Но Петр Иванович вылез-таки и, слегка стряхнувшись, направился к старичку здороваться. Тот протянул руку.

— С приездом вас, Петр Иванович! Рад познакомиться. Вы уж извините, что так сразу: у Ирочки все в порядке?

— Нормально, Наум Аронович.

— Ну, и слава Богу. Присаживайтесь...

Они сидели с Наумом Ароновичем на краю голубого бассейна, отделанного мрамором, и вели неспешную беседу — два солидных, умудренных жизнью человека. Пашка все еще бултыхался в бассейне. Наум Аронович уселся под грибком от солнца в удобном пластмассовом белом креслице, Петр Иванович расположился рядом, только не под грибком, а на солнышке. На столике перед ними стояло

пиво, орешки, еще какая-то дребедень. Как в кино. Благодарить!..

— ...Ну, какой я ей был муж, Петр Иванович, посудите сами?.. — продолжал Наум Аронович свой рассказ об ихней с Ириной Васильевной молодости. Хороший старикан, это Петр Иванович сразу усек. А что разоткровенничался так сразу с незнакомым человеком, тоже понятно — из Москвы человек, от Ирочки, с кем еще поделиться? Не с этими же, как их... хасидами. Да и осталось уж ему, видно, недолго...

— Я Ирочку-то практически и не видел: днем на работе, по ночам все сижу печатаю. Почерк у меня ужасный, машинистки не разбирали, приходилось самому, — пояснил Наум Аронович. — Допечатался до того, что пальцы стер до крови. Ходили с Ирочкой в «Галантерею», наперсток покупали. В наперстке и печатал. Какая ж это семейная жизнь?.. — Старик вздохнул. — А потом она на гастроли уезжать стала...

Помолчали.

— А как у Ирочки с ногами? Когда сюда приезжала, я заметил, бинтует?

— Бинтует, — подтвердил Петр Иванович. — На концертах стоять тяжело... Но не смертельно.

— Это у нее давно, еще после родов... А Наташенька, я слышал, второго ребенка ждет?.. Я еще и первого-то не видел, Машеньку... Как она?

— Красивая, — пробасил Петр Иванович. — В бабку. И на пацана похожа. Хомяк вот у нее помер. Я ей петуха подарил, правда. Достойного, не клювачего...

— Значит, в доме все более или менее?

— Нормально... А ведь мы с вами тоже, выходит, родня, Наум Аронович? — Петр Иванович подмигнул старику. — Родственники непосредственно...

— Самые натуральные, — кивнул тот. — Сваты, — он прикрыл глаза. Долгая дорога сюда сильно, видать, его утомила. Хоть и ехал он не в автобусе, как они, а в такси. Прямо из больницы. Самое главное — сидела в нем страшная болезнь, о которой он все знал по ихним израильским врачебным правилам. Скоро он, по всему видать, и правда того... С крыльца двинется... Да...

Петр Иванович поднялся, постоял, выпил пива. — Пойти что ли еще купнуться?.. — подумал он вслух негромко. Но Наум Аронович услышал.

— Конечно, купайтесь, не обращайтесь на меня никакого внимания! — сказал он, открывая глаза. — Мне так приятно смотреть на вас с Павликом...

Петр Иванович поставил стакан на столик и присоединился к Павлу, который так и не вылезал из бассейна. Не вылез и когда Петр Иванович, всласть накупавшись уже по второму разу, стал выбираться на берег, чтобы опять присоединиться к Науму Ароновичу. Неудобно все-таки.

Но тут он неожиданно столкнулся нос к носу с павлином, невесть откуда возникшим.

— Цып-цып... — Петр Иванович протянул нерусской куре сложенную в щепоть мокрую ладонь.

Павлин закричал благим матом, с негодованием отвергая такое обращение, и с легким шелковистым треском распустил хвост опахалом. Петр Иванович испуганно отдернул руку.

Старик в кресле согнулся пополам.

— Наум Аронович! — заорал Петр Иванович. — Плохо тебе? Лекарство?

Наум Аронович распрямился, лицо его было в слезах.

— Смешно, не могу!.. — дохохатывал он, по-стариковски мешая смех с кашлем.

— Ну ты, Ароныч, ей-Богу, — одним махом выдохнув испуг, Петр Иванович подошел к столику и налил себе ледяного пива. — Напугал.

— Вот так бы и помереть от смеха, — сказал старик. — Как вы говорите, непосредственно. Это же счастье.

Павлин тем временем наорался и важно отступил к забору, в колючие кусты. Петр Иванович за ним — посмотреть, — чего у него там, гнездо? Гнезда не было. Павлин, не торопясь, сквозь решетку пролез на соседний участок, оставив на земле нежное волнистое перо. Петр Иванович подобрал его...

Петр Иванович стоял со стаканом ледяного пива в руке на краю голубого бассейна. Солнце палило вовсю, на небе

не было ни облачка, вдали виднелся Кинерет. Пол-Евангелия, объяснили Петру Ивановичу, провел там Иисус Христос...

— Хорошо здесь, — сказал он раздумчиво. — Лучше всякого Крыма.

— Да, это так, — откликнулся Наум Аронович. Он все сидел в своем креслице, ковырял палочкой кирпичный песок. — Мы с Ирочкой и отдыхали-то один-единственный раз вместе в Пицунде, а я весь отпуск только и думал, как бы поработать... Так уж получилось, вечно времени не хватало. Так вот, были мы в Пицунде. Тридцать пять лет назад... Да, тридцать пять. Представляете себе Ирочку?

— Тут и представлять нечего, хм, — сказал Петр Иванович.

— ...И вот я ее спрашиваю, чего б ты, Ирочка, хотела? — Дом, говорит, на море и яхту. А ты, думал, мороженое? — И смеется. Вот, через тридцать пять лет и купил ей дом и яхту...

— С мотором? — с повышенным интересом спросил Петр Иванович.

— Разумеется.

— Дизель?

— Этого я вам не могу сказать... Да сами все увидите. Ключи у вас. Яхта там... — Он указал на озеро ветхой незагорелой рукой.

— А у меня катер бандиты сожгли, — вздохнул Петр Иванович. — Узнаю кто, персонально, — а уж я узнаю! — бить буду беспощадно. Око за око!..

— А зуб за зуб?.. — тихо продолжил Наум Аронович. — А знаете ли вы, Петр Иванович, что это значит? Этим законом Моисей много тысяч лет назад хотел освободить людей от мести несправедливой. Ведь за обиду тогда убивали. Вот он и решил, что, грубо говоря, за выбитый зуб обидчик отвечает только одним выбитым зубом. Это — справедливость. За два — двумя. Не более того. Это потом уж люди из формулы Моисея закон мести выдумали. Так им удобнее кажется. А катер вы себе новый купите, Петр Иванович.

— Ароньч! Извини, конечно, что я так называю...

— Да не волнуйтесь вы, Петр Иванович, называйте, как нравится. Меня тридцать лет никто не называл по отчеству... Соскучился.

— Вот ты говоришь — новый! — усмехнулся Петр Иванович. — Это нереальное явление. Я ж его десять лет строил сам. Своими руками, понимаешь. А купить?.. На какие шиши?

— Я думаю, вы здесь можете неплохо заработать.

— Ароньч, — Петр Иванович посмотрел на старика, как на слабоумного. — Ну у кого я тут заработаю? Ирина Васильевна говорит: может, дом надо поправить... Починить чего. А дом у тебя с иголки. И яхта, небось, тоже в ремонте не нуждается. Точно знаю: новая.

— Новая, — виновато кивнул Наум Аронович.

Пашка выбрался, наконец, из бассейна, погнался за павлином, из любопытства опять припилившего с соседнего участка. Павлин с кудахтаньем бегал от него, но два пера Пашка из павлиньего хвоста изъял.

— Павлик, — сказал Наум Аронович, — ты наверное меня так и не послушался: не учишь арабский язык?

— Наум, ну... — Пашка переминался с ноги на ногу, теребя павлиньи перья.

— Перья не мни, — проворчал Петр Иванович, — поставь в стакан на рояле. И русский не учит, Ароньч.

— Я английский знаю, и французский, — вяло отбредивался Пашка.

— А надо еще обязательно знать арабский. Ты же израильтянин. Иначе мира у нас с ними никогда не будет. Ладно, Петр Иванович, не будем его мучить, он мальчик способный, только... вот ленив немножко. А впрочем, все будет у него хорошо. Он добрый мальчик.

Пашка прошлепал в дом.

— Павлик! — слабым голосом крикнул вдогонку Наум Аронович. — Принеси, пожалуйста, телефон. И коньяк в шкаф. Пиво-то мне нельзя, — пояснил он Петру Ивановичу. И, помолчав, добавил:

— Так вот. Работу я вам найду. Кругом виллы. Соседи то и дело спрашивают, нет ли хороших строителей.

— Во! Это то самое!.. — воскликнул Петр Иванович. — В точку, Ароньч.

— Я вас порекомендую таким людям, которые говорят по-русски. Чтобы без сложностей. Но об одном прошу: жить только тут, в этом доме. Мне тогда будет казаться, что вроде Ирочка здесь... — Старик как-то замялся, снял очки, протер их... — Я прошу вас, Петр Иванович...

— Как скажешь, Ароньч, так и будет, — присевшим голосом пробормотал Петр Иванович. Впервые в жизни видел он человека, который всю жизнь любил одну женщину. — Чего ж ты ее сюда не вывез, повторно с ней не сочелся, Ароньч? Может, я не в строчку, тогда не говори... Не обидюсь.

— Ну куда ее сюда, Петр Иванович? Во-первых, она евреев не очень любит, это раз. Я, кстати, тоже. Во-вторых, она... Она же роскошная божественная женщина. Ей нужен шум, блеск, цветы, шампанское!.. Это не причуда ее! Это огромный компонент работы художника...

— Она же вроде не рисует?

— Я в широком смысле слова... — Наум Аронович виновато кашлянул. — Здесь ей, к сожалению, делать было бы нечего...

Пашка принес бутылку коньяка и радиотелефон.

Наум Аронович налил себе на доньшко и основательно Петру Ивановичу.

— А я? — спросил Пашка.

— Виноват, — сказал старик и плеснул Пашке. — Будьте здоровы, друзья мои!

Вопрос о трудоустройстве Петра Ивановича решился в момент. Наум Аронович позвонил соседям. Двое из окрестных хозяев ждали его хоть с завтрашнего дня. Наум Аронович говорил с соседями на иврите, потом с Пашкой перебросился парой фраз, тоже на иврите.

Издалека доносились тихие ясные удары колокола.

— Это в Капернауме, — сухим пальцем медленно указал себе за спину Наум Аронович. — По преданию, Христос переселился сюда из Назарета и совершил множество чудес... И апостол Петр там жил, — добавил он, улыбаясь. — Говорят.

— Ароныч! Извини, я вот что хочу спросить. Что вы здесь так религии привержены? Даже жениться еврей на нееврейке не может...

— Может... — пробурчал Пашка. — Только на Кипр надо ехать регистрироваться.

— Во! На Кипр! регистрироваться!.. А если я здесь хочу — с друзьями, с семьей, с соседями?..

— В общем-то, если говорить начистоту, — тихо сказал Наум Аронович, — религия иудейская не сахар. И ханжеская в чем-то, подчас и жестокая без особой необходимости... Самое главное, не дает надежды на загробную жизнь. Грехи не прощает. Не дает возможности их отмолить... А раз так, то каждый шаг человека от рождения до смерти строго регламентирован. Все должно быть по правилам. А правил этих около тысячи. Вот правоверный еврей и тратит жизнь на то, чтобы неукоснительно следовать этим правилам. Ну, а когда человек живет по жестким правилам, то свободомыслие, творчество из его духовного рациона исключаются по определению. Конечно, я утрирую, но в принципе это так... Христианство, конечно, посимпатичнее, помягче, что ли, почеловечнее. Там и грехи отмолить разрешается, и в рай попасть, — он усмехнулся. — При хорошем поведении...

Петр Иванович понял, что Наум, говоря это, думает о себе.

— Да-да. А с другой стороны, Петр Иванович, именно эта тяжелая религия, иудаизм, заключенная в Библии, и объединяла всех евреев три тысячи лет — пока их гоняли с места на место. Да и государства Израиль не было бы... Только благодаря религии, Библии и древнему еврейскому языку ивриту и держится Израиль... Вы же видите: кого здесь только нет — марокканцы, европейцы... Негры тоже — евреи. И ничего общего: ни традиций, ни истории, ни уклада жизни — ничего... Религия, Тора и этот древний язык. Как обручи на бочке...

— Клепки, — подсказал Петр Иванович. — Вот и у нас сейчас так. Социализм-коммунизм отменили — пустота. Начали везде религию совать!..

— Вот в том-то и дело... — Наум Аронович устало прикрыл глаза. — Хотя Израиль, который мы имеем сей-

час, — это, конечно, не совсем то, что хотелось бы, — Наум Аронович опять открыл глаза, печально посмотрел на Петра Ивановича. — Если иронизировать по этому поводу, то можно так сформулировать: Израиль создали умные евреи для глупых евреев... Сейчас, конечно, религия наша в определенной степени тормозит прогресс. Надеюсь, в следующем тысячелетии иудаизм подредактируют. Павлик до этого доживет. Если только так много есть не будет... А теперь, друзья, давайте-ка выпьем немножко, и я тронусь. Поеду малой скоростью домой, в больницу к себе. Паша, дружок, вызови-ка мне такси...

— Плохо тебе, Ароныч?

— Наоборот, хорошо. Просто старый я. И больной...

Пришло такси. Петр Иванович с Пашкой проводили старика до машины. Наум Аронович шел медленно, при-волакивая ногу. А когда стал садиться в машину, совсем беда — никак не мог затащить ногу внутрь.

— Ты не болей, Ароныч, — Петр Иванович несильно пожал ему руку. — Глядишь, дети захотят приехать. Машка... Пацан народится. Я ведь говорил тебе, у Наташи мальчик будет — рентген определил. Соберутся да приедут.

— Был бы счастлив...

Водитель завел мотор.

— Ароныч! У тебя там напротив Ирины Васильевны картинка висит, детская. Интереснось, не машинка?

Наум Аронович улыбнулся.

— Нет. Это Шагал. Художник.

Такси уехало. Стало грустновато. Ясно почему: дед болен крепко. Недолго ему...

— Я их откомандирую! — решительно заявил Петр Иванович. — Как миленькие приедут!

Снова послышался колокольный звон, но уже с другой стороны.

— Где Магдалина, звонят, — сказал Пашка. — Васин, ты спагетти хочешь? С тертым сыром?

— Как ее зовут? — невпопад спросил Петр Иванович.

— Кого? Магдалину? Мария.

— Да нет, эту... На автовокзале?

— Проститутку? Шуламит.

— А сколько ей лет?

Пашка пожал плечами.

— Двадцать...

Петр Иванович поскреб затылок.

— Маловато... Слушай, Пашк, а... постарше нельзя, лет под сорок?

Пашка задумался, сморщил лоб.

— Мне кажется, такие уже не работают.

По дороге в дом Петр Иванович прихватил со столика бутылку коньяка. Пашка взялся варить макароны. Перевесившись через подоконник, Петр Иванович глядел вдаль. На Тивериадское озеро. Никто уже не катался на досках. Пусто. Самое время Иисусу с учениками рыбу удить...

Справа от окна висел оранжевый живой апельсин. Петр Иванович, не отрывая взгляда от божественного озера, хлебнул коньяка, сорвал апельсин и, не очищая его, выкусил горбушку вместе с кожурой. Апельсин оказался полулимоном и с коньяком сочетался еще лучше.

— Слышь, Павел! Покупались бы с барышнями... Шашлычки, то-се... На яхте можно покататься... А, Пашк?! Взять барышень и на шабат сюда. В шабат, я так понимаю, мне работать не дадут, где халтура?

Пашка усердно кивал башкой: ни в коем случае нельзя в шабат работать. Хитрован!

— Вот и я говорю: взять на выходные барышень. Харч, выпивка у вас дешево. Пивко, кстати, у Наума в заначке есть. Значит, харч да дорога?

— Еще платить надо, — потупив глаза, сказал Пашка.

— Хм, — Петр Иванович почесал затылок. — А может, они нам скостят? Тем более, я постарше хочу, а ты солдат. Тебе сбавка официальная положена... Ладно, поглядим, это я так, предположительно. Уж больно здесь благодать стоит...

Автобус катил обратно в Иерусалим. Петр Иванович прикидывал в уме дела: во-первых, забрать инструмент, барахло свое, раз шабашка долгая предполагается. Мишку с Алкой поблагодарить, выпить на дорожку. И тараканов обещал травануть. Обязательно! Девочке Мири сказать пару слов, напомнить про лошадь для Барбия. Кто этот Барбий, так и не узнал.

В автобусе Петр Иванович занял любимое место — переднее. Сбоку прикорнул Пашка. Петр Иванович вынул из кармана завернутую в газету банку пива — холодное! И еще достал маленького подлещика, тоже в газетке, но уже не в еврейской, а в «Московском комсомольце».

Над дорогой висела арбузная долька месяца. Не по-нашему вертикально, а лодочкой. И звезды низко над самой крышей бежали. Прохладный автобус бесшумно неся по ночному остывающему Израилю.

Господи, Боже ты мой!.. Всю-то жизнь твердили ему: жида, жида... Страшали Израилем этим, евреями-отравителями. Он и зубы-то, коренники, из-за этого потерял: не ходил лечить, отравы боялся. А выходит, все наврали, коммуняки паскудные! Когда ж им, тварям, конец-то придет? Своей бы рукой удавку намылил... Он посмотрел на Пашку — не догадался ли тот, о чем он думает, но Пашка тихонько посапывал. Петр Иванович сбавил душевные обороты. Вот ей-Богу, родится у Наташи сын, Наумом велю назвать! А как же еще! Не послушают? Убедю. Скажу, ехайте в Израиль к деду своему Науму, пока он еще с крыльца не двинулся. Поглядите, потолкуйте с ним, на страну полюбопытствуйте! А уж потом решайте, как дите назвать, если у вас совесть есть!..

Автобус неся в темноте. Вдруг справа от шоссе замечались спаренные фонарики... Ближе подъехали — антилопы-газели за сеточной изгородью. Глаза ихние так светятся.

На одной из остановок в автобус вошла молодая красивая арабка в белом платке, в длинной одежде, как положено. На руках у нее был ребеночек, завернутый в легкое

одеяльце. Она села за спиной водителя — рядом с Петром Ивановичем, через проход. Петр Иванович растолкал Пашку.

— Поинтересуйся, чего она так поздно? Может, ребеночек заболел?

Пашка вяло спросил: девочка у нее заболела, а машина сломалась.

— Бог даст, оклемается. У вас тут с вашей лечебной толком и не помрешь.

Ребеночек в кульке у матери негромко поскуливал. Та стала легонько укачивать его, подмурлыкивая песенку. У Петра Ивановича повлажнели глаза. От чувств, конечно, да и коньячок свое оказал — добавляет доброты, ясное дело, непосредственно.

Пробил рыбий час. Петр Иванович достал подлещика. Укрыл газетой колени и аккуратно, чтобы шуршать потише, извлек рыбку из «Московского комсомольца». Подлещик лежал на фотографии министра. Тот развалился в кресле, а холуй в мундире, три звезды, полковник, надевал ему на ножку бареточку. Петр Иванович поспешно передвинул подлещика на лицо министра, чтобы, не дай Бог, кто из окружающих не узрел позор его родины. Потом вздохнул и стал безжалостно обдирать рыбку. Отодрал ребра, вытянул из брюшка икру с пузырьем. Самые вкусные кусочки со спины протянул Пашке. Пашка, не открывая глаз, принял подношение и стал мерно жевать. Два аккуратненьких кусочка Петр Иванович протянул арабке. Та улыбнулась и помотала отрицательно головой.

Мирное занятие по расчленению рыбки прервал какой-то глухой ропот. Петр Иванович поднял голову, обернулся. Ворчали пассажиры сзади, демонстративно зажимая носы.

— Чего они? — Петр Иванович толкнул Пашку в мягкий бок.

— Рыбой им пахнет. Ругаются.

— Ну, рыбой! — с нажимом сказал Петр Иванович. — Не говном же!

Ропот пассажиров волной пробежал вперед и достиг водителя. Он обернулся к Петру Ивановичу и что-то сказал.

— Просит не есть рыбу, если можно терпеть, — перевел Пашка с закрытыми по-прежнему глазами.

— А по закону я могу есть воблу или не могу?

— По закону можно, но он просит.

— Если просит, ладно, потерпим, — Петр Иванович завернул разделанного подлещика в газету.

Женщина с ребенком молчала, убаюкала своего. Песенку спела и — отключился малой. Везде они одинаковы. И матеря, и дети. Взять вон Машку и Мири — сестренки тоже...

— Скажи, чтоб не орали — дитя разбудят!

Пашка пробормотал просьбу назад. Остатки шума смолкли. Черт с ними! Может, правда, по природе рыбный дух не переносят?

Автобус уже крутился в центре Иерусалима.

— Тахана мерказит! — наконец объявил в микрофон водитель. Центральный автовокзал.

Пашка встrepенулcя, зевнул. Пассажиры ожили. Автобус зарулил в свою нишу, спустил пар — дверь медленно отворилась.

В автобусе зажегся свет. Ребеночек в кульке заплакал. Петр Иванович перегнулся через проход, потянулся рукой к сморщенному смуглому личику, отвлекая дитя от плача, но женщина резко оттолкнула его руку и встала. Мгновение она смотрела на пассажиров огромными сумасшедшими невидящими глазами, губы ее кривились...

— Аллах акбар! — выкрикнула она.

И сорвала с ребенка одеяло.

Петра Ивановича разодрало на месте.

В проходе, отброшенный взрывом назад, помирая, медленно сучил ногами Пашка.

ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

* * *

Хоть и освещена фонарями,
ночь не притворяется днем,
тьма остается тьмою, и прямы
тени фонарных столбов под окном.

К ним невидимый шар новолуния
в черное заглянет стекло,
капля воска из дальнего улья
свечкою замерцает тускло.

Чиркнет спичкой сосед в передней,
чижика-пыжика грянет с трудом
старый «Бехштейн» на струне последней
среди темноты, обступившей дом.

**Наталья
ГОРБАНЕВСКАЯ**

— поэтесса, училась в МГУ, закончила заочно ЛГУ в 1964 году. Печатается с середины 60-х годов. Автор двенадцати сборников стихов. С 1967 года активная участница правозащитного движения, одна из основателей «Хроники текущих событий». В 1975 году эмигрировала: живет в Париже. С 1986 по 1992 год — зам. главного редактора «Континента». В настоящее время работает в «Русской мысли».

* * *

Как сквозь сон — всхлип
с соседней койки
тебе не болит,
не в твои когти

вцепилось сердце
в эту ночь
и сыплет перца
на рану — и соль.

* * *

Ане Горской

Мати моя, мати,
Скоро ль грибы брати?
Босой пяткой по росе,
По вспаханной полосе.

Чадо мое, чадо,
Брать грибы не надо,
Босиком в траве шуршать,
Пограничных искушать.

Мати моя, мати,
Что бы мне сломати?
То ли тын, то ли овин,
То ли медный исполин.

Доню моя, доню,
Не дай себе волю,
Не твори, чего нельзя,
Не туды твоя стезя.

Где же она, мати?
Ни мостков, ни гати,
Мир в болоте, как во зле,
Нету правды на земле.

Бэби мое, бэби,
Правда есть на небе,
Прямо к ней иди домой,
Лесенкой невидимой.

* * *

Уходи пытать судьбу,
звезды прислонив ко лбу,
черной гущи расплескав,
с места сдвинув тяжкий шкаф,
смаху скинув тяжкий грех
с плеч, глядящих из прорех
незаштопанного, что
заменяет нам пальто.

* * *

Надоевши разумное сеять,
сев на землю, картуз протяня,
запоет Николай Алексеич
про себя, про тебя, про меня.
Под ленивую эту погудку,
под мотивчик, затертый до дыр,
ты проснешься, как будто побудку
для тебя приказал командир.
Встань, умойся, а там постановишь,
ухмыляться ли, волком ли выть,
ибо сказано верно ж в основе:
выдь куда-нибудь. Главное — выдь.

Песенка

Толе Найману

Лопухи и лебеда
в голод лучшая еда.
Значит, наша братия
выживет всегда.
Стебелек из-под забора
как грибок из сыра-бора.
Значит, нищим от собора
отдадим остатнее.

КРЫМСКАЯ ОСЕНЬ

Маленькая повесть

*Посвящается
Полине Савельевне Тихоненко*

1

В первый раз они появились на Утесе восемь лет назад, в середине августа, в самое неудобное для приезда время. Отдыхающих было много всегда, но в первые летние месяцы они приезжали и уезжали безо всякого правила, и каждый день у кого-нибудь освобождались — впрочем, и заселялись тотчас — квартиры и комнаты. Квартирою гордо назывался маленький, с полуслепым окошком-глазком деревянный сарайчик, стоявший в особицу от хозяйского дома. В начале августа встречные потоки людей упорядочивались, выравнивались, становились более плотными; движение это, постепенно затихая, к десятому числу прекращалось совсем, и разлившийся человеческий паводок затоплял крошечный поселок до последнего тенистого уголка, в который можно было поставить пружинный матрац, раскладушку или панцирную сетку. Мало кто приез-

**Сергей
БАБАЯН**

— родился в 1958 году в Москве. Окончил Московский авиационный институт. Инженер, работал по специальности на ряде предприятий. Писать начал в 1987 году, опубликовал два романа в издательстве «Вагриус» — «Господа офицеры» (1994), «Ротмистр Неженцев» (1995) и повесть «Сто семьдесят третий» («Континент» №85). Живет в Москве.

жал в эти дни, бегущие к концу короткого лета, но еще меньше уезжало, и лишь в последние пять августовских дней, словно проснувшись, отдыхающие — по-местному *постояльцы* или *жильцы* — дружно покидали уже зябнувший ночами берег и устремлялись в обратную дорогу...

Она помнила, что в первый раз они приехали пятнадцатого августа, потому что этот день был днем ее рождения, с которым, как всегда, ее никто не поздравил, как не поздравлял уже пятнадцать лет с тех пор, как брата Петра, оставшегося в Мариуполе, раздавила грузовая машина. Брат вспоминал о ней каждый год, присылая открытку с изображением памятника Ленину или Тарасу Шевченко, всегда с одними и теми же словами, написанными большими печатными буквами: «Дорогая Поля поздравляю тебя с днем рождения жилаю здоровья и счастья навсегда твой брат Петр»... Она каждый год весь год ждала эту открытку и, получив, долго и с удовольствием медленно читала ее: сначала свой и обратный адреса, которые начинались широко написанными, неизменно подчеркнутыми заглавными буквами: «РСФСР», «УССР» (брат писал «РСФСР, Крым» и долго после того, как Хрущев передал Крым Украине: он был одинокий нелюдимый человек, работал грузчиком, сильно пил и, наверное, не знал об этом); потом само поздравление, текст которого не менялся с первой открытки и только в последний год жизни брата неожиданно дополнился после слова «счастья» пожеланием «...и успехов в работе», хотя она уже вышла в то время на пенсию и вообще всю свою послевоенную жизнь — с сорок седьмого года, когда приехала на Утес, — работала самое большее прачкой или уборщицей в санатории... Успехи? Прочитав всё, адреса и поздравление, она переворачивала открытку и внимательно разглядывала залитые солнцем серые памятники. Памятники были большими — по сравнению со стоявшими рядом живыми людьми — и очень красивыми.

Пока Петя был жив, она не чувствовала себя одинокой, хотя давно уже была одна. Отец погиб — исчез — в девятнадцатом году, от него не осталось даже фотографии, и она забыла его лицо. Они жили в Екатеринославе, в собственном маленьком домике в Кайдаках; в девятнадцатом году ей было тринадцать лет, она помнила только

летящих по пыльной улице — в щели между занавесками — всадников, торопливые, как будто испуганные выстрелы и смутно, как страницу прочитанной в детстве книги, согнутую спину отца, быстро уходящего в темную, стреляющую, плачущую материнским голосом ночь... Больше она его не видела: в двадцать первом году, не дождавшись отца, они навсегда ушли из Екатеринослава от голода. Где воевал и как умер отец? В юности она писала в анкете и биографии: «...погиб в тысяча девятьсот двадцатом году в рядах Красной Армии за счастье трудового народа», — так всегда говорила мать и так она на всю жизнь запомнила; незадолго перед войной, нанимаясь в малярный цех радиаторного завода, она отдала свои бумаги кадровику — и вдруг кадровик, жилистый, желтый и злой, как некормленная собака, рывкнул на нее свистящим шепотом, через стол швыряя бумаги: «Рóман... написала! Пиши: отец такой-то, с тысяча девятьсот девятнадцатого года в Красной Армии, убит в двадцатом году! Пишут...» Прошло сорок лет. Лицо Осипенко, начальника отдела кадров, она помнила до сих пор; лицо отца — семьдесят лет спустя — вспомнить уже не могла.

Она никогда не была замужем. Она была неловкой, некрасивой и молчаливой девушкой с яркими веснушками на широком лице и круглыми серыми глазами — и почти не сопротивляясь уступила первому же парню, который ее заметил. Побыв с нею месяц, он бросил ее, оставив ей ребенка. У нее родился сын; она была совсем одна, постоянно попрекаемая больной, измученной жизнью матерью, — впрочем, с сыном она не чувствовала себя одинокой. Мать работала на строительстве «Азовстали» и в тридцать третьем, надорвавшись, умерла. В сорок третьем сына забрали на войну и сразу убили.

Она не могла помнить сейчас ту боль, которую испытала, получив в эвакуации похоронку, — чувство вообще невозможно представить, можно только пережить; она помнила, что легла на кровать лицом вниз и лежала так два дня в полусне-полуобмороке, машинально вставая попить воды, съесть хлеба и сходить в уборную, — мозг ее с каждым днем все гуще заволакивала черная звенящая тишина. На третье утро к ней пришли девчонки и силой отвели ее на

завод. Мастер участка Борис Ефимович был святой человек и не поставил прогулы.

Жизнь ее протекала медленно и безрадостно — скорее безрадостно, чем печально; медленно — но сейчас ей казалось, что ее детство, плачущий в люльке братишка, пыльная солнечно-желтая улица, по которой она пешком торопилась в приходскую школу (сберегая трамвайные деньги на блестящее, нежно-розовое, густое как домашняя сметана мороженое, которое голубоглазый однорукий инвалид отмерял до обидного маленьким зеленым стаканчиком, с очень толстым для экономии дном), — что все это было только вчера. Чувства ее были бледны и усталы, воспоминания разорваны и неверны, но она всю жизнь с нежностью вспоминала приземистый екатеринославский домик — с красною крышей, сахарно-белый, ставнями небесно-голубой, майскую пену цветущей вишни во дворе, старую шелковицу, вросшую стволom и корнями в ступени покосившегося, заплетенного диким виноградом крыльца... — и никогда не любила пахнувший маслом и краской, громыхающий мертвым железом завод. Быть может, поэтому, когда вскоре после войны фронтовой товарищ прислал брату письмо и позвал его в Крым, в небольшой поселок на морском берегу между Алуштой и Ялтой, оставшийся пустым после татар, изменников Родины, а Петр отказался уезжать, потому что пришел с войны усталым, глубоко замкнувшимся в себе, быстро и сильно пристрастившимся к водке человеком, вместо брата поехала она: никогда не виденный ею Крым представлялся ей неторопливо сбегаящей к морю горой, увитой виноградом и заросшей рано и долго цветущей вишнею...

Она приехала; после черной от войны Украины поселок со сказочным названием Биюк-Ламбат показался ей кусочком рая, оставленным Богом на изуродованной человеком земле. Поселок был почти пуст — два десятка ракушечниковых желто-серых домов под розовой черепицей, многие с мебелью и даже с мелкими домашними, не расхищенными еще вещами, которые не смогли или не успели забрать уехавшие отсюда люди. Ее встретили хорошо, сразу предложили работу в сильно пострадавшем за войну виноград-

нике, предложили и большую комнату с видом на высокое, ослепительно синее море, в которой стояли самодельный, любовной домашней выделки шкаф и две блестящие никелированные кровати, висело овальное с черной звездочкой зеркало на стене, а справа от него выделялось длинное светлое отчетливое пятно — печальный след недавно снятой фотографии или картины...

Но она отказалась.

О неизвестных ей крымских татарах она впервые узнала лишь по дороге сюда и узнала страшные, показавшиеся ей неправдоподобными вещи. Даже ее не привычный к размышлению мозг робко удивился и слабо воспротивился внушаемой ему мысли о народе-предателе — о предателях мужчинах, женщинах, стариках, детях... даже как будто собаках, чьи высохшие скелеты еще желтели на быстро зарастающей улице. Но она не то чтобы пожалела всех этих людей — хотя и это (пусть и смутно, пусть она и не осознавала этого ясно), наверное, было — особенно в те минуты, когда на пути ее попадались то детский неразношенный башмачок, то затоптанная в пыль целлулоидная расческа, то стариковская палка с набалдашником, изображавшим искусно вырезанную виноградную гроздь... Просто она почувствовала вдруг, что в этом брошенном, выселенном, чужом доме, около этого шкафа с необычным, незнакомым, простым и в то же время ласковым каким-то рисунком, на этом полу со стершимися на стыках половицами, под этим светлым прямоугольным пятном на давно не беленной стене, — ей *нехорошо*. И она отказалась и от комнаты, и от работы, огорчив этим пригласивших ее добрых, расположенных к ней людей, радостно устраивавшихся в новой послевоенной жизни на новом месте, давно уже обжитом и как будто приготовленном для них другими людьми...

Она отказалась, но ей так понравился Крым, зеленая сказка на берегу синего моря, что у нее не хватило духа на возвращение домой, в печальные руины Мариуполя. Она отказалась поселиться в Биюк-Ламбате, но спустилась по горной дороге вниз, к самому берегу, к старинной усадьбе Кучук-Ламбат, которую новые, особенно облеченные властью люди уже называли «Утес» — по выступающему в море

утесу и еще по каким-то, одним им известным причинам, — и осталась здесь навсегда. В Кучук-Ламбате не было магазина и жило совсем мало людей, но не было и пустых домов с горькими следами чьей-то уютной, долгой, в один день разрушенной жизни...

Когда она приехала на Утес, ей уже пошло к пятидесяти. Она была малоразговорчива и нелюдима — и от природы, и от прошлой жизни своей, в которой она помнила так мало человеческого тепла. Последнюю и, может быть, единственную памятную ей радость она испытала в день, когда закончилась война; она словно проснулась в тот день и смеялась и плакала вместе со всеми громко и радостно: ей показалось, что все теперь будет по-другому и что ее жизнь, которую она после смерти сына почти не замечала, будет другой, счастливой, радостно наполненной событиями и людьми, заметной для нее самой жизнью...

Но этого не произошло.

2

Поселок был десятком маленьких односкатных домов, разбросанных ласточкиными гнездами по скрывающему обрывистый склон старинному парку. Парку было больше ста лет; над ним на красном утесе возвышался средневековый по виду замок с круглыми зубчатыми башнями и шпилями по углам. От него к морю спускались сумрачные аллеи столетних кипарисов — гигантских черно-зеленых сигар, прячущих пепельные стволы в густолистые лавровые заросли. По аллеям, склевывая гальку, бродили ручные павлины — огромный самец Гришка с изумрудным хвостом и три проворные самочки; они будили ее по утрам пронзительными кошачьими криками. До революции в замке жила старая княгиня — наверное, гуляла по парку, спускалась в построенную среди дикого берега купальню, в беседке на красном утесе пила вечерами чай... Сейчас здесь был санаторий; отдыхающие в пижамах толпами бродили по каменистым дорожкам, задирали головы, пытаясь достать взглядом верхушки кипарисов, кормили сытых павлинов оставшимся от полдника печеньем — в надежде

выдернуть из хвоста светящееся сине-зеленое перо. Многочисленные устроенные княгиней родники (по-крымски *фонтаны*) засорились и не работали, зато в начале центральной аллеи стояла гипсовая девушка в майке и в спортивных трусах, с красиво поднятыми руками. Были и другие, похожие девушки.

Парк ей очень понравился, хотя здесь не было вишни и около белых домиков, принадлежавших когда-то княжеской прислуге, а теперь санаторию, не разрешалось заводить огород. Вокруг домов росли только украдкой высаженные гранаты и грецкие орехи, невидимые с кипарисовых аллей за лопухами смоковниц; они тянулись к небу и понемногу разрастались, уже начиная родить плоды. Да еще по стенам и решеткам внутренних двориков вился одичавший, плохо вызревающий виноград... Здесь было очень тихо, по ночам чисто и звонко пели задумчивые сверчки, и блестящий, как золото, месяц плыл в черной волнистой синеве над Медведь-горою. Осенью, когда спадала жара, она любила сидеть над обрывом на отполированной ветром скамье и смотреть на волнующееся перед ней, близкое и бесконечно далекое Черное море: сначала черно-серое с белыми бурунами на горизонте, потом черно-синее, потом сине-зеленое, потом, недалеко уже от берега, зеленовато-желтое и, наконец, сердито закипающее среди острых камней грязновато-белой клокочущей пеною. Справа от нее тихо спала беспробудным каменным сном седая от старости медведица; слева, погрузившись в воду по выпуклую грудь, стоял красновато-серый, ни на что не похожий Утес, усыпанный белыми крапинками отдыхающих чаек... После кирпично-железного завода ей понравилось все, даже гипсовая девушка, читавшая книгу под ее окном. Такая же девушка сидела у заводской проходной. Это слабое напоминание о навсегда оставленном ею заводе было ей даже приятно: все-таки на заводе она проработала — прожила — двенадцать лет, и нельзя было сказать, что ее сильно там обижали.

Она пошла в санаторий работать уборщицей; жизнь потекла медленно, покойно — как росли кипарисы и меняла хвою итальянская розовая сосна. Люди вокруг были

самые случайные, из мест разных, далеких и часто самых неожиданных, — все больше одинокие женщины, смотревшие безнадежно на редких, пьющих и даже в женском окружении тихих мужчин. Вполне согласно со своим характером, она не тянулась к людям и не сторонилась их, никому не желала и не делала зла, хотя и добра, наверное, тоже — быть может потому, что человеку, живущему во внешнем и внутреннем одиночестве, редко предоставляется такая возможность. Она не читала книг, потому что не имела такой привычки; выписывала, впрочем, газету «Красный Крым», которая через несколько лет после ее приезда стала называться «Крымская правда», но тоже почти ее не читала, просто газеты были нужны в хозяйстве, и лишь изредка ходила в санаторный клуб — изредка потому, что хотя и любила кино, но ощущала себя там неуютно, терялась в толпе праздных, веселых, по-домашнему одетых людей, задолго до сеанса шумевших и перекликавшихся у входа.

Дом, в котором ей дали комнату, был сложен из настоящего крымского камня, а не из рыхлых ракушечных кирпичей и, как на огромной ступени, стоял на узкой, обрывающейся отвесно террасе, возведенной еще в княжеские времена. В девяностых годах здесь помещалась кухня — замка еще не было, и княгиня жила террасою ниже, в одноэтажном белом доме с двумя колоннами, крыша которого поднималась вровень с цементным полом кухонного двора... Она не могла не провести невольную, хотя и смутную для нее параллель с видом Биюк-Ламбата и не заметить, что княжеское поместье тоже сохранило следы вторжения в его когда-то красиво и прочно устроенную жизнь — следы разрушения и изгнания этой жизни из ее родных берегов. И в парке, и в замке, и в старом господском доме, одним видом своим как будто созданных для уединения и тишины, было шумно и грязно от поселившихся и отдыхающих здесь людей — конечно, не так, как сейчас, спустя сорок прожитых ею здесь лет, когда они приезжают сотнями; но сейчас уже исчезли без следа и все те мелкие, незначительные детали старинного имения — изогнутые скамейки, фигурный бордюр, маленькие цветоч-

ные урны на поворотах, — которые сохраняли тогда память о прошлом, а потому и вид сотен людей стал сегодня в поместье уже естественным и привычным... А тогда резко и немного печально бросались в глаза первые признаки медленно подступавшей, как будто бы естественной смерти старого Кучук-Ламбата: ажурные с коваными завитками фонари согнулись и проржавели; замок обветшал и пошел грязными пятнами; на массивный гранитный постамент, на котором раньше было явно что-то другое, села гипсовая девушка с книгой; родники замолчали, и те из них, которые были вырезаны из мягкого известняка, начали осыпаться и терять орнаменты; семейный гагаринский склеп давно уже был разорен, и сейчас в коротком низком лабиринте, где раньше стояли гробы, лазали отдыхающие с фонариками, гулко перекликались, разводили огонь, справляли надобности; могила старой княгини, по доброй воле раздавшей все свое состояние в семнадцатом году и еще в двадцатые годы работавшей в своей же библиотеке, превратилась в едва заметный, а для постороннего глаза и вовсе не различимый холм у подножия домового часовни... Впрочем, вид этих изменений не вызвал у нее даже тени того горького, тоскливого чувства, с каким спустилась она на Утес из Бюк-Ламбата: все это было давно, тридцать лет назад, и сама княгиня была из *бывших*, и усадьба по справедливости перешла к трудовому народу...

Комната ее была невелика, узкая и длинная, в одно окно по короткой стороне, и в это окно в непогоду стучался гибкими стеблями олеандровый куст и на рассвете всплывала издалека синяя спина Аю-Дага... В других трех комнатах жили сейчас баба Надя — такая старая, что даже она называла ее «бабой», Марина, молодая еще женщина лет пятидесяти пяти, некрасивая, бойкая и очень слезливая (она всю жизнь бросалась на каждого приезжающего на Утес мужчину, каким-то чудом, при своем горле и своей внешности, завязывала знакомства, но все равно так и не смогла выйти замуж), и плотник Иван, нестарый еще, совершенно седой большеглазый мужик, который считался в санатории плотником, а на самом деле ничего не плотничал — не умел — и выполнял изредка, в перерывах между

длинными тихими запоями, самую разную и обычно грязную работу, вплоть до уборки уличных туалетов.

Старая баба Надя сдавала два домика наверху, Марина — несуразную многоместную постройку, похожую на дощатый улей, а Иван — свою большую, совершенно голую комнату, потому что сам зимой и летом жил в огромном сарае, заваленном мусором и пустыми бутылками до потолка...

Она сдавала двухместный маленький домик.

3

Жизнь ее всю жизнь текла медленно и однообразно; после смерти сына она вовсе остановилась — то есть пропало ощущение, что завтра будет что-то пусть небольшое, пусть необязательно радостное, но новое, что завтра вообще что-то будет. Прошлого тоже не стало. В то близкое еще к смерти сына время она даже не могла вспоминать, в ней сразу вспыхивало черным огнем пламя такой боли, что она в страхе бежала прочь, словно из огня выдергивала руку. Она не могла вспоминать и то, что было до него, потому что память, помимо ее воли, бежала не оглядываясь вперед, проглатывая годы, к тому дню, когда она вышла из родильного дома и вынесла его, завернутого в принесенное мамой белое тканьеовое одеяло... Спустя несколько лет боль утихла, ослабела — или затаилась, взрываясь иногда, если неожиданно, вдруг, внутренне не успев подготовиться, она встречала на улице немолодую женщину, свою ровесницу, рядом со взрослым мальчиком лет двадцати. Видя старуху, опирающуюся на руку сорокалетнего мужчины, она не испытывала ничего — такая картина была ей непонятна и незнакома; но видя женщину молодую, больше похожую на девушку, чем на мать, с десятилетним беспокойным мальчишкой, она испытывала непонятную тревогу и странное желание, чтобы мальчишка всегда спокойно шел рядом с матерью — не карабкался бы на осыпающийся склон, цепляясь за сухие корни, не перебегал крутую, скрывающую машины дорогу, не прыгал в море вниз головой и, может быть, вообще не ходил купаться: на Утесе иногда

тонули, правда, почти всегда пьяные... Но время шло, она старела, и вместе с ней удивительно молодели матери двадцатилетних ребят, так что скоро она, мать всегда двадцатилетнего сына, уже удивлялась в первый момент их молодости, уже не могла поставить на их место себя и на место их мальчика своего Сашу — сына ее, старухи, и боль при этих нечаянных встречах начала утихать и вскоре исчезла совсем. К ней вернулось прошлое, она вспоминала его уже без страдания, с ласковой грустью, а чем старше она становилась, — и с удовольствием... Фотография сына висела в комнате на стене, напротив ее кровати, рядом с маленьким образком с медной лампадкою, чтобы она, просыпаясь, могла встречать его по утрам, — коричневая овальная фотография, наклеенная на картон и обрамленная в простую прямоугольную рамку. Рамку в хорошую минуту сделал Иван: опохмелившись, он зашел к ней зачем-то и пожалел сына, чья фотография висела на стене, привязанная веревочкой. Иван не мог сделать овальную рамку и сбил прямоугольную, но и этой рамочке она была рада до слез и сама выкрасила ее марганцовкой, а Ивану предложила на водку рубль, который он не хотел брать и взял только с отдачей. Она собиралась простить ему этот долг, но он и не успел его отдать, потому что в тот же день подрался с кем-то у магазина, его побили, и злой на него участковый его же посадил на год за хулиганство.

4

Вскоре после смерти сына она поверила в Бога. Это получилось само собой, без разговоров с другими людьми, без чтения книг о Боге и даже без церкви, — то есть она сначала поверила — и поверила сразу, когда о нем подумала, когда вспомнила, что есть на свете Бог, в которого верили раньше и веруют и сейчас некоторые и даже многие люди: до смерти сына ей вспоминать об этом было просто некогда. Она поверила так, как будто Бог всегда был у нее в душе и только ждал своего часа, и уже только после этого, уже веруя в ласкового старика с большой белой бородой, у которого должно было быть хорошо ее мальчику и на

которого она всегда могла бы его оставить, чтобы не болела душа, — только уже после этого она заговорила на кухне с Марьей Афанасьевной, соседкой по общежитию, суровой, молчаливой, религиозной женщиной. И Марья Афанасьевна принесла ей старую книгу об Иисусе Христе, с ятями и твердыми знаками в каждом слове (которые, впрочем, не мешали ей читать, потому что она училась старой грамоте и мало читала по новой), и повела ее в церковь, и там, в теплом полумраке церкви, среди ласкающих душу свечных огоньков и сладкого дыма, она почувствовала себя не в храме Господнем, а дома, в гостях у очень хорошего, бесконечно сильного доброй медленной силою человека. Она не обижалась на Бога за то, что он допустил убить ее мальчика: вопреки всему прочитанному и услышанному, она не то чтобы не верила, она не просила у Бога Его всемогущества на Земле, а может быть, и не верила, видя на Земле вокруг себя много зла и рядом с огромностью этого зла так мало наказания. В минуту редкого раздумья об этом она останавливалась на том, что на Земле за всё страдают и всё, хорошее и плохое, делают люди, а Бог после смерти разбирает их дела и вершит правый суд. Она надеялась, что Бог не обижает ее мальчика, — ведь он не сделал никому дурного и умер, защищая Родину.

С сожалением — с сожалением, не болью, потому что в первую очередь Бог жил в ее сердце, — узнала она, запоздало за суетой переезда, что в Кучук-Ламбате нет церкви: возле замка княгиней была поставлена из тесаного серого камня большая часовня, но после революции с нее сбили крест и устроили электрическую подстанцию — и в праздники она с другими женщинами ездила в Ялту. Иногда, обычно на Пасху, им давали санаторный автобус с шофером Василием, которому они вскладчину покупали бутылку водки и собирали корзинку крашеных яиц с куличом. Водку он брал, а от корзинки всегда отказывался, но потом брал тоже — и, заходя в ожидании старух на церковный двор, крестился украдкой.

Всякий раз, попав в церковь, она ставила свечку и записывала помянуть сына — и, если была одна и Василий не ждал на дворе с автобусом, обязательно дожидалась,

когда отец Илларион своим густым, чуть севшим после обедни басом помянет «воина Александра». Поминование и свечку она воспринимала по-своему, как весточку сыну — чтобы не скучал без матери.

5

Да, после смерти сына жизнь ее остановилась. Брат был на двенадцать лет моложе ее, она очень его любила, но брат остался в Мариуполе — городе, который она так и не привыкла называть Ждановым: хотя и зная только хорошее о Жданове, она никак не могла понять, зачем Жданов, и свои редкие письма, портя конверт, только со второго или третьего раза надписывала его именем. Она любила и жалела брата и, наверное, осталась бы с ним в Мариуполе ухаживать за ним и поддерживать его, если бы не глубокая перемена, произошедшая с ним за время войны и превратившая его не то чтобы в несчастного или больного, но в совершенно отрешившегося от жизни человека, который своим усталым равнодушием к себе самому делал бессмысленной любую попытку ему помочь. Она чувствовала, что нужна ему только своим существованием, безразлично где, но никак не тем, что могла бы ему стряпать и стирать и разговаривать с ним: все это он без всякого усилия и раздражения делал для себя сам и разговаривал только сам с собою. Она была бы рада видеть его каждый день, но и для нее главное было осознавать, что в пятистах километрах от Утеса живет и думает иногда о ней родной брат, помнит ее день рождения и присылает открытки с красивыми памятниками, а когда она умрет, ее брат, моложе ее на двенадцать лет, будет жить, продолжать ее жизнь и иногда вспоминать о ней и ее могиле... И когда он погиб (его прижало к стене бортом грузовика, он пролежал неделю в больнице и, дождавшись ее, так же тихо и терпеливо, как жил, умер), она осталась совсем одна, после нее некому стало жить, и жизнь ее, остановившаяся на сыне, какой-то частицей своей продолжавшаяся в молодом рядом с нею брате, дрогнула, покачнулась и медленно тронулась назад. Она почувствовала это ее медленное движение к своему

концу. Не то чтобы она собралась умирать — тогда ей не было еще и семидесяти, и она могла еще жить и пять, и десять, и больше лет; на Утесе жизнь вообще текла медленно и потому долго, бабке Елизавете, стиравшей еще Гагариным, минуло уже девяносто, только мужчины пили и обманывали жизнь и дружно помирали вскоре после пятидесяти. Но ее жизнь, которую она ощущала движением вперед вместе с жизнью сына и долгой остановкой с того дня, как сын ушел на войну, и до гибели брата, теперь ощущалась ею движением в обратную, последнюю сторону.

В середине шестидесятых, незадолго перед своей нечаянной смертью, брат приехал ее навестить. Марина, которой было уже далеко за тридцать (а брату не было еще и пятидесяти), бросилась его обхаживать: напекла пирогов, показывая себя хозяйкой, хотя хозяйкой была никакой, по десять раз на день стучалась к ним в комнату — звала на море, напоминала о сегодняшнем кинофильме или концерте Крымской филармонии, просила в долг сахар или соль, не стесняясь Пелагеи Валерьевны (которая знала, что сахара и соли было у нее вдоволь), и уже перед самым его отъездом пришла с бутылкою водки, придумав себе день ангела, хотя ни Марины, ни даже Марии в тот день и в помине не было в святцах, и робкими и испуганными неотвратимым одиночеством были ее глаза на быстром и бойком лице... Но брат смотрел в сторону, устало и односложно отвечал на все ее вопросы и на все, что она, торопясь, рассказывала, а больше молчал и, видимо смущаясь, только редко и задумчиво произносил: «Да-а...» Водку он, правда, выпил, но и выпив ночевал в комнате вместе с сестрой — о чем она подумала с легким укором и сожалением, но ничего, конечно, ему не сказала: «Не мог напоследок пожалеть бабу...» Она бы не осудила ни его, ни Марину, ей думалось, что жалость человека к человеку — в жизни самое угодное и согласное Богу. Но здесь уже была воля Петра, а Бог и так сделал все, что мог, прислав его в то лето, — потому что именно тогда, в середине шестидесятых, на Утесе появились первые отдыхающие без путевок — «жильцы», «постояльцы», «квартиранты», «дикари», — и все, кто жил в старом парке, начали поспешно

строить маленькие деревянные сарайчики, колотить на скорую руку летние веранды и навесы, собирать и чистить ржавые, выброшенные из санатория железные кровати — и селить у себя приехавших к морю людей из расчета рубль в день за человека... Она построилась одной из последних, когда вся земля около дома была уже занята соседями, потому что была одинока и уже стара, без родственников и без знакомых мужчин — и без денег, чтобы оплатить чужую работу. Она не писала об этом Петру, жалея его утруждать, он приехал сам, для окружающих — по счастливой случайности, для нее — по Божьему промыслу, так и должно было быть. За две недели он поставил маленький крепкий домик на самом краю террасы, укреплявшей склон, и даже покрыл навесом небольшую перед входом в домик площадку, вид с которой открылся неожиданно живописный, намного лучше, чем у соседей, в обидах и препирательствах выбиравших себе участки. И, войдя в свой светлый от некрашеных стен, лесом пахнущий домик, она неожиданно впервые за много лет радостно заплакала.

Домик она выкрасила зеленою краской (которой оказалось мало, и обращенную к морю, не видимую со двора стену пришлось докрасить белилами) и оклеила изнутри мягкими светлыми обоями с золотистыми розами на кремовом полотне, за которыми нарочно съездила в Ялту: у нее не поднялась рука клеить разноцветные остатки — так, как это сделали и Марина, и баба Надя, и Зойкин Степан, и все на Утесе. В домике она поставила две железные кровати и между ними старую, но чистую и крепкую тумбочку, стоявшую раньше в прихожей и служившую ей для посуды; дверь и окно закрыла плетеными занавесками, на тумбочке поставила, прислонив к стене, большое обрамленное зеркало, которое уже десять лет из-за ее быстро наступившей старости пылилось за гардеробом, и над одной из кроватей, более новой и с сохранившимся шаром на спинке (про себя она определила ее для женщины), повесила рисованный желто-синий ковер, на котором бородатый абрек похищал невесту. Два старых покрывала на кровати — зеленое и голубое — вместе показались ей нехороши, и она,

помедлив, принесла из комнаты голубое свое, а себе постелила зеленое. Комната заиграла небесными красками, и на мгновение ей стало жалко пускать сюда незнакомых, чужих людей, но одновременно и захотелось, чтобы в этом уюте и красоте жили и радовались добрые и честные люди. Она стояла на пороге, покусывая губы, и вдруг увидела себя со стороны — старую шестидесятилетнюю женщину, смущенную и взволнованную, как девчонка. Досадуя на себя, она захлопнула дверь и повесила новенький никелированный замочек.

6

Первых жильцов она приняла уже в конце того лета, когда приезжал брат. Она не хотела, боялась кого-нибудь поселить в первый же год, не зная, что с ними делать и как ей себя вести, и рассчитывала на будущее лето: но отдыхающие вдруг повалили толпами, и однажды, вернувшись из магазина, она увидела в своем маленьком дворике, под решетчатым навесом, который уже затягивал торопливый дикий виноград, пожилую растерянную пару, стоявшую как среди развалин среди многочисленных, растрепавшихся в дороге вещей: его — лысого, блестящего, толстого, как чемодан, и ее — стройную, хотя и пожилую, молодящуюся из последних сил женщину... а рядом с ними — что-то без умолку болтающую Марину, которая зря прожила бы час, если бы не влезла не в свое дело.

Это и были первые ее постояльцы. Муж оказался добрым, застенчивым человеком, пугающимся в чужом доме каждого своего шага, а его жена, как и все жены хороших, добрых людей, неприятной, сухой и надменной женщиной, которую она невзлюбила с первого дня — с того самого момента, когда эта женщина повесила на стену вымытую сковородку не так, как это делают все нормальные люди, донцем наружу, а наоборот, отчего сковорода нелепо вздыбилась, и Пелагея Валерьевна, войдя в полутемную кухню, ударилась о нее головой... Но несмотря на это и на множество воследовавших за этим мелких неприятностей, которые приносят в дом чужие, незнакомые с обычаем этого дома и

одним своим присутствием стесняющие люди, — несмотря на это, первым своим жильцам она старалась как могла угодить: меняла белье каждую неделю, стесняясь положить штопаную простыню, сама выносила мусорное ведро, быстро наполняемое неприятной и неумелой женой толстого доброго человека, вкрутила в домике новую, более сильную лампочку, когда Иван Иваныч, чему-то (она не поняла чему) ученный, робко пожаловался на темноту...

Но уже на следующий год она привыкла и успокоилась. Отдыхающие менялись быстро, шесть—семь раз за сезон, редко выделялись друг из друга, а если и выделялись, то не в лучшую сторону. Они обращали на нее мало внимания, и она перестала на них обращать, замечая и досадуя на только те хлопоты и неудобства, которые они неизбежно приносили с собой. Они часто теряли ключи, которые можно было повторить только в Алуште, а если последние, то и вовсе приходилось покупать новый замок; забывали завернуть на ночь вентиль газового баллона, а краны на плите подтекали; воду для супа и чая, пренебрегая ее просьбой, подогревали на плите, расходуя газ, а не большим кипятильником (за него не нужно было платить, потому что Зойкин Степан за бутылку провел в домик свет, минуя электрический счетчик, а газовый баллон, который даже пошевелить было ей не под силу, заполняли только два раза в год наверху в гараже, и ей приходилось просить Ивана, а если он в этот день бывал пьян, то и вовсе посторонних мужиков, и конечно ставить за это бутылку); посуду мыли по-городскому кое-как, смывая только пищу и хорошо если жир, а подгоревшие донца (позор для хозяйки) ей приходилось самой чистить песком — соду она жалела на пироги...

Однажды она испытала к своим жильцам злое, враждебное чувство, за которое потом скрепя сердце попросила прощения перед иконой. Это было на третье или четвертое лето. Она задумала купить холодильник — такой же, как купили уже Марина, Зойка, баба Надя и многие на Утесе. В построенном на камнях доме не было погреба, суп в летние жары только что перестаивал ночь, масло текло, рыба уже через час мутнела глазами, — а она стала уже стара, и ей было тяжело

подниматься каждый день на гору в магазин, покупать свежие продукты. Те двести пятьдесят, много триста рублей, которые выручал ее домик, делились на двенадцать месяцев и вместе с сорока рублями пенсии полностью уходили на еду и на первую жизнь, ничего не оставляя на вещи. Холодильник же стоил без малого сто рублей, и это не считая дороги... Поэтому в ту весну, когда в ней окрепла мысль о холодильнике, она заплатила Зойкиному Степану двадцать рублей (тайком от жены, ей сказано было пятнадцать), и он в два дня пристроил к внутренней стене домика узкий дощатый с двумя столбами навес, под которым она поставила для себя кровать и отгородилась от двора ширмою. Свою комнату она сдала, и первыми в ней поселилась молодая пара — такие же молодые, сейчас вспоминала она, как ее нынешние Лена и Игорек, которые приезжали к ней уже несколько лет подряд и которых она, как обычно, ожидала сегодня летом, — но намного громче, бойчее, свободнее, с ленивыми уверенными голосами и снисходительным к ней выражением в холодноватых глазах... Однажды, разбирая в своем шкафу, стоявшем рядом с другими шкафами в общей прихожей, старые вещи, она услышала из комнаты громкий смех и невольно прислушалась. «...и успехов в работе», — торжественным голосом читал парень, а девица прыскала и фыркала, как умывающаяся кошка.

— *Жи-лаю счастья...* Ну какое же у советского человека *счастье* без успехов в работе? Обрати внимание на адрес: куда — Эрэсэфэсэр. Откуда — Уэсэсэр. Чтобы не послали по ошибке в Швейцарию... Подожди, разве здесь... Эрэсэфэсэр? Старик что-то напутал...

Она только на слове «Уэсэсэр» поняла, что читают открытку брата — последнюю перед его смертью, верхнюю в стопке всех его открыток, лежавших на полочке рядом с единственной в ее доме книгой, первой частью романа «Белая береза» писателя Бубеннова, которую она читала и никак не могла дочитать: как только она доходила до слов «ярко засиневшие глаза», часто повторявшихся в книге, так у нее сжималось сердце и она закрывала и ставила книгу обратно: у Саши глаза были ярко-синие, как васильки...

Когда ей становилось совсем одиноко, она снимала с полки пачку открыток и читала их одну за другой, начиная с первой, сорок девятого года, с твердым почерком молодого еще человека, и кончая последней, написанной уже неуверенной, дрожащей от водки рукой, — последней, в которой он впервые почему-то пожелал ей успехов в труде и над которой сейчас смеялись... Она замерла, чувствуя, как жар заливает щеки. Что они делают... как им не стыдно! Минуту она стояла в смятении, растерявшись от натиска хлынувших на нее болезненных, хотя и неясных чувств, пока все они не слились в одно отчаянное, беспомощное, бессильное чувство острой жалости к брату, к его виноватой малоподвижной улыбке, его глухому голосу, большим неловким рукам, способным только на тяжелую, грубую работу... например, сколотить из обрезков и горбыля светлый маленький домик, в котором эти... такие, как эти... живут, отдыхают, смеются... Она стояла и чувствовала, как кривится, подрагивает ее лицо, но не плакала. Она вообще очень редко плакала.

7

После этого случая у нее установилось к отдыхающим... нет, не враждебное, она без усилия над собой понимала, что нельзя грех двоих людей переносить на весь род человеческий, но вполне равнодушное отношение. Она отказала в еженедельной смене белья, стала менять раз в десять дней, как меняли все на Утесе, в зависимости от этого установив в десять дней минимальный срок, на который в горячие дни принимала отдыхающих; если в первое лето она стеснялась постелить простыню с заплатой, то теперь стелила только такие или те обветшавшие простыни, которые она разрезала посередине и сшивала наружными краями; перегоревшую лампочку Ивана Иваныча, которая держалась необычно долго, быть может потому, что после него в домике не случалось ученых, она заменила не равноценной, а более слабой, в сорок свечей; поделила посуду, причем всю эмалированную забрала себе — жильцы прожигали и били эмаль в одно лето. Наконец, мусорное ведро

стали выносить квартиранты: с какой стати она должна это делать сама, если без них ее ведро наполнялось неделю?..

Впрочем, она жалела, что подобно многим на Утесе не завела себе постоянных отдыхающих, которые каждый год возвращались на старое место, предупредив письмом о сроке приезда, присылали открытки ко дню рождения и на Новый год и привозили гостинцы, недоступные в их глуши и обычные для большого города. Жалея, она давно уже смирилась с этим. Отчасти здесь виноват был Иван: его сарай, в котором он жил, сдавая комнату, построен был прямо напротив входа в ее домик — это на его крышу брат перебросил решетчатый навес, под которым она поставила стол и три табурета; тогда, лет пятнадцать назад, Иван не пил так беспробудно, как ныне, но все равно уже много пил и часто, шатаясь, появлялся во дворе, как худая большеглазая тень, или часами гулко бубнил что-то и стонал по ночам, закрывшись в своем сарае, пугая и сердя отдыхающих. Отчасти виновата была и Марина: годы не брали ее, она лезла ко всем приезжающим мужикам, не обращая внимания на сопровождавших их жен или женщин, и несколько раз квартиранты выезжали со скандалом, во время которого женщины кричали друг на друга, а мужчина молчал, как побитая собака, — причем однажды из ее домика. Один раз была виновата она сама: Тамара и Алексей из Ленинграда прислали письмо, что взяли билеты на середину августа, но нынешние жильцы уезжали в начале. Она не могла себе позволить десять дней держать домик пустым, а на десять дней или на неделю, как назло, никто не случился. Ленинградцы приехали и обиделись... и больше уже к ней не возвращались...

Да, она чувствовала, что жизнь ее пошла к концу, хотя внешне ничего не изменилось. Она даже не заметила, когда удлинились и замедлились ее дороги: наверх — в магазин, в сторону — на почту, вниз — к мусорному контейнеру, — потому что в ее медленную жизнь, лишенную последние долгие годы и радостных, и горестных потрясений, старость и слабость вступали тоже медленно и каждый день незаметно. Случайно обзавелась она палкою: однажды, запыхавшись по жаре, она с трудом вернулась из магазина, и

баба Надя, вступавшая уже в девятый десяток, предложила ей попробовать свою, потому что сама за старостью лет весь день сидела во дворе, а покупала продукты и готовила на двоих безалаберная и до сих пор — уже, наверное, навсегда — одинокая Марина. Она сначала растерялась и, смешно сказать, огорчилась и обиделась, потому что, как и все, никогда не верила, что когда-нибудь ей может понадобиться палка. Но через два или три дня, когда она собралась платить за квартиру (стояла такая жара и сушь, что никли кипарисы, а проклятая Зойка из конторы работала только до четырех, чтобы вечером сидеть в холодке и ленивым толстым голосом ругать пьяницу мужа), она помедлила в нерешительности на пороге, неуверенно взяла бабы-Надину палку, приставленную к косяку, вышла, держа ее наперевес, со двора и уже здесь, оглянувшись по сторонам, не видит ли ее кто, начала осторожно подниматься по ступенькам. С палкой оказалось неожиданно хорошо, легко, а главное, надежно: исчез постоянный в последние два или три года страх потерять равновесие, поскользнуться, упасть, заставляющий на крутом подъеме глазами искать, за что бы в случае беды ухватиться рукою, — появилась третья прочная, удобная опора... На следующий день она пошла в санаторий и попросила в аптеке палку.

Жизнь ее проходила в бесхитростных и неторопливых трудах, день струился за днем. Встать с кровати, застелить постель, дойти до уборной во дворе, умыться, приготовить завтрак, позавтракать, помыть и убрать посуду, — все в глубокой старости протяженно во времени и утомительно для тела. Любое действие разбивается на множество ясных, законченных, как будто наблюдаемых со стороны, в молодости не замечаемых движений. Даже в сорок, пятьдесят, шестьдесят лет приготовление завтрака воспринимается действием неделимым, как глоток воды, — в восемьдесят невозможно не заметить, что для этого нужно отомкнуть сначала кухонную дверь, а для этого, в свою очередь, высоко поднять еще не проснувшуюся затекшую руку, нашарить под крышей шнурок ключа, на ощупь вставить его в замочную скважину — бородкою непременно в ту сторону, в которую нужно, иначе придется вытащить и, внимательно посмотрев,

вставить по-новому; открыть замок, высвободить его из скобы: покосившаяся дверь закрывается с усилием, скобы двери и косяка не совпадают, зажимая дужку, и, чтобы вытянуть ее, ей и десять лет назад нужно было толкнуть дверь коленом, а сейчас приходилось тяжело наваливаться плечом; наконец, открыть дверь и повесить ключ и замок на гвоздь, не видимый в полутемном углу...

Впрочем, все эти слабые, короткие усилия не вызывали у нее ни нетерпения, ни досады: для каждого времени жизни свой ход часов, и ее время, как и должно было, наверное, быть, кончалось медленно и равнодушно. Обыденная, повседневная жизнь неумолимо съедала жизнь.

Она никогда не думала о таких понятиях, как род, продолжение жизни, будущее, но инстинктивно ощущала себя последней, покинутой и ожидаемой сыном и братом, — и еще непонятно ощущала то, что с ней, с ее смертью, что-то навсегда закончится. Когда к ней приходило это странное чувство — обычно в минуты отдыха, когда она ложилась на высокую кровать или садилась в тень сильно разросшихся орехов, на редкое солнце, осыпающее ее лицо и руки теплыми мягкими лепестками, и в дремлющем мозгу ее начинали бродить далекие, смутные и светлые образы, — когда к ней приходило это неясное чувство чего-то заканчивающегося вместе с ее жизнью, ей становилось грустно и немного обидно... Она ясно видела свою смерть: у магазина перед открытием соберутся старухи, кто-то скажет: «Пелагея померла», Верка всплеснет руками и радостно сообщит, что на прошлой неделе она приснилась ей в черном платке, жадная Евдокия сразу подумает, сколько будут собирать на похороны (на Лизу собирали по два рубля), Капа решит сегодня же сходить в контору и попросить освободившуюся комнату для сына, который может работать электриком, а сейчас погибает в Симферополе от водки, но о водке ничего, конечно, не говорить... Люся подожмет сухие (тридцать лет назад пухлые, красные, прямо-таки неприличные) губы и вспомнит, как в пятидесятом, кажется, году Пелагея чуть не наступила на нее, сидевшую (поспешно севшую) в лавровых кустах с голубоглазым шахтером из Сталино... Кто-то из новых

старух спросит, сколько ей было лет, но тут магазин откроется, старухи, не дождавшись ответа, начнут, кряхтя, подыматься, и о ней забудут навсегда. Дома заплачет Марина, но Марина плачет и над неразродившейся кошкой...

Ни жизнь ее, ни смерть не нужны никому.

Как чудно сказал поэт: нечаянный случай вдруг все переменял.

8

Первый раз они появились на Утесе восемь лет назад, в середине августа, в очень неудачное для приезда время, когда все уже приехали и никто не собирался уезжать. День клонился к вечеру, когда они пришли к ним во двор: парень — высокий, тонкий, почти прозрачный, светлоглазый со светлыми волосами, в джинсах и светлой рубашке, расстегнутый ворот которой безуспешно пытался скрыть, как он широк для его тонкой и бледной шеи, и девушка — невысокая и крепкая, очень хорошенькая, с короткой стрижкой тоже светлых волос, тоже в джинсах и в футболке с каким-то разноцветным чертом на высокой и острой, наверное, вытаращенной лифчиком груди. Мальчик (для себя она назвала его так в ту самую первую минуту и в душе по-другому не называла до сегодняшнего дня) держал в правой тонкой, болезненно напрягшейся руке большую раздувшуюся сумку красно-коричневой кожи, которая совершенно прогнула его на сторону — так зрелый тяжелый плод изгибает тонкую ветку, — и когда он, сдержанно кряхтя, осторожно поставил ее на землю, на его пальце блеснул золотой ободок кольца.

У них был очень усталый вид, особенно у мальчика, в глазах которого стояло почти умоляющее выражение. Девушка казалась бодрее и спокойнее. Видимо, они искали уже давно и везде слышали отказ — Кучук-Ламбат был переполнен. Она выходила из кухни, когда они появились во дворе.

— Здравствуйте, — сказал мальчик упавшим голосом и с усилием энергично продолжил: — Извините, у вас не сдастся комната?

— Нас двое, — сказала его жена неожиданно твердо для своей маленькой, почти игрушечной фигуры, но вслед за этим в глазах ее промелькнуло такое же, как у мужа, слабое, умоляющее выражение.

Она медлила, неожиданно растерявшись, не зная, что сказать. Домик ее два часа назад освободился — металлург из Донецка, узловатый, до черноты загоревший человек с крикливой раскрашенной женой, уехал раньше срока, узнав о том, что отца разбил паралич. Сегодня стоял очень жаркий, нездоровый день, и она с утра чувствовала себя так слабо, как будто начался он с глубокого вечера, а после обеда ее несколько раз чувствительно и неприятно качнуло. Поэтому в домик она сегодня никого не собиралась пускать: вымыть перед въездом новых гостей пол, переменить постели, подмести площадку перед домиком было ее правилом — правилом *уважающей себя* хозяйки. Потому что уважение к себе может произойти только из уважения к человеку, к тому, что он даже не скажет, а подумает — иначе это будет не самоуважение, а хамство и в первую голову на себя самое позор... Она плохо себя чувствовала, у нее не было сил стелить чистым постели и тем более мыть полы, но она посмотрела на их усталые, бледные, в конце лета не загоревшие лица, на тонкие руки мальчика и толстую сумку у его ног, на девочку, в глазах которой по мере ее молчания загоралась робкая надежда... и вдруг почувствовала к этим двоим — из десятков перебивавших и переживших у нее за долгие годы людей — необъяснимое влечение и симпатию. Она даже забеспокоилась, не успев этому удивиться: если она скажет прийти завтра, они могут по лестнице подняться наверх, террасою выше, к Соне Омельченко, которая сама жила на служебной квартире в Айвазовском, а большой дом и двор полностью отдавала жильцам. Сегодня от Сони как раз кто-то выехал...

Она даже заторопилась согласиться.

Впрочем тогда, восемь лет назад, ее согласие объяснялось (помимо жалости и неясного теплого чувства к ним) в первую очередь естественным желанием сдать комнату по виду скромным и тихим отдыхающим — не в пример

уехавшему сегодня сталевару и его взбалмошной жене, которая даже в спокойную минуту разговаривала криком, или тем двум мужчинам из Кременчуга, объявившимся в начале лета, которые все три недели своего отпуска пили горькую: пили, правда, тихо, стараясь не попадаться на глаза, но все равно часто попадались, и тогда тяжело и неприятно было смотреть на их обгоревшие, распухшие, перекошенные водкою лица, застывавшие при встрече с нею бессмысленным выражением — в тщетной попытке принять человеческий вид...

Эти двое производили хорошее впечатление.

Услышав ее, они просияли как дети, — как маленькие дети, потому что они и были детьми. Она попросила подождать, чтобы убраться в домике; когда поставленное в раковину ведро наполнилось на одну треть, больше унести ей было сейчас не под силу, на дужку рядом с ее коричневой высохшею рукой легла пухлая белая ручка. Она оглянулась.

— Что вы, мы сами, — смущенно сказала девочка. — Где у вас тряпка?

Последние годы и раньше случалось, что жильцы, пришедшие на неубранную квартиру, жалея ее старческую немощь и в надежде, быть может, завоевать ее расположение, предлагали вымыть полы. Но она неизменно отказывалась. Это была ее работа, а в работе она, с детства воспитанная в трудолюбии, после обращения к Богу видела Божье предназначение человека, — предназначение, которому в меру своих сил и даже через силу надлежит следовать до самой смерти. Но сегодня она чувствовала такую слабость, что ведро показалось ей приросшим к раковине, и, для вида посопротивившись, она с облегчением и благодарностью уступила его маленькой белой руке.

Эту первую помощь она приняла как счастливую одинокую случайность, но уже на следующий день, сидя на общей веранде, увидела девочку, идущую к ней с сумкой в руке, и, подумав: им что-нибудь надо, — повернулась навстречу. Девочка пожелала доброго утра.

— Пелагея Валерьевна, мы идем в магазин. Вам не нужно что-нибудь купить?

От неожиданности она растерялась. Между соседями и их жильцами такое предложение не было редкостью, но ей — быть может, из-за ее молчания и нелюдимости — сделали его впервые. Кроме того, еще недавно она была бодрa, привыкла все делать сама или платить за то, чтобы непосильную для нее работу делали ей другие, и ей было неудобно. Она слабо отказалась, сказав — спасибо, деточка, мне ничего не нужно.

— Но этого не может быть, — смущенно, но уверенно сказала девочка. — Хлеб, или молоко... или, может быть, арбуз... он тяжелый. Мы принесем.

Ей нужны были и хлеб, и молоко, и даже арбуз, который она любила и теперь ела редко, потому что в последние годы не могла донести большой, а мелкие обычно не созревали... Поколебавшись, она попросила молоко и хлеб (арбуз не решилась), и девочка ушла очень довольная.

Это повторилось на следующий день и стало повторяться почти ежедневно; она, поначалу отказываясь и протестуя, наконец уступила и почти совсем перестала ходить в магазин — особенно после того, как однажды попалась им с полной сумкой на обратном пути и девочка серьезно и горячо ее отчитала... Ее удивило и тронуло неожиданное внимание, которое с каждым днем становилось все шире и настойчивей: мусорное ведро теперь не успевало наполняться — мальчик выносил его по два раза в день; из Алушты они привезли ей полную сумку лампочек, стиральных порошков, крышек для консервирования и две буханки настоящего черного, а не серого хлеба, который она очень любила и которого на Утесе не было... Наконец, самое большое и последнее, на что она так и не дала согласия и подчинилась силе, — они отвезли наверх и зарядили газом баллон (второй, запасной, первый был еще полон), и она исстрадалась, глядя на мальчика, который тащил этот баллон по ступенькам, особенно вниз, уже заполненный газом, тяжелый, на шаткой двухколесной тележке, изгибаясь своим тонким и слабым телом, а девочка цеплялась за вентиль нежными маленькими руками, пытаясь ему помочь...

Все это время она украдкой и с ласковой жадностью наблюдала за новыми своими жильцами: как и все слабые, но трезвые еще умом старики, которым временем отказано в разнообразии собственной жизни, она была любопытна. Мальчика звали Игорь; девочка была Леною. Он называл ее Зайка, часто по привычке даже на людях, и при этом краснел и хмурился; она называла его Игоречек, с удовольствием выговаривая длинное слово. Он во всем стремился ей помогать — вернее, он все хотел делать сам, но она его отгоняла, и он вынужден был довольствоваться ролью помощника. Он чистил овощи для обеда — этого казалось ему недостаточно, и он упрямо лез в маленькую кухню, где было тесно и одному, пока однажды второй раз не посолил и не испортил суп и не был изгнан из нее окончательно. Посуду они мыли вместе — она мыла, а он терпеливо стоял за ее спиной, принимая вымытые тарелки, и относил их сушиться. Старая баба Надя, целый день сидевшая на скамье, перед глазами которой проходила вся дворовая жизнь, относилась к этому неодобрительно: «Що це за чоловік — тарелки за жінкой таскає? От мий Василь...» Давно покойный бабы Нади муж — маленький, худой, горький пьяница — поливал старый парк и, выпив лишнее, лез к бабе Наде драться, но баба Надя была сильнее; в жизни она звала его злыдень и паразит и очень редко по имени... В конце обеда молодые любили препираться из-за последней арбузной скибки — каждый хотел, чтобы она досталась другому. Они долго спорили, вспоминая, кто сколько съел, двигали ее друг к другу и, наконец, съедали, разрезав пополам, если не разгорался новый спор, чья половина крупнее. Это была игра, доставлявшая им огромное удовольствие; сумевший отказаться от своей доли выглядел совершенно счастливо.

Пройти мимо жены и не поцеловать ее было для него решительно невозможно. Оглянувшись по сторонам и думая, что никто его не видит (кроме целыми днями сидевшей во дворе бабы Нади, с присутствием которой он, видимо, смирился и которая после каждого такого поцелуя

что-то неодобрительно ворчала себе под нос), он подходил сзади к ней и целовал ее в ухо или в шею. Она нагибала голову, что-то испуганно шепча, он как будто ожидал этого и начинал целовать ее пушистый затылок, пока девочка не изворачивалась и не взглядывала на него с возмущением...

Она изумленно и радостно смотрела на эту незнакомую, не испытанную ею любовь. Ее никто никогда так не любил, хотя она всю долгую жизнь пронесла в себе счастливую и гордую уверенность в том, что ее любил ее муж, как она называла Николая, который, правда, любил ее всего месяц, но любил и подарил ей Сашу. Потом она всю свою жизнь прожила одна, и даже мужчин у нее почти не было — три случайные встречи перед войной в Мариуполе, — а после войны, после смерти Саши, она почувствовала себя старой и равнодушной. Она не видела в жизни не только своей, но и чужой любви: знакомые семьи были усталы, неласковы, даже грубы, мужья часто пили и, напившись, скандалили и дрались, а жены осыпали их такими ругательствами, сказать которые у нее не повернулся бы язык даже чужому человеку... А сейчас в ее маленький двор, до голубого небесного окошка наверху затянутый старым виноградом, пришла жизнь светлая и ласковая, как детская мамина сказка. Она наблюдала эту жизнь без зависти к тому, чего не было у нее самой и уже никогда не будет, даже без печали и жалости к себе, одинокой, всеми на земле покинутой и никому, на всем свете никому не нужной, — наблюдала с чувством, которому не могла подобрать слово, но в котором было и тепло от чужого счастья, казалось, бросавшего свой отблеск на ее холодную, одинокую жизнь, и страх за прочность, за будущее этого счастья — преждевременная жалость к мальчику и девочке, которым будет больно, если, не дай Бог, это счастье кончится, и радость и волнение от своего соседства, своей невольной причастности к этому чуду... Хотя почему невольной, поправлялась она, довольная собой: ведь это она открыла перед ними дверь своего домика, почувствовала их любовь и пожалела их, хотя твердо решила в тот вечер не брать постояльцев...

В первые дни они очень боялись сделать что-нибудь не так, обдумывали каждое свое движение — и все равно часто

попадали впросак: сковороду вешали торчком, половую тряпку замочили в ведре, приготовленном для помидоров, ссыпали из двух банок в одну сахар и соль, приняв в темноте крупную соль за сахар, а однажды, закрыв туалет, забыли положить ключ на место, и утром она долго искала его и, не найдя, поплелась наверх, в общую уборную... Но если такие промахи и такая забывчивость других, прежних, толстых и взрослых людей вызывали у нее раздражение и досаду, то, глядя на мальчика и перепуганную девочку, она испытывала только жалость и желание поскорее заставить их забыть свою ошибку или вину. Вся ее старая жизнь, медленная и усталая, стремительно переворачивалась и менялась.

Однажды Игорь — Игоречек — отправился в магазин, стыдливо затолкав в карман разноцветную старушечью сумку и длинный список того, что нужно было купить, который девочка составила и вручила ему с игрушечной строгостью: не трать понапрасну деньги! Сама же она, как только скрылась из виду его тонкая поспешливая фигура, нырнула в дом и с видом заговорщическим и счастливым выбежала оттуда с пакетом муки, бутылкой молока и парой яиц. Старуха поспешила к ней с живым любопытством: девочка замешивала тесто.

— Я буду делать блины, — сказала она, тихо и гордо сияя.

Через десять минут, проходя мимо кухни, Пелагея Валерьевна услышала мокрый короткий всхлип, как будто прыснул в молоко котенок, и, миновав осторожно дверь, заглянула в маленькое оконце. Из кухни шел дым и чад, девочка стояла у плиты и лила тесто на раскаленную сковороду: блины горели и лопались с шипеньем и треском, липли к сковороде, рвались неровными лохмотьями... Рядом с плитой в глубокой тарелке возвышалась уже гора коричневых лоскутков, похожих на сухие опавшие листья. Девочка отскребла от горевшего дна последний блин, рассыпавшийся у нее в руках, и тихо и горько заплакала.

Старуха расстроилась и испугалась и бросилась на кухню. Блины получиться и не могли: тесто было слишком жидко, огонь чересчур велик и сковорода, легкая белая

сковорода, совсем не годилась для блинов — для них хороша была сковорода чугунная, черная, с толстым тяжелым дном, висевшая рядом... При виде старухи девочка заплакала еще горше, и она, что-то успокаивающе бормоча, вдруг погладила ее по мягкому плечу высохшей сморщенной рукою. Кучка подгоревшего теста была брошена кошкам. Нужно было спешить — Игоречек мог скоро вернуться! Она сама замесила тесто, намазала черную сковороду, поспешно объясняя по пути каждое свое движение, и в ту минуту, когда мальчик появился в конце тропинки, блины были готовы и она, с видом случайным и независимым, засемила из кухни. Девочка была счастлива; мальчик принес старухе на блюде несколько блинов и сказал: «Пелагея Валерьевна! Жена (он произнес это гордо и с удовольствием) сказала, что это вы помогли ей испечь блины... Большое вам спасибо!» А она... в жизни ее такое было в первый раз — то есть было, конечно, с Сашей, но уже забылось, — почувствовала, что в эти минуты ей больше ничего в жизни не нужно.

Дни, всегда одинаковые и неторопливые, побежали быстро и разнообразно. Каждый день что-то было новое — незнакомые, позабытые, чудесные хлопоты: мальчик жестоко сторел — нужна была простокваша; девочка варила борщ, не обжаривая лук, морковь и свеклу, — разве это борщ?! На день вдруг похолодало, она испугалась, что ночью в домике будет холодно — и пошла к Марине просить электрическую печку. Соседи смотрели, и смотрели по-разному: Марина посмеивалась и девочку с мальчиком называла внуками; баба Надя ворчала со своего стула: «Ишь, разбегалась... старая!» Только Иван никак не смотрел — он взял с приехавших жильцов деньги вперед и запил беспробудно... От соседей у нее самой появились новые, неизвестные ей ранее беспокойства. Марины она боялась, что она начнет приставать к мальчику, хотя это и было смешно, Марина приближалась уже к пятидесяти; бабы Нади — что она по старости брякнет что-нибудь не то; больше всех ее тревожил Иван, хотя до сих пор он мухи никогда не обидел, только его обижали, но пьяный как огонь, не знаешь куда кинется... Если она будет рядом, она ему

задаст, а если нет? Впрочем, все это было ее фантазиями, порожденными старческой мнительностью и с каждым днем возраставшей привязанностью к новым жильцам. Она сама это понимала и по-настоящему боялась только того, что Иван, который, напившись, что-то часами бубнил себе под нос, сидя в своем сарае или в кресле под кипарисом, и непонятно вскрикивал иногда, скажет при девочке матерное слово. Ей казалось, что в том мире, в той жизни, откуда приехала эта девочка, услышать эти слова было бы ужасно.

10

Была одна сторона человеческих отношений, которая раньше вызывала у нее чувство брезгливости и неприязни, а теперь, связанная с мальчиком и девочкой, — смущение и беспокойство. Хотя у нее было четверо мужчин перед войною и от одного из них — сын, ее мысли, чувства и долгие годы самая жизнь скорее могли принадлежать старой деве, чем рожавшей и грешившей женщине. Очень давно, почти шестьдесят лет назад, она любила своего мужа — то есть она была счастлива, когда он разговаривал с ней и ей улыбался, когда водил ее в синематограф смотреть «Мистера Веста в стране большевиков», когда просто сидел, молчал и был рядом, когда незнакомо и неприлично трогал и ласкал ее в те редкие недолгие минуты, которые случались у них за месяц их короткой любви. В эти минуты ей было приятно, что он с нею нежен, ласков и добр, но все то, что он делал с ней после этой короткой нежности и доброты, не приносило ей ни наслаждения, ни счастья. Счастье было потом, когда после всего этого родился Саша. Иногда то, от чего он родился, было ей даже неприятно: ей казалось, что муж, который был так близко рядом с ней, что ближе быть уже невозможно, в эти последние минуты отдаляется от нее, даже вовсе перестает обращать на нее внимание — странное чувство, причину которого она не могла объяснить... И те мужчины, к которым она коротко тянулась после него, привлекали ее не желанием плотской близости, не желанием мужского

тела — просто в слабую минуту ей хотелось к себе участия и тепла — доброты, обращенной к тебе. И эту доброту, которую она видела, на которую надеялась от этих мужчин, она совершенно отделяла от всего того физического, что с ней делал мужчина: он мог и ничего с ней не делать, просто сидеть близко, рядом, чтобы она не чувствовала себя одинокой... Эту доброту она с радостью приняла бы и от женщины, с радостью, быть может, даже большей, потому что она не была бы связана со всем тем, что потом у нее происходило с мужчиной. Но женщины одного возраста редко бывают добры друг к другу: без задней мысли женщина добра только в те минуты, когда в чужой дом приходит большая беда, когда другая женщина полностью повержена... И оттого ли, что физическая любовь приносила ей мало удовольствия, оттого ли, что она почти и не имела, а после войны и вовсе не имела ни с одним мужчиной таких отношений, или оттого, что вообще была совсем одна, но о плотской любви мужчин и женщин, особенно тех, часто уже немолодых толстых мужчин и густо накрашенных женщин, которые жили в ее домике и по утрам выходили умываться: опухшие, небритые — или зеленовато-бледные, с открывшимися без дневной помады и пудры пятнами и морщинами, — о таких отношениях этих мужчин и женщин она думала с чувством гадливости и физической какой-то тоски, даже с раздражением, как о чем-то нечистом, хотя понимала, что это неправильно и смешно. Особенно неприятно это было ей в последние, уже долгие годы, когда она вышла на пенсию. Чтобы заработать побольше денег, она и после покупки холодильника продолжала сдавать не только домик, но и свою комнату, а сама на лето перебиралась на улицу под навес, сколоченный Зойкиным Степаном, — на кровать, стоявшую вплотную к домику у тонкой фанерной стены... К счастью, она не страдала бессонницей, и, хотя спала чутко, сон, даже и прервавшись на миг, тут же вновь овладевал ею. Но и в эти короткие мгновения она ловила иногда осторожный, неуверенный, а порой и не такой уж осторожный скрип железной кровати — и тогда против воли своей вспоминала лица своих жильцов и, страдая от стыда за себя и за тех мужчину и женщину,

спешила поскорее опять заснуть... Детей она, впрочем, любила.

И вот сейчас, когда приехали мальчик и девочка (про себя она так и называла их Мальчик и Девочка, потому что Игорь было для нее очень незнакомое, непривычное, а Игоречек очень длинное имя; имя девочки звучало редко, а Зайка было для нее слишком ласково, она вообще мальчика больше любила), — сейчас, когда приехали Мальчик и Девочка, она вдруг почувствовала, случайно подумав об *этом*, что не испытывает при *этой* мысли о них никакого неприятного чувства, что между ними все *это* должно происходить естественно, чисто, даже красиво — подобно тому, как он называет ее ласковыми словами, обнимает украдкой, целует осторожно и слабо в щеки и в нос... Иногда она даже досадовала, что он слишком ее балует. А вслед за осознанием этого чувства — вернее, отсутствия чувства обычной брезгливости и стыда — она однажды, через несколько уже дней, вдруг поймала себя на мысли о том, что ночью в домике необитаемо тихо... ничего и никогда она не слышала. И неожиданно — это было смешно, она даже вознегодовала на себя — забеспокоилась. Они оба такие робкие... может быть, она им мешает?

...Она проснулась посреди ночи — для нее это была глубокая ночь, потому что леглась она с темнотой, а вставала с рассветом; проснулась от стука алюминиевой миски, в которой, сопя и царапая ее иглами, возился еж, приходивший по ночам вылизывать остатки кошкиной еды. И почти одновременно с тем мгновением, когда звякнула миска и она проснулась, — продолжив и удлинив этот звук, прозвучал тонкий певучий скрип панцырной сетки — и оборвался внезапно: слишком резко, не дозвучав, словно тоже услышав наружный шум и его испугавшись. Машинально, спросонья, она откинула марлевый полог и шуганула ежа: «Тю, чтоб тебя!» — и еж затопал, застучал по каменному полу, быстро удаляясь и шурша иглами... Она легла на место и тут вспомнила другой звук — слабый оборвавшийся скрип; она не успела еще ничего подумать, как он вдруг возобновился — сетка пискнула три раза, и вслед за тем, не разбирая слов, она услышала торопливый,

испуганный, возмущенный Девочкин шепот, вместе с которым затихло все и наступила мертвая тишина.

Она лежала с закрытыми глазами, но сон, вместо того чтобы как всегда быстро унести ее в свою спокойную тихую даль, стремительно побегал прочь, пока не убежал вовсе. Она просила его вернуться, пыталась сама бежать за ним, но от этого только звонче проступила ночная тишина, и, открыв глаза, она явственно увидела синие очертания столбиков и перекладин навеса. Она отчаянно стеснялась того, что должно было произойти в полуметре — меньше! — от нее, за тонкой фанерной перегородкой, и в то же время думала об этом с непонятным облегчением и нежностью.

Сон не возвращался. Прошло пять, быть может десять минут. Было очень тихо: пели сверчки, иногда шуршал ночной куст или кипарис ронял шишку... И вдруг в ней поднялась тревога — она вспомнила торопливый испуганный шепот девочки, наступившую за этим тишину, и неожиданное чувство вины и досады на свою неловкость охватило ее... Она им мешает! Они думают, что она не спит, они боятся ее...

И, охваченная жалостью к испугавшимся детям и желанием им помочь, она начала тихонько похрапывать.

Сон ее полностью прошел. Она лежала с бесполезно закрытыми глазами и дыханием своим изображала спящую — похрапывала, посвистывала носом, булькала губами... И через минуту или две тонкий ласковый скрип — неумелое пение старой железной кровати, списанной из санатория и купленной ею за десять рублей несколько лет назад, — возобновился. Она почувствовала, как краска заливает ее лицо, — далекое, забытое давно ощущение, — и храпела все громче и радостнее, причмокивая и всхлипывая и даже что-то невнятно, как будто во сне, бормоча. Скрип был осторожный и бережный, в каждую минуту готовый прерваться, похожий на последний вздох уже отзвучавшей струны, почти невесомый, как движение ночного ветра, как запах цветущего олеандра, доносившийся с прибрежной аллеи... Она плыла вместе с этой чистой ночной музыкой любви, то затихающей, то вновь набирающей ласковую силу, что-то слабо шепчущей, смеющейся неслыш-

ным счастливым смехом... Забывшись, она перестала храпеть, задышала тихо и ровно, засыпая, — скрип сразу же прекратился, и тишина властно вырвала ее из небытия. Испугавшись, она всхрапнула так, что у нее заболело в переносице, и уже до самого конца ровно похрапывала, боясь заснуть, чутко прислушиваясь к хрупкой застенчивой песне, как дирижер к неопытному оркестру... Когда все кончилось, она быстро заснула и, засыпая, подумала о себе со слабой счастливой улыбкою: вот старая дура!..

Утром, увидев их беззащитные, еще не проснувшиеся лица, она поняла, что ближе их у нее никого нет и уже давно, очень давно не было на свете. И вместе с этим сознанием померкла и затаилась постоянно в ней живущая горькая мысль о своем одиночестве, своей бесполезности, своем близком и бесповоротном конце, который будет концом не только ее жизни, но и еще чего-то большого и длинного, что было до нее и что вместе с нею навсегда оборвется. Ничего не оборвется — ведь они такие еще молодые!..

И в первый раз она вслух, шепотом, для себя, назвала их обоих словами, которые давно уже приглушенно звучали в глубине ее души, боясь приблизиться и открыться, прозвучать вслух, опасаясь то ли своей самонадеянности, то ли ее неготовности к ним. Она назвала их для себя — «Дети», подразумевая и чувствуя — «мои Дети»...

11

С этого дня ее жизнь как будто перестала ей принадлежать — перешла к ним, стала их жизнью. Она теперь почти не выходила из кухни, которую никогда не любила, каждый день готовя для них что-нибудь новое, необычное, вкусное, извлеченное из глубины памяти изобретательной малороссийской хозяйки: сырую баклажанную икру, вареники с вишнями, фаршированные перцы, пирожки с сабзой. Они ели с наслаждением, уставшие и голодные после моря, хоть и попрекали ее, и гнали из кухни, жалея ее старость и ее труды, а однажды Девочка осмелела и даже пригрозила отобрать у нее ключ, но она только посмеивалась про себя, у нее были запасные ключи, и готовила в то время, когда

они были на море, а еще лучше утром, потому что она вставала в шесть, а Дети не раньше девяти. Стол под навесом был на троих, одной стороной прислоненный к стене Иванова сарая, и ее любимым занятием стало сесть на третий, наружный ко двору табурет и смотреть, как они едят ее пироги, оладьи, драники или кабачки в сметане — и радоваться почти зримо представляемой мысли о том, как они с каждой минутой набираются сил, растут, толстеют... да, толстеют, уж больно они были худыми — особенно Мальчик. Любила она сидеть и слушать, как они оживленно болтают после обеда, хотя и не понимала многого: какой-то Сопромат, после которого они поженились, какой-то Сейшен, где все стояли на ушах, какая-то машина времени, на которой ездил, что ли, какой-то Макаревич... У нее мастер в эвакуации был Макаревич. Ей было интересно, но она не перебивала. Иногда они спрашивали о ее жизни, и она рассказывала подробно и с удовольствием — первый раз в жизни она охотно рассказывала свою скудную жизнь, каждый шаг по которой отзывался в ней раньше печалью...

Вдруг, ни стога ни с сего, в ней проснулась подозрительная старческая ревность. Марину она к Детям вообще не подпускала, откровенно гнала ее прочь, а если случалось той заговорить с Мальчиком или Девочкой или даже просто остановиться возле стола, подходила к ней и недовольно ворчала: «Пойдем, пойдем...» Старая баба Надя вдруг перестала хмыкать себе под нос, когда Мальчик относил сушиться посуду, и если они оказывались рядом с ней, начинала жаловаться на ломоту в костях и одышку — и они участливо слушали... А какая у нее может быть одышка, сидит целый день во дворе?! Это ее встревожило. Однажды Мальчик, видимо загрузив, пожалел бабу Надю, назвав ее *бедной* — «бедная баба Надя», сказал он, и она не выдержала и рассердилась: «А чего она бедная? Дочь и зять в Симферополе, всю жизнь прожила, работая билетером... Тоже мне работа!...»

Надеясь, что Дети приедут и на следующий год, больше всего она боялась того, что поселятся они не у нее, найдут себе место получше. Как-то Мальчик пришел из магазина и

сказал, что наверху все перерыто, к верхним домам ведут горячую воду и канализацию... Она страшно перепугалась и прямо затряслась от досады. «Горячая вода? — пренебрежительно переспросила она, поспешно думая, что ей сказать. — А... где она еще, эта вода? В санаторий уже десять лет как провели горячую воду. Трубы есть, а воды нет!» — «Канализация», — вспомнила она и из последних сил напрягла свою слабую старую голову. — «Да и канализация в доме... такая вещь: забьется — и будут сидеть по уши...» Они весело засмеялись, и она, счастливая, засмеялась вместе с ними...

Она была потрясена, когда случайно обнаружила, что *послезавтра* они уезжают. Она была даже не потрясена, а просто убита, и только взятый ими адрес и клятвенное обещание написать и приехать на следующий год ненадолго ее оживили. Последние два дня она прожила в тоскливом ожидании отъезда — бесцельно ковыляла по дворику, поутру часами сидела за столом, смотрела на плетеную занавеску, за которой спали ее Дети, и только вечером накануне отъезда оживилась и бросилась на кухню. Впервые изменив своему обычаю, она возилась до глубокой темноты — пекла, жарила, варила, готовила Детям в дорогу...

Наступил последний день. Они сустились во дворе, радостно оживленные, увязывали вещи — какие-то коряги, камни, растения. Распахнутый настежь домик имел уже покинутый, неживой вид, плетеная занавеска откинута, на постелях лежали стопки одеял... Она сидела на длинной скамье, чтобы не мешать за столом на стуле, не принимая участия в дорожном переполохе (все, что могла, она уже сделала), и испытывала глубокую печаль и усталость. Она думала о том, что лето подошло к концу и неизвестно, сумеет ли еще повториться...

Когда Девочка весело сказала: «Ну, присядем на дорожку», — а Мальчик сел на высокий растопыренный рюкзак и вдруг загрустил, как ребенок, у нее задрожали глаза, она закашлялась, засморкалась и первая встала, слабо махнув рукой: «Ну, с Богом...» Мальчик залез под свой рюкзак, с трудом встал вместе с ним, подрагивая тонкими ногами, и зашагал со двора, почти не видимый за своей ношей.

Девочка пошла следом за ним, держа в одной руке яркую сумку, в которую они уложили приготовленную в дорогу еду, в другой — длинную извилистую корягу красного цвета, и перед тем, как начать спускаться вниз, остановилась на верхней ступеньке, прислонила корягу к перилам и помахала рукой, а у Мальчика не было сил остановиться. Старуха пошла вслед за ними, видя сквозь слезы, наполнившие глаза, только их неясные, расплывающиеся фигуры, — и долго стояла наверху, глядя вниз на пустую кипарисовую аллею, с которой они давно уже свернули к автобусу...

И они уехали.

12

Наутро она проснулась с первой неторопливой, обстоятельной, ласковой мыслью: приготовить Детям вареники, для которых стоял в холодильнике домашний, снятый с молока творог, — и вдруг вспомнила, что Детей уже нет, и осталась лежать неподвижно, не имея ни сил, ни желания подняться... Медленно и невкусно — не чувствуя вкуса — позавтракав, она помыла посуду, прошла вперед и назад по прохладному, остывшему за ночь, не тронутому еще солнцем двору, не зная, чем ей заняться, и села на табурет перед домиком. На дверях его висел тоскливый, как будто все перечеркивающий замок.

День был ужасающе длинен и пуст, и нечем было его заполнить. Ее старый медленный мозг, живущий воспоминаниями, не успел еще привыкнуть к тому, что Дети уехали, и все время ошибался: в санатории проснулось радио — значит, Детям скоро вставать; Марина отомкнула кухню — через полчаса Дети вернуться с моря; солнце попрощалось с Медведь-горой и двинулось к Роман-Кошу — Дети сейчас будут ужинать, а после ужина пойдут в кино, а она ляжет спать... Она оживала, вздрагивала сердцем, радостно готовая идти им навстречу, но Детей не было и, вспомнив об этом, она замирала неподвижно и сидела так пять, или десять минут — долго сидела, ничего не видя и не слыша и не думая ни о чем...

Постепенно, дня через два или три, жизнь ее вернулась в привычную колею — правильнее сказать, не вернулась, а успокоилась, упорядочилась по-новому. Назад, на старое место, ей дороги не было, потому что Дети уехали не навсегда, они оставили ей надежду, что вернуться. Домик она больше не стала сдавать, хотя через неделю к ней попросилась молодая пара из Львова — лет по тридцать, много старше ее Детей, оба загорелые, крепкие, улыбающиеся, довольные жизнью... Но в домик, в их домик, она не хотела сейчас никого поселять — она не могла сказать почему, но даже и мысли такой не допускала, а в свою комнату перебралась сама, потому что сентябрьские ночи были уже для нее холодными. Впрочем, пара из Львова без труда нашла себе место — осенью поселок был пуст...

Медленно, вместе с уснувшими кипарисами и остановившимся виноградом, она пережила зиму. Печаль ее ушла — напротив, она подолгу, с улыбкою вспоминала лето: Девочку, плакавшую над сгоревшими блинами, Мальчика, катившего газовый баллон, их обоих, спускавшихся к дому по обросшей самшитом тропинке... В глубине души она ждала их так, как не ждала ничего и никого и никогда на свете (кроме, наверное, возвращения Саши с войны, но это чувство она забыла), но старалась не думать и не мечтать об этом, потому что начинала волноваться и впервые боялась, что ей станет плохо и она не доживет до весны. Это было восемь лет назад, а уже тогда ей было семьдесят шесть лет...

Но как только наступила весна и пошли первые отдыхающие, она не выдержала и стала поглядывать на дорогу. Как-то в начале июня, когда она сидела и перебирала открытки в уже по-летнему жаркой комнате, дверь ее без стука открылась, она подняла глаза и с досадой увидела на пороге Марину, которая всегда приходила не вовремя.

— Тетя Поля! А вам письмо!

У нее задрожали руки, и Петровы открытки посыпались веером на пол.

— Кто... что... — забормотала она, растерявшись так, что язык ее плохо слушался; все на нее нахлынуло — и горячая

надежда, что это они, и страх, что это бумага из какого-нибудь собеса, и смущение перед Мариной, что она так радуется и волнуется этому письму, и желание скрыть от Марины свое волнение и радость...

— Что ты, Марина! Кто же может... письмо...

— Наверное, ваши внуки! — ехидно, но радостно сказала Марина, не отдавая конверт и не подходя, а нахально подбоченясь в дверях и читая адрес. — Москва... Соколовым!

Она торопливо встала, чуть не уронив с носа очки.

— Ну давай... давай его сюда...

Она не помнила, да и не знала их фамилии. Марина отдала письмо, но уходить не собиралась.

— А в магазин черешню привезли. Очередь до регистратуры! Вы пойдете?

— А?.. Не знаю. Нет, не пойду, наверное... «Ну иди же уже, иди... Вертихвостка...»

— Ну ладно, — насмешливо улыбнулась Марина, как будто понимая и дразня ее нетерпение. — Я пошла.

Она осторожно, волнующимися руками отрезала кромку конверта — узкую полоску бумаги, боясь задеть вложенное письмо.

«Дорогая Пелагея Валерьевна!»

Обычно она читала медленно, потому что плохо видела и вообще мало в своей жизни читала, и сейчас ей даже хотелось неторопливо прочесть это письмо, переживая каждое слово, — но она не могла, она спешила так быстро, как только могла, а ей казалось, что очень медленно... Она читала, выхватывая отдельные строки и коротко останавливаясь на отдельных словах: *дождь... экзамены... олимпийские игры...* — и лишь в самом конце остановилась, как вкопанная, увидев, обняв, ухватившись что было сил за аккуратное, стройное, украшенное длинным росчерком над буквою «т» слово «...приехать...» Подождав немного, она осторожно повела глазами в начало строки и прочла шепотом вслух: «...хотим к Вам приехать...»

Они хотели приехать в начале августа.

Она тихо и слабо засмеялась с мокрыми глазами.

С тех пор они приезжали каждый год, и у нее не было уже тоскливых расставаний, а только легкая печаль, что они уезжают. Ее терпеливой старости хватало воспоминаний, чтобы спокойно прожить зиму в ожидании следующего года. С годами они изменились: Мальчик поправился и стал шире в плечах, превратился в настоящего мужчину и уже не был так робок и тих, а Девочка наоборот похудела. Это ее не портило, но беспокоило старуху: красивая здоровая женщина, по малороссийским понятиям, должна быть пышной — кровь с молоком... может, она больна?.. Когда они окончили институт, Мальчик совсем заважничал: держался хозяином; покрикивал, впрочем ласково, на жену, командовал, а она мудро поддакивала ему и подчинялась, если только не городил он совершенную чушь, — но и в этом случае поддакивала и делала все по-своему.

Каждый год, принимая от них сложенную вдвое бумажку с деньгами, она испытывала неприятное, неловкое, угнетающее ее чувство. Ей казалось бессмысленным и несправедливым брать у них деньги за то, что они поддерживают и составляют ее жизнь; она сама заплатила бы сколько угодно тому, в чьей власти было бы каждый год и всю ее оставшуюся жизнь привозить Детей в ее маленький, без них сиротою стоявший домик. Она с удовольствием не брала бы с них денег вообще, но это было бы странно, и она даже стеснялась им это предложить, боясь, что самолюбивые Дети не просто откажутся, но еще чего доброго и обидятся на нее... В последние годы она по-настоящему исстрадалась из-за этих несчастных ста двадцати рублей, случайно узнав, что Дети ее инженеры, а бедность инженеров была известна даже в их бесконечно далекой от инженеров глуши. Единственное, что смогла она сделать для них — и для себя, — было то, что когда в прошлом году цены поднялись и место стало стоить два пятьдесят, она рассчиталась с Детями по два рубля, как и шесть лет подряд, хотя все лето сдавала домик и комнату за два пятьдесят, — и про себя, что бы ни случилось, решила никогда цену Детям не поднимать... В этом году койка стоила уже

три рубля — при Горбачеве происходило что-то странное, цены росли как в революцию, и она, посчитав на бумаге, тихо радовалась: Дети сэкономят у нее пятьдесят, а если приедут на полный месяц, то и все шестьдесят рублей... Это было очень приятно, и она с удовольствием пересчитала еще несколько раз.

Ей шел уже девятый десяток, но время, казалось ей, счастливо остановилось. Остановка эта была не в том, что она перестала ощущать свою физическую старость или что прекратился, хотя бы замедлился неуклонный процесс ее телесного старения. Нет, он остался прежним. Она чувствовала себя все слабее, все немощнее — не с каждым днем и не с каждым месяцем, потому что не знала она тех неожиданных, беспощадных болезней, которые разрушают тело стремительно и в старости навсегда. Но она чувствовала свое старение с каждым годом — даже не чувствовала, а скорее вспоминала, запыхавшись с мусорным ведром, что в это же время в прошлом году, выбросив мусор, она отдыхала, сидя на скамье, и шла в магазин, а сейчас скамья уже не восстанавливала ее силы, наоборот, казалось, сама уже требовала каких-то сил — и перед магазином ей уже нужно было лечь на кровать и отдохнуть полчаса. Но то ощущение близкого конца своей жизни, которое появилось у нее после смерти брата и не отпускало уже до самого появления — пришествия — Детей, — ощущение даже не просто близкой смерти, ухода из жизни, а того, что с ее смертью навсегда оборвется, прекратится что-то цельное, важное, очень долгое, что шло испокон веков и споткнулось на ней, чтобы никогда больше не возродиться, — это ощущение исчезло. И вместе с его исчезновением, удивляя и смущая ее, к ней пришло странное, не вполне понятное сначала, зачем это ей и почему она думает об этом, но с каждым годом становившееся все более ясным и сейчас уже окрепнувшее желание: желание, чтобы у Мальчика и Девочки, у ее Детей, родился ребенок. И в последние два года это превратилось в ее последнее стремление, в высшую цель, достигнув которой, казалось ей, она достигнет всего, что могла ей дать ее долгая и так долго бесполезная и безрадостная жизнь, и она сможет уйти из нее не только

спокойно, не только без печального и усталого чувства, но с надеждой и даже с удовлетворением...

Часто, осознавая бессмысленность своих старческих грез и все равно с удовольствием, она обстоятельно и неторопливо подыскивала имя будущему ребенку. Она давно уже его выбрала, но всякий раз, сидя на скамье под черным от старости кипарисом, она напрягала свою старую память и начинала играть в эту никогда не надоедавшую ей игру. В первую голову она вспоминала имена неблагозвучные или не употреблявшиеся ныне, например, Устин или Дормидонт; потом — имена, которые в жизни ее носили несчастные или дурные люди, такие, как Андрей, кадровик радиаторного завода, или пьянчуга Иван, — и постепенно, сужая круг, притворно задерживаясь на красивых, звучных, принадлежавших хорошим и счастливым людям именах, подходила все ближе и ближе к тому единственному, при звуке которого светлой радостью переполнялась ее душа... Она хотела, чтобы мальчика назвали Сашей. И когда, расслабившись и позволив своей мечте унести себя в необозримую даль, она представляла двухлетнего карапуза, топающего толстыми ножками у нее во дворе, которого Девочка — мать — называет Сашей и она тоже сможет так назвать, — у нее как будто мягко обрывалось что-то внутри от нежности и печали и перехватывало дыхание, и она пугалась и усилием воли возвращала себя обратно в жизнь. О женском имени она думала меньше; половина маленьких девочек в Кучук-Ламбате носили, видимо, новое, но сразу понравившееся ей имя Кристина... по крайней мере, она думала, что оно пишется именно так. Что ж, пусть будет Кристина... Она больше хотела мальчика.

Каждый год, встречая Девочку, она надевала очки и, все равно шурясь слабеющими глазами, смотрела на ее живот. Но Девочка только худела с каждым годом, и старуха вздыхала с разочарованием. Ее даже не смущала жертва, которую она должна была принести этому неизвестному, не существующему еще маленькому человеку, — разлука с Мальчиком и Девочкой на год или даже на два, во время которых Девочка будет носить и рожать и кормить грудью

ребенка. Эту разлуку она, по старости своей, могла и не пережить. Но она согласна была довольствоваться сознанием того, что Он есть и через два или три года придет в уже оставленный ею старый Кучук-Ламбат, и Мальчик и Девочка расскажут Ему о старухе, прожившей с ними свои последние восемь лет, которые и были ее жизнью за полвека... А потом Он вырастет и уже сам придет сюда, таким же Мальчиком и с такой же Девочкой, какими были ее Дети, и все повторится сначала, и ничто не закончится навсегда, и она будет жить... Она думала об этом часто и подолгу, сидя в тени старого кипариса, терпеливо ожидая минуту, когда на парк опустится ранняя крымская ночь и она пойдет спать — ляжет на свою широкую, по-старинному высокую кровать с облупившимися никелированными шарами и будет медленно засыпать в окружении своих медленных, теплых, радостных мыслей... Впрочем, она надеялась дожить и прикоснуться к этому ребенку — своему продолжению, своей надежде. Она верила, что Бог не откажет ей в этой последней радости.

14

...Она надела очки и подняла к глазам календарь — красивый календарь с синей Медведь-горой, незаметно переходящей в синее море, и надписью «Крым» красными, как будто от руки написанными буквами. Календарь подарил Иван — он перетаскивал мебель в административном корпусе, и ему дали целую стопку. Сегодня была среда, двенадцатый день августа, память Силы, Андроника и Иоанна — об этом сказала ей Лида, всезнающая шестидесятилетняя женщина, которая месяц назад заняла комнату умершей в эту весну бабы Нади. Среда, двенадцатое августа, — она нашла этот день искривленным коричневым пальцем и порадовалась, как много еще дней остается до начала осени. Раньше Мальчик и Девочка всегда уезжали в самом начале сентября, чтобы не пропускать занятия, и потому приближение сентября ее беспокоило; теперь у них был отпуск и некуда было спешить. Но погода в последние годы испортилась, люди говорили — из-за ракет, и она

боялась, что Мальчик и Девочка в сентябре могут замерзнуть. Она не знала точно, когда они приедут, — обычно они приезжали в начале августа, — но уже с пятого числа, проводив последних своих отдыхающих, держала домик свободным, пуская иногда на ночь или на две людей, которым негде было переночевать, — без белья, конечно. В этом году она не получила привычного письма, а только поздравление с Новым годом, но это ее не беспокоило: без предупреждения они приезжали уже два или три раза. Один раз письмо не дошло, в другой они забыли написать: Мальчик был очень занят, писал какую-то диссертацию, она не знала, что это такое, но, зная труд, который затрачивала сама, чтобы придумать и написать им короткую открытку, представляла чем-то страшным и отнимающим все его силы... Они должны были приехать со дня на день, и она боялась только, что не долежат персики, которые позавчера привезли в магазин и дешево торговали по прописке местным жителям и работникам санатория.

В этом году Иван сделал в домике ремонт: наклеил новые голубые обои, покрасил снаружи и в обращенное к морю окошко вставил новое стекло вместо старого, треснувшего — и взял недорого. С печалью она заметила, что домик ее обветшал: покособилась дверь, набухшая в прошлую снежную зиму, расшаталась стена — в год сорокалетия Победы вели сточную трубу и глубокая трещина ушла со двора в фундамент; деревянный решетчатый навес местами сгнил, а местами прохудилась полиэтиленовая пленка и, сколько ни штопал ее Иван брезентовыми кусками, плакала во время дождя...

Вообще их дом и их двор, как и несколько других домов и дворов, стоявших низко и близко к морю, казались брошенными на произвол судьбы. Наверху, террасою выше, почти вровень с корпусами санатория, два года назад пустили-таки горячую воду и газ и вдоль залитой асфальтом дорожки поставили яркие фонари. У них же и с холодной водой случались перебои, и она должна была держать про запас полное ведро, которое долго и тяжело наполняла литровой банкой; газ был по-прежнему в баллоне, ночью вокруг стояла кромешная тьма, и отдыхающие возвраща-

лись из кино со спичками или с фонариками... Больше того, наверху провели канализацию и все поставили в кабинках унитазы с водяными бачками, а у них по-прежнему стоял уже покосившийся выгребной сарайчик, хорошо еще с деревянным, Иваном принесенным откуда-то и обитым ею ситцем и ватой (для Детей) стульчаком. Начинать удобнее было сверху, объясняли санаторные власти и обещали через год или два спуститься и к морю. Быть может, это было и правдой, но наверху жили в основном семьи молодые, работающие, нужные санаторию: Сергей Иванович, начальник гаража, толстая Дуся, продавщица, чумовой Петька-массовик, Григорий, новый механик с насосной станции... всё энергичные, крепкие люди, иные с машинами, с родственниками в Алуште и Симферополе. А внизу доживали одинокие старухи и пьяницы вроде Ваньки или Степана — бывшего элетрика, когда-то сколотившего ей навес и протянувшего мимо счетчика электропроводку, который без оставившей его Зойки быстро и сильно сдал...

Впрочем, все это было ей безразлично.

Она посмотрела на часы, звонко тикающие на гардеробе: через полчаса открывался магазин, а у нее не было хлеба. Хлеба она всегда брала много, две или даже три буханки, если не тяжело было нести, и оттого ей надолго хватало. Хлеб кончился, и она опять подумала о Мальчике с Девочкой, которые ходили в магазин... Впрочем, в последние годы и другие жильцы, приезжавшие в первые месяцы, смущались ее старостью и часто приносили продукты.

Она медленно собралась: оправила и затянула поясом халат, посмотрела в зеркало на свое старое, сморщенное, с неожиданно выросшими большими ушами лицо, взяла мягкую просторную сумку и палку, попробовала палкою пол — постучала о половицу... Под огромным, в два обхвата седым кипарисом в своем кресле сидел Иван, у которого несколько дней назад кончились вперед взятые деньги, — маленький, большеголовый, седой, с огромными печальными глазами... Еще недавно был мальчишкой.

— В магазин, тетя Поля?

— Пойду...

По тропинке, мимо туалета, к узкой лестнице наверх идти было тяжело: инжир, наткнувшись на скалу, выпустил корни, под ногами пересыпались мелкие камушки, на половине тропы, на высоте глаз, стволом нависал грецкий орех, согнувшийся и так и не поднявший себя после прошлогоднего снега. Наклонившись, она прошла под орехом и стала медленно подниматься по высоким ступенькам. Лестница, огибая крупные камни и кипарисы, шла извилисто и круто — кипарисы и камни были старше лестницы. Она поднималась, останавливаясь на частых площадках передохнуть, прячась в тень, избегая солнца. «Почему же она не рождает? — думала старуха, прислушиваясь к своему сердцу, которое стучало слабо и ровно, радуясь короткому отдыху. — Она такая худая... хотя нет, не плоская. Может, больна? Или это... диссертация?..»

Она поднялась до первого корпуса, некрасивого белого здания, похожего на длинный улей, перед которым блестел в бетонной коробке пруд с журчавшей из ржавой трубы водою. Она подумала, что из этой трубы постоянно течет вода, а у них выключают с десяти утра и до пяти вечера... Теперь надо было подняться на следующий уровень — если смотреть на корпус, на высоту третьего этажа. Дальше уже подъема не будет: по сосновой аллее, засаженной внизу плотными кустами золотого дерева, мимо старого замка, увитого до серых башен крученым панычом, мимо автобусной остановки дорога к магазину шла уже даже немного вниз.

Она ступила в тень первой сосны, поставила прочно палку и остановилась, переводя дыхание.

Высоко наверху ветер постукивал шишками.

...Мальчик и Девочка вышли из-за поворота.

15

Она узнала их без очков, хотя без них видела плохо, и на всякий случай — сильно задрожавшей рукой — поспешно вытащила и, чуть не уронив, надела очки, несколько раз промахнувшись мимо ушей разболтанными дужками... Да,

это были ее Дети, как будто не уезжавшие от нее, — они шли ей навстречу от замка, в любимых своих джинсах, Мальчик в майке с непонятной надписью на уже широкой, мужской груди, Девочка... Девочка была не в джинсах, ее джинсы по многолетней привычке ей померещились, Девочка была в свободном сарафане, длинном, ниже колен, — и даже в свободном сарафане у нее буторком выступал...

Живот!

Она стояла, сил не имея пошевелиться, погруженная в море радости и тепла, улыбаясь сухими губами. Она чувствовала... она знала это. Бог не мог поступить иначе. Они шли быстро, видимо, не замечая ее. Она вздохнула радостно и глубоко и заковыляла им навстречу. Ей казалось, что она летит.

— Баба Поля!..

Она не выдержала и сморщила глаза и нос, чтобы стряхнуть слабые слезы.

— Лена... Игоречек!

Они встретились почти вплотную; не в силах сдержать себя, она осторожно погладила Девочку по белой руке своей сухой жилистой рукою. Она любила их обоих, хотя втайне всегда больше любила и жалела Мальчика, но сейчас Мальчик отступил на второе место.

— Здравствуйте... Здравствуйте... Приехали...

— Здравствуйте, Пелагея Валерьевна, — сказал Мальчик мужским хриловатым голосом.

Она оторвалась от Девочки и обхватила пальцами его широкое сильное запястье.

— Ну, как вы живете? — спросила она, еще не осмеливаясь и не желая здесь, на ходу, впопыхах, говорить о главном. — Как твоя... диссертация?

— Осенью защита... Как вы? Как ваше здоровье?

— Слава Богу... В феврале прихватило поясницу, вылезлась травмами. Ноги плохо ходят... И то сказать — семьдесят четвертый год!

Она сказала это с тихой гордостью, она действительно была горда собой — что дожила, дождалась и, Бог даст, проживет еще.

— Баба Надя померла, — вдруг вспомнила она, и ей стало немного стыдно. — Девятого числа было сорок дней. Посидели...

— Жалко, — сказала Девочка.

— Девяносто один год... А я ремонт сделала! Иван делал... Глаз с него не спускала, он ведь известно, что за работник: отвернешься — уже пьян. И откуда только берет, сейчас ведь борются... Но ничего, хорошо получилось. Посмотрите... В этом году с продуктами плохо: масло редко бывает, овощи только на рынке, и дорого, мяса совсем нема. Но вы мясо с собой везете, тушенку... А где же ваши вещи?

Только сейчас она заметила, что с ними нет вещей, и удивилась.

— Где же вы вещи оставили?

Они молчали, а старуха смотрела на них, радостно улыбаясь в запавшие коричневые щеки.

— Мы... — тихо сказала Девочка и смолкла. — Игорь!

Мальчик вытащил сигарету и закурил, закрываясь ладонями. Она смотрела на его загорелую небритую щеку — восемь лет назад щеки у него не зарастали, иногда он что-то скреб на верхней губе и подбородке. Мужчина.

— Я иду за хлебом, хлеб кончился. Вы меня не ждите, что вам за старухой ковылять... Вот... — она порылась в кармане, достала общую связку ключей, отделила их ключ, маленький, темный, похожий на крест, и протянула Девочке. — Берите вещи и идите домой. Я скоро приду.

— Игорь!..

Девочка смотрела на ключ, как испуганный ребенок. Мальчик далеко отшвырнул чуть раскуренную сигарету. Ее поднятая рука устала держать связку ключей и их ключ отдельно, но она не опускала руку, ожидая, когда Девочка его возьмет.

— Вы знаете, Пелагея Валерьевна... баба Поля! — сказал Мальчик незнакомым голосом, бодро и весело. — Мы в этом году... решили для разнообразия сменить обстановку. Да и мы, наверное, вам надоели...

— Что? — спросила она, не понимая.

Мальчик разом, вдруг, растерялся, густо покраснел и придвинулся к Девочке. Девочка смотрела в сторону и вниз и теребила кожистый лист аукубы.

— Мы... у нас было так много вещей... жена вот... — Мальчик повел рукой, словно желая обнять Девочку, но остановился на полпути и сунул руку в карман.

— Мы... — тонко сказала Девочка. — Мы остановились немного выше вас... в другом месте. Это совсем близко...

Старуха смотрела на них, растерянно моргая, все равно не понимая еще до конца, что они говорят, но сердцем уже чувствуя что-то страшное.

— Где вы... что вы остановились?..

— На верхней террасе, близко от вас, — сказал Мальчик, вытирая лоб, и закурил новую сигарету.

— Мы зайдем...

Вдруг она поняла. Она поняла, что произошло, но не в силах была понять — как могло произойти такое...

— А-а...

Она медленно повернула голову и посмотрела на белый корпус, слеplенный из сотен балкончиков. Все вокруг было какое-то неживое.

— У кого же вы... поселились?

— У Евдокии Григорьевны, — тихо сказала Девочка и оторвала лист.

— Тетя Дуся, — сказал Мальчик.

Дуся Панченко... продавщица в утесовском магазине, зять водит автобус. Да, они с верхней террасы... горячая вода, канализация, в прошлом году Василий поставил душ.

— А давно вы приехали? — спросила она машинально, чувствуя страшную усталость.

— Нет, — сказала Девочка.

— Второго числа, — одновременно сказал Мальчик и осекся.

Старуха стояла молча и смотрела на девочкин живот. Солнце вышло из-за сосны и грело ей голову. В доме за ее спиной плакал ребенок.

— Ну... я пойду, — сказала она — ей показалось, внятно и громко, на самом деле так тихо, что они едва слышали. И с трудом сняла очки. — Я пойду... Отдыхайте...

— Мы к вам зайдем, — тихо сказала Девочка. — Завтра...

— Да-да, — сказал Мальчик.

— Заходите, — сказала она и, осторожно повернувшись, медленно пошла вниз, домой, в другую сторону от магазина. Она не чувствовала своего тела; у нее было странное ощущение, что она идет за палкой, которая идет сама, осторожно и неуверенно нащупывая дорогу. «Хлеб, — вспомнила она уже внизу, перед своим поворотом. — Ах да, хлеб... Надо купить хлеба».

— Быстро ты, тетя Поля, — сказал Иван, куривший беломорину.

— Да...

Она вошла в комнату и легла на кровать, не выпуская палки из рук. Сын весело смотрел на нее с потемневшей фотографии, рядом с которой возвышалась стопка открыток, выросшая почти вдвое вместе с теми открытками, которые ей присылали из Москвы. Она долго лежала неподвижно, глядя на давно не белённый потолок, как в темноту. Потом медленно закрыла глаза.

Такая долгая жизнь — и так быстро кончилась.

Наверное, Бог не мог поступить иначе.

1991—1992

ЧОМГУ ПОЙМАТЬ НЕЛЬЗЯ!

Опыт

Я слышал гул колоколов,
грачиный грай, базарный гомон
испепеленных городов;
мой опыт, как беда, огромен,
и как столетие, суров.

Напрасно стонут провода
и страх за пазухой гнездится —
мой опыт больше никогда
и никому не пригодится.

Волчья упряжь

За твоим окном летали волки,
замирали в воздухе снежки,
утопали руки в жесткой холке
вожака, звенели постромки.

Этот сон казнили втихомолку
не по-волчьи и не по-людски,
вскидывались от плеча двустволки
и чуть слышно клацали курки.

**Борис
ВИКТОРОВ**

— родился в 1947 году в г. Уфе. Окончил Высшие литературные курсы. Подборки стихов печатались в журналах «Дружба народов», «Юность», «Сельская молодежь», в альманахах «День поэзии», «Поэзия», «Студия» (Берлин). Автор сборника стихов «Каркас» (1979). Живет в Москве.

(Осыпаясь, замели иголки
след полозьев около реки).

Лишь снежков колючие зрачки
оставались в небе, как осколки...
И кольцо мерцало у щеки.

Ты вспомнила...

Ты вспомнила, как выла за окном
метель ночная, окружая дом,
как хлопала калитка на ветру
и печка остывала поутру.

А я спешил, спешил на голоса
встречать друзей, — светлели небеса.
Огонь из допотопной керосинки
перебегал в зрачки охотничьего пса
и, тычась в руки, прыгал у тропинки!

Хо и Хи

«Былых тысячелетий нет
с тех пор, как головы отрублены
веселых пьяниц Хо и Хи».

В. Хлебников

Хлебников прав — так сказано в требниках, — вепрь оголит
лицо,
запричитает горлица, бык преклонит колена, выкипит
озерцо,
холод сойдет на хижины Хо и Хи.

Черные кроны («было!»), просьбы «не тронь!» и тонны
нейтронных бомб,
окна крест-накрест («было!»), не выйти из катакомб
жертвам Иерихона, женщинам Хиросимы, наложницам
Хо и Хи,

все повторится, и эхо веками будет блуждать впотьмах,
школьники ханаанские помнят эпоху Ах,
благодаря газетным вырезкам Чингис-хана с портретами
Хо и Хи,

выкупят Альдо Моро, воскреснет Чаплин, но безразличный
Хам
отрубят головы аполитичным пьяницам-близнецам —
так будет, увы, повелено мудрейшим из императоров
в династии Хо и Хи...

Хлебников прав: отрубят головы Хо и Хи
за все бредовые их грехи,
за все юродивые стихи
отрубят головы Хо и Хи,

качнутся жесткие хохолки,
падут, покатаются в лопухи
глаз остывающие угольки —
два иероглифа, вечные Хо и Хи...

А в небесах, как надолбы, светятся неспроста
инициалы века, светятся два креста,
звездный погост, мессия под именем Хо и Хи,

и мастерит для избранных свой ковчег
паяц хохочущий, трезвый XX-й век,
верящий во Второе пришествие Хо и Хи.

(И, может, в будущем Хо и Хи перестанут пить,
когда им отрубят головы и объяснят, как жить, —
так сказано в откровениях Хо и Хи).

1979

Чомгу поймать нельзя!

Чомга на 30 секунд терялась из поля зрения,
каждый раз выныривала в ином
месте, не там, где ждали ее возвращения
дети, играющие сачком.

Казалось, чомга затеяла с мирозданием
прятки, а люди — игру «замри!»
и всматривались в волну, затаив дыхание...
А я заключил пари.

Я сделал ставку бессмысленную из чувства
противоречия — и еще
сильнее ждал возвращения чомги, ее искусство
меня восхищало. Я ставил против нее.

Я выложил трешку приезжему из Багдади.
Земляк Маяковского спорил со мной не зря.
И на прощанье молвил, почти не глядя:
«Чомгу поймать нельзя!»

Нашествие медуз

Накрылся отпуск долгожданный,
пикируют аэропланы,
отсутствует козырный туз,
грядет нашествие медуз.

Кто нечисть вызволил из плена?
Остановись, кругом измена,
месть полоумного хрыча,
плевок, морская саранча.

Повсюду ведра с кукурузой,
а это — лакомство Медузы
Горгоны, млеющей в тоске
вокруг матрацев на песке.

Глядит в упор из преисподней,
о, ненасытная, сегодня
любой початок — твой, бери!
Что зенки вылупила? Жри.

Твои слова: «Неисполнимых
желаний нет, как денег мнимых,
все гениальное старо,
как запотевшее ведро!»

Но не понять тебе сиротства
людей, бегущих первородства;
нам бедность душу извела...
Соли! и лопай из ведра.

Медузы движутся лавиной,
покрыли жгучей клейковиной
причал, деревья и шоссе,
ползут по взлетной полосе,

не остановишь из обреза,
и расползается железо-
бетонный занавес желе-
образной массой по земле,

распались дружеские узы
(и в небе авиамедузы
штурмуют авиасалон.

— Аллаверды!
— Привет!
— Шолом!)

Спиртовым пламенем объятый,
Персей саперною лопатой
в толпе прокладывает путь...
— Никто не выживет...
— И пусть!

С повинной

1

«Я не вернусь!..» — Прошло немало лет,
взорвали ад, осталась арматура,
годится, чтобы выгнуть драндулет —
и когти рвать! А я стою понуро,

лгу сторожу, твержу «не виноват»,
лгу завучу, и в шуме законном
мне слышится: промчался самокат
дворами, переулками, по склонам.

Ого, как полегчал металлолом
за тридцать лет! — окраиной руинной
я не вернусь! — и вот, почти бегом,
с повинной...

2

Мимо согорных, предзакатных
верб, вдоль выморочной реки,
на подшипниках самокатных —
мимо лозунгов беспощадных
и тоски,

мимо старых бараков, мимо
старой школы, где Аристарх
Соловейч неутомимый
класс обходит в неумолимо-
гуталиновых сапогах...

Возраст

Синева, снегири
над вселенской арбатской толпою, и женщина при
человеке с нечетным количеством крыл — 33!

О, как долго тебя я вынашивал, ждал, 33,
как боялся тебя, 33,
как лелеял тебя, 33,
а сегодня тулупчик распахнут, и только внутри
пляшет камушек где-то у горла, мое 33!

Не кори,
мимо сердца прошли фонари.
Повтори:
— У него за спиной тридцать три!
Рубикон-33!

Председатель, налей до краев, говори,
Мери, дверь на балкон отвори,
пусть шаманит метель под окном, как колядка,
и поделится на два мои 33 —
без остатка!

1980

* * *

В руинах обескровленных церквей
холмы над Волгой, рай испепеленный,
весной светло-зеленый,
летающий в грозу, что муравей
влюбленный,

оставшийся безвестным,
как Мандельштам,
идуший по холмам
небесным;

чурающийся страхов окаянных,
советчиков и ямы долговой, —
он прикипит тяжелой головой
к траве святого Иоанна...

Но в сани человеческом, в доме
родительском, в доспехах муравьиных —
кто оправдает, воскресит невинных? —
Береза-Троеручица ему
заступница на взорванных руинах.

1995

Юрий КАГРАМАНОВ

МЕРА ПЕССИМИЗМА

Давно ли нам кружила головы эйфория освобождения от коммунистического ига, открывшая перед страной неожиданные горизонты? Давно ли розовели мечты о «возрождении» любезного отечества, о «свободной» или «великой» (кто на что напирал) России, оставившей позади себя череду «великих потрясений»? Сегодня мы, как говорится, имеем то, что имеем. Нет, конечно, «крот истории» своё дело делает: какие-то конструктивные процессы, несмотря ни на что, набирают силу. Но сколь это далеко от вчерашних надежд!

«Мы ждем седого утра и безрадостного дня», — писал Федотов, провидя исторический момент, когда в России кончится время коммунизма¹. Вот оно, седое утро, седеет, кажется, некуда!

И то сказать, даже при самом сильном головокружении трезвый внутренний голос нашептывал, что возрождения (или, скорее, преобразования), заслуживающего своего имени, можно ждать лет этак через пятьдесят, едва ли раньше. В нынешних же обстоятельствах, значительно более располагающих к трезвости, закрадываются сомнения, что и через пятьдесят лет «будет праздник на нашей улице». Основания для сомнений дают, во-первых, некоторые исторические аналогии и, во-вторых, мировой «контекст».

**Юрий
КАГРАМАНОВ**

— родился в 1934 году в г. Баку. Окончил исторический факультет МГУ. Автор книг и статей по западной и русской культуре и философии, публиковавшихся в журналах «Вопросы философии», «Иностранная литература», «Новый мир» и др. Постоянный автор «Континента». Живет в Москве.

¹ Федотов Г.П. Россия и свобода. Нью-Йорк, 1981, с. 113.

Станешь бесплодной и стоптанной нивой...
 Ибо любима любовью ревнивой —
 Так говорю тебе Я — твой Господь!

М. Волошин. «Видение Иезекииля»

Недавно меня упрекнули в том, что я слишком увлекаюсь историческим аналогиями. Но ведь аналогии — едва ли не единственный способ проникнуть «во тьму времён» на том уровне истории, где всё определяют причинно-следственные связи. Незаменимым «средством для понимания живых форм» назвал аналогию О. Шпенглер; и вся его знаменитая книга целиком построена на аналогиях. А для понимания российской истории аналогия имеет особенное значение: пора признать, что при всем ее своеобразии, Россия в главном следовала и следует путем Европы, обычно отставая от нее на фазу-другую.

Сходство Русской революции с Французской («великой») революцией и даже определенная зависимость от нее лежат на поверхности; здесь все слишком известно, чтобы об этом стоило говорить. Основные вехи последовавшего за нею двадцатилетия, Термидор и Восемнадцатое брюмера, также имели у нас несомненные, хотя и сильно завуалированные, эквиваленты. Естественно предположить, что и д о л г о в р е м е н н ы е последствия Французской революции могут кое-чему нас научить относительно нашего собственного будущего.

Ухватимся за эту тонкую ниточку, не забывая, конечно, о разнице времен и географических зон.

Без малого два столетия французы «торговали-веселились» под звуки действительно замечательной Марсельезы, полагая, что они могут гордиться своей «великой» революцией, как будто проложившей путь возвышенным идеалам «свободы, равенства и братства». Лишь в годы, предшествовавшие ее двухсотлетию, в общественном сознании произошли серьезные перемены на сей счет, отразившиеся в работах большой группы историков (часто именуемых «новыми историками»). Мне уже доводилось писать об этом (в частности, в «Новом мире», №6 за 1995 год), так что скажу коротко: «новые историки» пришли к заключению, что гордиться можно и должно Декларацией прав человека и гражданина (принятой 26 августа 1789 года), а отнюдь не штурмом Бастилии, положившим начало кровопролитию, из

которого революция уже не вылезала; попытка форсировать процесс политической либерализации общества привела, в конечном счете, к обратным результатам — к диктатуре, а затем и к реставрации старой монархии, после чего многое пришлось начинать сызнова.

Замечу, что оценка «новыми историками» Французской революции не столь уж нова: еще в прошлом веке к ней был близок проницательный Токвиль. Я уже не говорю об англо-американской исторической науке, где всегда преобладала точка зрения, что «великая» революция, которую так гордятся французы, на самом деле была их великой неудачей. Заслуга «новых историков» состоит лишь в том, что их оценка глубже фундирована.

Теперь о долговременных последствиях революции. На первое место здесь следует поставить перемены в национальной психологии — все остальное зависит от них. После всех «великих потрясений» установка на сотрудничество, еще преобладавшая в век Просвещения (она легко просматривается даже в «Женитьбе Фигаро»!), сменилась в общественном сознании установкой на борьбу; это столько же касается отдельных индивидов, сколько общественных групп и целых классов. Удары, нанесенные Церкви (в продолжение целого десятилетия отправление религиозных обрядов было полностью запрещено, церковные здания и монастыри разгромлены, а служители культа в значительной части уничтожены физически), имели следствием прогрессирующую дехристианизацию; между 1840 и 1880 годами в образованных кругах укрепляется мысль, что религия вообще скоро исчезнет¹. Чем дальше, тем больше французы становятся нацией расчетливых эгоистов и гедонистов, каждый из которых борется за «право на кусок» (как выразился Версилье у Достоевского). Иностранцам, посещающим Францию, бросается в глаза именно цинизм французов, хотя и смягчаемый их природной веселостью и веками наработанным изяществом. В. Вейде в 20-х годах обратил внимание на то, что слова *candide* (простосердечный) и *ingenu* (простодушный) французы — в отличие от их соседей по другую сторону Ла-Манша — употребляют, как правило, или с презрительным, или с ироническим оттенком. Деталь из числа тех, что многое проясняют.

Неуклонное ослабление национального организма, раздираемого на части изнутри, не могло не сказаться на внешних успехах.

¹ Флобер писал, что Нотр-Дам и Сакре-Кёр так же принадлежат прошлому, как античные храмы Изиды и Беллоны.

В 1789 году Франция была быстроразвивающейся в экономическом отношении страной, наступавшей на пятки Англии; в следующем столетии о соперничестве с Англией уже не могло быть и речи. Политическая история Франции и послереволюционный период — это история прогрессирующего дробления интересов, что вело к политической неустойчивости и к известной «министерской чехарде»; дробление интересов отчасти компенсировала национальная идея, но она же зато и тормозила демократический процесс.

Особенно красноречиво демографическое отставание Франции, что явилось результатом, прежде всего, растущего стремления «жить настоящим». В 1789 году на территории Франции проживало 20% населения Европы (включая Россию), в середине XX века — лишь около 8%. В 1789-м во Франции было больше населения, чем в соседних Англии и Италии вместе взятых; в середине XX века каждая из этих стран превосходила по данному показателю Францию.

Последний критерий могущества нации — военный. На протяжении большей части XIX века французы пользовались репутацией «первых солдат Европы» (чему нисколько не помешало падение Наполеона I). Поражение Франции в войне с Пруссией в 1870 году явилось полной неожиданностью для всех, даже для самих немцев (см. «Заметки о войне» Ф. Энгельса). Это был первый признак, что с «куражом» у французов что-то разлагается. В 1914-м они еще сумели удержать немцев на Марне, а через четыре года и одолеть их, правда, с помощью союзников. Но это было последнее великое усилие, на какое показала себя способной французская нация. Прошло двадцать с небольшим лет, и Франция рухнула на колени под первыми же ударами немецких бронетанковых дивизий. В 1945-м великие державы лишь из вежливости пригласили ее (точнее, иногда приглашали) за свой стол. Фактически Франция опустилась до положения второстепенной, даже третьестепенной державы — спустя полтора века после «великой» революции.

Далее предоставляю слово крупнейшему современному историку Франции Пьеру Шоню: «Хуже этих открытых ран — порча души, надлом духа, позволяющий находить в этих ужасах (революции — Ю.К.) и праздновать как победу то, что на самом деле было поражением... Мы, столь дорожившие христианским преданием, столь горячо молившиеся за тех, кто жил прежде нас и чей прах обогащает нашу землю в ожидании, когда вострубит ангел, вдруг превратились в нацию, лишенную памяти, стыдя-

щуюся своего долгого и славного христианского прошлого»¹. Чтобы кто-то не подумал, что автор приведенных строк — ретроград в стиле, скажем, виконта де Бональда, уточню, что Шоню, напротив, заядлый прогрессист; только единственно плодотворным путем он признает эволюционный, английский путь.

Лишь за последние десятилетия Франция несколько оправилась; этому способствовал процесс объединения Европы и сглаживания былых различий между европейскими странами. Французская экономика демонстрирует устойчивый рост; демографическая ситуация в стране — намного лучше, чем в большинстве других европейских стран.

Добавим к этому политическую стабильность с 1957 года, то есть с прихода к власти де Голля и возникновения Пятой республики. Франция проявила некоторую *в и т а л ь н о с т ь* — как и Европа в целом. Витальность — это жизнестойкость, даже, если угодно, жизнелюбие, которые могут проявляться и тогда, когда дух пребывает в состоянии дрёмы, когда наступают сумерки духа. Но это, повторяю, феномен не только французский, но и обще-европейский, а о современной Европе речь пойдет ниже.

Как видим, французская аналогия ничего, так сказать, веселого нам не обещает. А ведь у нас все сложилось *х у ж е*, чем во Франции. Положим, «великая» французская революция явилась национальной катастрофой (как это утверждают и убедительно доказывают французские «новые историки»), по своим масштабам сравнимой с русской. Разница, однако, в том, что французы относительно быстро спохватились и исправили многое из того, что можно было исправить.

Напомню, что с того дня, как Людовик XVI вывел свою семью из Тюильри, чтобы пройти между шпалерами оскорблявшего венценосных особ «народа» «под защиту» Национального собрания, до другого дня, когда в тот же Тюильри въехал на правах «христианнейшего короля Франции» его брат Людовик XVIII, прошло двадцать два года (точнее, двадцать один год и восемь месяцев). С этого момента, по сути дела, все «великие потрясения» (если не считать мимолетные «Сто дней» вернувшегося Наполеона) остались для Франции позади. Правда, ее еще не раз трясло (последний раз — в 1871 году), но все последующие революции и восстания были или поверхностными, или локальными (как правило, ограниченными пределами Парижа); ни одно

¹ Chaunu P. Le grand declassement. Paris, 1989, p. 284.

из этих событий по своему значению даже отдаленно не может сравниться с «великой» революцией. Иначе говоря, начиная уже с 1814 года Франция развивалась, в основном, эволюционно, до некоторой степени — хотя именно только до некоторой степени — залечив внутренние раны, которые она сама себе нанесла в предыдущие годы.

Вообразим теперь, чисто умозрительно, такую картину. Спустя без малого двадцать два года после падения монархии в России, то есть что-нибудь в конце 1938-го, СССР терпит поражение в войне (начатой, допустим, из-за Финляндии) с коалицией демократических стран (воображать поражение в войне с фашистской коалицией не имеет смысла, ибо такое поражение имело бы следствием расчленение России и гибель ее как государства). К войскам коалиции присоединяются остатки Белой армии, быстро растущие численно по мере продвижения вглубь России (уж если к немцу столько народу перебежало, можно представить, сколько перебежало бы к белым при первых же поражениях Красной армии). Сбывается двадцатилетняя мечта русского рассеянья. Романовы возвращаются в Зимний дворец — как Бурбоны в Тюильри — с лозунгом всеобщего примирения и взаимного прощения. Созывается то ли Пятая дума, то ли Второе учредительное собрание. Возобновляется издание прежних газет. Перед знаменитыми профессорами открываются двери хорошо знакомых им аудиторий. Происходит реприватизация собственности: промышленники возвращаются в свои конторы, торговцы — за свои прилавки (те и другие нередко с новым — европейским и американским — опытом¹); помещики — хоть на пепелище; построенные в советское время заводы, электростанции и т.д. приватизируются с учетом интересов бывшего советского класса «служилых людей».

¹ В 1929 году в Париже вышла любопытная книга Н. Гольденвейзера-Любимова «Да здравствует эмиграция!», в которой автор выступил с «новой программой» для русской эмиграции: активно участвовать в жизни стран пребывания, добиваться конкретных успехов в экономической, научной и иных сферах — но не с тем, чтобы пускать корни на Западе, а с тем, чтобы когда придет час возвращения в Россию (само собою, неизбежный! само собою, уже недалекий!), можно было бы явиться туда «не с пустыми руками». «С техническими знаниями, с европейской и американской практикой, с капиталом и личным иностранным кредитом, — писал Гольденвейзер-Любимов, — мы очень скоро сумеем занять в будущей аграрной России такое положение, которому смогут позавидовать бывшие помещики; возвращать же себе голое право на голую землю никому из нас особенно не интересно» (с. 36). Еще одна мечта, упокоившаяся вместе с ее автором где-нибудь на Сент-Женевьев-де-Буа.

Конечно, настоящего примирения не получилось бы. Двадцать два года — очень большой срок. Еще людям 35—40 лет (не говоря о тех, кто старше) относительно легко было бы восстановить в памяти иной уклад жизни. Но те, кто следовали за ними, получили уже чисто советское воспитание, внушившее им устойчивые представления о «проклятом прошлом», «враждебном капиталистическом окружении» и прочих подобных бублах. Правда, ползучая контрреволюция, завершившаяся как раз в 1936—1938 годах физическим уничтожением почти всей верхушки большевистской партии и Красной армии времен гражданской войны, существенно облегчила бы прояснение взглядов на ход истории. И все же красная идея, наверное, сохраняла бы еще некоторую власть над умами. И, наверное, дело не обошлось бы без каких-нибудь восстаний, без новой крови. Не исключено, что совершилась бы и какая-нибудь верхушечная революция — лет эдак через десять или двадцать. Но это и был бы французский путь, если пройти его до конца, — долгий, трудный, изобилующий конфликтами и, со всем тем, лишь частичного исправления ошибок, наделанных катастрофической революцией. Но в этом случае как-никак была бы все же восстановлена и сохранилась бы в дальнейшем связь времен.

Русский путь оказался еще худшим, чем французский. Пережив безумную революцию и последовавшую безумную диктатуру, потрясавшую своими стальными мускулами, а на деле расточавшую силы, накопленные веками¹, мы отдали безумцам (они взяли у нас) громадный отрезок времени (куда как уместно здесь слово «отрезок!»), охвативший большую часть текущего столетия. Лишь после того, как выработалась до конца, была раскритикована в пух и прах и осмеяна красная идея (нынешнее ее возрождение, как правило, в сильно побледневшем — розовом — виде, есть нормальное остаточное явление, которому вряд ли будет отпущено много времени), Россия смогла выйти, как говорится, на новую дорогу. Но, Боже, какая печальная открылась картина!

Наибольшую тревогу внушает состояние национальной души, которое трудно определить иначе, как состояние глубокой потери. Будто некий злой колдун завел нас глубоко в лес и там бросил. Результат: озлобленность, эмоциональное оупение, ци-

¹ Великая Отечественная война, победу в которой ставят в заслугу сталинскому режиму, на две трети была выиграна дореволюционной Россией и лишь на одну треть — тоталитарным строем, сумевшим (тут надо отдать ему должное) мобилизовать все силы для победы. Но было бы что мобилизовывать, если бы не наследство, полученное в 1917 году?

низм, в той или иной мере охватившие все слои населения и все возрасты.

Национальный организм уже сейчас ослаблен в опасной степени, а ближайшая и даже более отдаленная перспектива дает очень мало оснований для оптимизма. Внешних проявлений слабости более чем достаточно. В демографическом плане, например, сейчас наблюдается такой провал, что достигнуть стабилизации уже не удастся на протяжении многих лет. В экономическом плане низшая точка, возможно, пройдена и вот-вот начнется рост, но если сравнивать с достижениями других стран (а мы, кажется, только этими сравнениями сейчас и живем), придется заключить, что в обозримом будущем Россия сможет в лучшем случае выбиться в группу мировых «середнячков», но никак не в группу лидеров. В политическом плане уже сейчас мы наблюдаем заметное снижение политической культуры в сравнении даже с годами «перестройки», а будущее нам тут сулит, скорее всего, длительный период неустойчивости и какие-то малопривлекательные сюрпризы. Стремительно выросла преступность: от финских холодных скал до стен недвижимого Китая идет сплошная мафизация страны, выстраивающая фактически параллельные структуры власти в лице мафиозных «удельных князей».

Чем очевиднее будет нынешняя слабость России для самих россиян, тем острее будет ощущаться вопрос национальных амбиций. Пока что наши руководители еще могут позволить себе повышать голос, ибо в руках у них «такие аргументы» (как говорит дон Базилио, заведя пистолет у графа Альмавивы). Но «такие аргументы» тоже не вечны. В чем источник военно-технических достижений России, нередко опережавшей в этой области Запад? Очевидно, главный источник в том, что энтузиастическая фаза в истории науки, начавшаяся у нас, естественно, гораздо позже, чем в Европе, соответственно и заканчивалась позже; а уж советский режим постарался все лучшее, что было в российской науке, привязать к разработке новых типов оружия. Сейчас наука (вообще, не только у нас) продолжает двигаться вперед скорее силою инерции, вследствие чего приобретают большую роль разные внешние обстоятельства, в первую очередь вопросы финансирования. А так как мощна у нас куда тоньше, чем в странах Запада, не придется удивляться, если лет, скажем, через двадцать от нашего военно-технического могущества останется пшик. И тогда Россия станет в военно-политическом отношении примерно тем же, чем она была до Полтавской победы Петра I. То есть, с ней можно будет не так уж чтоб особенно считаться, и разве что

на карте мира мы еще будем бросаться в глаза своими гигантскими размерами. И еще можно будет по-прежнему хвалиться природными богатствами, из которых и через двадцать лет, наверное, кое-что останется...

Но, как известно, это не те вещи, из которых складывается сегодня национальное могущество. Как раз величина и природные богатства в сочетании с относительной ненаселенностью — территория, занимающая почти седьмую часть суши, вмещает лишь около 2,5% мирового населения (а через двадцать лет будет и того меньше) — могут сделать Россию объектом мощной экспансии со стороны перенаселенного Юга. Прежде всего демографической, но при случае и военной. Таковы превратности истории: была субъектом — теперь становится объектом.

Добавим, что национальная уязвленность и сама может сделаться деструктивным фактором — в дополнение ко всем остальным. Она может вызвать к жизни режим фашистского типа, который, подняв знамя «великой и сильной России», в конечном счете еще больше ослабит ее.

Почву для пессимизма создают не только свои, отечественные невзгоды, но и мировые тоже. Выйдя из состояния длительной изоляции, в которую мы сами себя загнали, мы первым делом стали думать о том, как бы прицепить свой вагон к далеко ушедшему вперед западному поезду. Но туда ли идет поезд? Тут тоже есть над чем поломать голову.

II

И мысль, читая смывое веками,
Подсказывает ночь, тревогу, пламя,
И рдяный блик в зрачках раскосых морд.

М. Волошин. «Каллиера»

«Мы входим в демократию не в самую ее здоровую пору» — написал Солженицын («Как нам обустроить Россию»). Эту мысль можно повернуть несколько иначе: мы возвращаемся в европейскую цивилизацию далеко не в лучшую ее пору. И почему бы не сказать: в пору упадка?..

В самом деле, налицо очень много признаков упадка.

Если мы обратимся к тому, что в годы, последовавшие за первой мировой войной, писали на эту тему Шпенглер и Ле Бон, Бердяев и Ортега-и-Гассет, то обнаружим, что пусть и не все, но самые важные их предсказания сбываются. Разве не прав был Шпенглер, утверждавший, что для Запада наступает фаза (предсмертная, по его оценке) «внешней жизни» — в пространстве, а не во времени, среди тел и «фактов»? Так ли уж ошибался Ортега, когда писал, что балованные и неблагодарные массы подрывают основы той самой либеральной демократии, плодами которой они пользуются, и что если так пойдет дальше, Европа вернется к варварству? И неужели так сильно обманывался декаданс в литературе и искусстве с его характерными предчувствиями? В истории культуры были и другие эпохи упадка, но, вероятно, никогда не возникало того упоения разложением, гибелью, какое мы находим у европейских художников еще прежде 1914 года, но особенно в период между двумя мировыми войнами.

В этом возрастании пессимизма двадцатилетие, последовавшее за второй мировой войной, явилось своего рода оптимистической интермедией. Запад торжествовал победу над фашизмом и, с другой стороны, сосредоточился на борьбе с коммунизмом; казалось, что два этих «изма» вобрали в себя все мировое зло. «Промышленным заботам преданы», европейцы успешно восстанавливали из руин свои дома, расширяли и украшали их и старались не думать о «закате Европы», точнее, «Закате Запада» (именно так называется знаменитая книга Шпенглера: «Der Untergang des Abendlandes»). Громадный «задел» исторического оптимизма, созданный XIX веком, еще поддерживал в них соответствующее состояние духа.

И вот новый грозный толчок, совершенно неожиданный: культурная революция конца 60-х годов. Молодежь Европы и Америки, потянув носом воздух, вдруг заключила: no future, «нет будущего у того мира, в котором мы живем». И поспешила заявить о своей «инаковости»: отвергла культурные традиции, которые делали Европу Европой, хуже того — оплевала их; против серьезности, «идеализма», против этики труда, против эстетики «высокого» выдвинула свои «антитезы», общим знаменателем которых явился некий стихийный натурализм. Замечательно, что молодые люди сами себя посчитали «новыми варварами»; в пику «отцам» они демонстрировали свои симпатии к «дикарям» и свои увлечения мистикой Востока.

А ту еще подоспел Римский клуб с его зловещими предсказаниями. Оказалось, что «промышленные заботы» приносят чело-

вечеству едва ли не больше вреда, чем пользы, и что в один прекрасный день они могут поставить его перед экологической катастрофой. Одновременно зашевелился Третий мир. И не нужно было быть провидцем, чтобы понять, что его растущее население несет в себе угрозу Западу — как опосредованно (через дальнейшее обострение экологической ситуации), так и непосредственно (о чем речь впереди).

Тоскливая мысль осеняет европейца: «А все-таки она закатывается!» (К.А. Свасьян). На протяжении 70—80-х годов выходит ряд книг, авторы которых предсказывают или хотя бы допускают близящийся конец европейской цивилизации¹. Впрочем, подобные книги большого успеха не имеют. Эссенциализм (уловление сущностей) нынче не в чести. Западный человек, как всегда, занят своим делом — он созидает или развлекается (кайфует). А для смакования (предчувствия?) разрушений есть место и время — к вашим услугам, например, кинематограф и литература катастроф.

Это ли не разорванное сознание? Хотя на прямой вопрос «оптимист вы или пессимист?» большинство, по данным опросов, выбирает все-таки пессимизм; даже американцы с их традиционным *keep smiling* не составляют здесь исключения. Слишком настойчиво звучат в последнее время «апокалиптические» мотивы, чтобы можно было позволить себе игнорировать их.

Сразу оговорюсь, что об Апокалипсисе как таковом в настоящей статье речи нет. Это вообще не тема для спекуляций. Говорить о сроках конца истории — попусту тратить время. На сей счет есть в Святом Писании два высказывания, исчерпывающие, так сказать, данный вопрос. Первое из них принадлежит ап. Павлу: «Время уже коротко...» (I Кор., 7, 29). Это надо понимать так, что время в с е г д а коротко, иначе говоря, конец истории в с е г д а близок. Второе — самому Христу: «О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один» (Мтф., 24, 36). Оба высказывания не исключают того, что конец истории еще очень далек.

Нам, россиянам, надлежит проявлять особую трезвость в данном вопросе: мы уже пережили в текущем столетии революцию, которую можно было принять за некий пролог к Апокалипсису. Это ощущается даже в отражениях — документальных ли, художественных ли. В мистериальном плане мы теряемся перед

¹ Вот некоторые из них (называю только книги теоретического характера): «Наступающее средневековье» Р. Вакки, «Тень Диониса» М. Маффесоли, «Декаданс» Ж. Фройнда. Со статьей «Средние века уже начались» выступил в начале 70-х годов популярный ныне Умберто Эко.

глубиною этого феномена, вызывающего у современников, даже тех, кто решительно не принял революцию, ощущение присутствия «на пиру богов». Ничего не понимает в прошлом (как, впрочем, и в настоящем) тот, кто не проклинает сей роковой час русской истории; и в то же время лишь религиозно глухой человек, прислушавшись к его «зовам», не испытает странное и сложное волнение. Чьи это были «зовы»? Не Ангелов ли, отпускающих «четыре ветра земли»? «Пассаж» здесь в том, что принимаемая предвестие Апокалипсиса за самый Апокалипсис, неизбежно попадает в просак. «Черный ветер, белый снег» — это захватывает; но потом оказывается, что исторически вы отброшены далеко назад и приходится, разбиваясь в кровь, вновь одолевая бесконечно долгий и каменистый путь, подобный тому, что однажды уже был пройден.

Так что оставим апокалиптическую тему. Речь идет о другом — вероятной гибели европейской цивилизации — в том виде, в каком она существовала до сих пор.

И это тоже страшно; трудно даже выговаривать такие слова, хочется спрятаться под «крышу» очередного художественного вымысла или хотя бы футурологического предсказания, где говорится о вещах, которые, когда-а-а еще будут — да и будут ли? Но что делать, если процесс уже идет, если признаки гибели — «на дворе»? Шпенглер был далеко не единственным, кто усмотрел черты сходства между современной «закатывающейся» Европой и угасающим античным миром. А за последние десятилетия таких черт сильно прибавилось. Тучи нависли — остается ждать молний? И не засверкают ли они значительно раньше 2200 года, к которому Шпенглер предположительно отнес конец европейской цивилизации?

Между прочим, для многих историков феномен гибели античного мира — самый трудный для изучения и в то же время самый интересный. У неспециалистов он обычно вызывает в памяти драматические картины: орды варваров штурмом берут города, жгут, убивают, насилуют, грабят. На самом деле подобные эпизоды хоть и имели место, не были типичными. Даже знаменитое, потрясшее весь античный мир взятие Аларихом в 410 году не сопровождалось особо большими эксцессами; вождь готов отдал строгий приказ: грабить можно все, убивать нельзя. В большинстве своем варвары, пересекавшие границы империи, уже были христианами (хотя бы и арианами), что в известной мере предопределяло их образ действий. Если заменить слово «нашествие»,

обычно употребляемое в данном контексте, более безобидной, с налетом академизма, «миграцией», общая картина, возможно, окажется более точной. Как правило, варвары, проникавшие на территорию империи отдельными группами или племенами, не имели воинственных намерений; и принимали их соответственно: давали им участки земли или же брали на государственную службу (где они нередко достигали высоких чинов).

В целом процесс гибели античной цивилизации, растянувшийся по меньшей мере на два столетия, был скорее естественным, чем насильственным. Когда наемные солдаты в 476 году лишили власти императора Ромула Августула и отослали знаки императорского достоинства в Константинополь, этот факт (ныне в глазах историков символизирующий конец Западной империи) остался едва замеченным. Бывшие провинции чисто номинально признали власть константинопольского императора, и жизнь в них продолжалась своим чередом. С внешней стороны введенный давным-давно порядок долгое время еще оставался почти таким же, каким был: сенаторы ходили на заседания в сенат, префекты решали в судах гражданские дела, прокураторы собирали налоги, квесторы вели приходно-расходные книги, курульные эдилы покрикивали на базарах, чтобы не было воровства, а в установленные дни горожане валом валили в цирки (в Италии, например, закрытые лишь в 541 году). Никто не подозревал, что вступает в «средние века».

Реальные перемены происходили медленно, поэтому не слишком бросались в глаза. Так, улица постепенно отвыкала от латыни, хотя бы и диалектной, и привыкала к жаргонам, сочетавшим элементы вульгарной латыни с варварскими наречиями. Источался круг образованных и даже просто грамотных людей. Лишь отдельные «оторвавшиеся от жизни» книгочеи продолжали смаковать тонкости латинской и греческой литератур; узкие кружки последователей Пиндара или Вергилия предавались версификациям, никому не нужным и не понятным. Вокруг толпились люди, даже внешне перестававшие походить на римлян. Куда исчезали традиционные римские туники и тоги? Уже последним императорам приходилось издавать специальные эдикты, запрещавшие ношение длинных штанов (подобие нынешних брюк), плащей из шкур животных и длинных волос. Мода, как всегда, улавливала, кто именно «задает тон».

Острее ощущались перемены за границами крупных городов. Здесь обычно свирепствовали банды разбойников, численностью иногда в несколько тысяч человек, состоявшие как из варваров,

так и из местных жителей (италийцев в Италии, галлов в Галлии и т.д.). Разбойники чинили больше разрушений, больше косили людей (в этом смысле с ними могли сравниться только эпидемии), чем варварские племена, когда они выступали как организованная военная сила. Целые деревни бежали от разбойников куда глаза глядят, а те латифундисты, которые чувствовали себя в силах оборониться от них, обносили свои виллы крепостными стенами с башнями, рвами и т.п. — так рождались средневековые замки. Крайне опасными становились дороги. В результате рвались узы, прежде связывавшие различные части империи, хозяйственные среди прочих (отчего товарная экономика уступала место натуральной), и каждая провинция, каждая область все больше замыкалась в кругу своих местных интересов.

Так начинались средние века.

Сравнения с александрийским периодом, последним периодом в культурной жизни римской империи, излишне рациональным и в то же время эклектическим, всеядным, лишенным собственной творческой мощи, давно уже стали обычными для Запада. Сейчас, похоже, наступил следующий этап, затрагивающий массы, а не только культурную верхушку, — этап упадка образования, резкого увеличения числа неграмотных (что особенно заметно в Соединенных Штатах, когда-то лидировавших по уровню грамотности) и одновременно распространения всякого рода примитивных вер и шарлатанских учений. Молодежь утрачивает интерес к учебе, равнодушна к политике, вообще не умеет «найти себя» на путях, которыми шли «отцы». Особую тревогу в этом отношении вызывают нынешние десяти-двенадцатилетние: по мнению австрийского психолога К. Шлегеля, единственный закон, пустивший прочные корни в их душах — закон стаи. В переломном возрасте молодежь с подобной настроенностью нередко организуется в банды, которые толкает на путь преступности не столько материальный интерес, сколько совершенно иррациональная агрессивность, «чистая» жажда разрушения. «В этих спонтанных действиях, — пишет известный немецкий поэт и публицист Ханс-Магнус Энценбергер, — злоба к целому и неповрежденному, ненависть ко всему, что работает, ненависть, образующая с ненавистью к самому себе крепчайший сплав»¹.

¹ Энценбергер Х.-М. Взгляд на гражданскую войну. — «Иностранная литература», 1995, №6, с. 152. Это отрывок из книги «Предчувствие гражданской войны», название которой редакция, вероятно, сочла чересчур шокирующим.

Внутреннее «варварство», дошедшее до такой степени ожесточения, — современное явление; античный мир его не знал (это легко объяснить тем, что религиозная ситуация в эпоху упадка античности была иной). А вот проблема внешнего «варварства» становится похожей на ту, с какой сталкивался античный мир.

Европе, вкупе с Северной Америкой, в не столь отдаленном будущем грозит «захват» выходцами из стран Третьего мира. «Захват» совершится, вероятно, относительно мирным путем, отчего я и заключаю это слово в кавычки (хотя в более отдаленном будущем не исключены и военные вторжения). Его сделает возможным простая разница демографических потенциалов. Почему-то широкая публика на Западе мало интересуется демографией, хотя демографическая ситуация в мире давно уже складывается самым драматическим образом. Избыток населения в странах Третьего мира устремляется в Европу, в то время как сами европейцы начинают вымирать¹. Во Франции и Германии, например, только мусульманское меньшинство (а есть и другие инородческие меньшинства) уже сейчас составляет около 5% всего населения. Положим, это скромная цифра. Однако при сохраняющихся различиях в уровнях рождаемости она с течением лет удвоится, потом учетверится — даже в том случае, если прекратится приток новых иммигрантов. Но последнее маловероятно: предстоящее резкое сокращение молодых возрастов, нежелание трудиться на «грязных» работах — все эти обстоятельства, вероятно заставят европейские государства держать двери приоткрытыми или хотя бы периодически приоткрывать их, впуская очередные «порции» новоприбывших.

Еще драматичнее обстоят дела в Соединенных Штатах. Правда, здесь рождаемость среди белых выше, чем в Европе, но зато и небелые меньшинства гораздо более многочисленны. В не столь отдаленном будущем именно белые станут здесь меньшинством, в результате чего, как пишет известный дипломат Джордж Кеннан, Соединенные Штаты можно будет причислить к странам Третьего мира²; такая перспектива напоминает Кеннану гомеровскую Итаку, где в отсутствие Одиссея его жена и сын чувствовали себя гостями в собственном доме. Замечу, что это сказано

¹ В западноевропейских странах число детей на одну женщину колеблется от 1,3 (Германия) до 1,8 (Франция). Как известно, для простого воспроизводства населения необходимая цифра — 2,1. В странах Третьего мира на каждую женщину в среднем приходится 4—5 и более детей.

² См.: *Kenan G. Around The Cragged Hill*. N.Y. 1993.

вскользь и полушутя — только так принято сейчас говорить на подобные темы в «приличном» обществе.

Кроме недостаточного внимания к вопросам демократии есть и другая, более существенная причина того, почему либеральное большинство на Западе сквозь пальцы смотрит на численное возрастание выходцев из Третьего мира в своих странах: оно испытывает чувство вины за все то зло, что некогда принесли европейские колонизаторы колонизируемым народам. Быть может, особенно остро это чувство проявилось как раз в Соединенных Штатах, ибо только там существует небелое (а именно, негритянское) меньшинство, которое может считаться в той же мере автохтонным, как и само белое большинство (разумеется, если не учитывать подлинных туземцев — индейцев, слишком малочисленных и упрятанных по резервациям). К тому же негры попали в страну не по своей воле, а по воле самих белых, доставлявших их в Новый Свет в трюмах невольничьих кораблей. Несколько столетий белые и черные прожили бок-о-бок, особенно на Юге. Нигде больше две различные расы не имели возможности столь близко узнать друг друга; и нигде больше (если ограничиться рамками Новой истории) угнетаемая раса не была угнетаема столь длительное время, нигде она не подвергалась таким ограничениям и не претерпела таких унижений. Мы вправе поэтому сказать, что на отношениях белых и черных в Соединенных Штатах сфокусирована вся проблема отношений Запада с Третьим миром в психологическом плане.

Сейчас можно услышать от американцев, не считающих нужным соблюдать «приличия», что черные «обнаглели», что раскаяние (я пока не употребляю религиозный термин «покаяние») со стороны белых напоролось на агрессивность черных, готовых в иных случаях «сесть на голову» белым. Увы, до известной степени это так.

А ведь мы однажды уже встречались с подобной ситуацией и не где-нибудь, а у себя дома. Только у нас это была проблема отношений сословий, а не рас. Вспомним историю «кающегося дворянина»: одинокая, скорее чудаческая фигурка мало-помалу завоевывает моральный авторитет, утверждает себя в литературе и в конечном счете в той или иной степени заражает своими настроениями чуть ли не весь господствующий класс. Известно, сколь сильно распространилось в «верхах» чувство вины перед народом. Известно также, что если бы не это чувство, безумную революцию в феврале 17-го легко было бы подавить с самого начала (в чем нас не лишний раз убеждает «Красное колесо»

Солженицына). Но почему православный (как-никак) мужик усмотрел в подобных умонастроениях признак слабости — и только? Ответ на этот нелегкий вопрос скорее всего должен быть такой: покаянное — по своей глубинной сути, по своему источнику (пусть и не всегда осознаваемому) — движение, сопровождалось решительным поворотом в сторону чисто секулярного образа мыслей. Дворянин как бы говорил мужику: да, я виноват перед тобой и мое извинение состоит в том, что я готов поделиться с тобой теми благами, которыми располагаю. Таким образом, проблема их отношений фактически была сведена к материальной стороне; уходила из поля зрения целокупность, в которую были «вписаны» и мужик, и дворянин. Мужик долго кумекал и в итоге раскумекал так: раз уж сами господа усомнились в мировом порядке, наделившем их властью и сопутствующими ей благами, значит, «взаправду» существует только низшая область «материальных интересов»; и не захотел делиться, а захотел — всего сразу¹.

Нечто похожее мы наблюдаем в Соединенных Штатах — повторяю, с тем отличием, что в этой стране дело касается не двух сословий этнически единого народа, а двух максимально далеких друг от друга в антропологическом смысле рас. Первая волна покаянного движения среди белых пришлась на вторую треть XIX века и была направлена против рабства негров; это движение было именно покаянным в религиозном смысле слова (вспомним, какую громадную роль сыграл тогда пронизанный христианскими настроениями роман Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома»). Вторая волна поднялась вскоре после окончания второй мировой войны и была направлена против сегрегации; в этом движении тоже была религиозная струя, но в основном своем течении оно может быть названо покаянным лишь по исходному импульсу и скрытому смыслу. Самую значительную роль в борьбе против сегрегации сыграл, пожалуй, Голливуд. Да, легковесный Голливуд, обычно следующий, не ведая того, совету Марка Теренция Варрона «продуманно творить чепуху», иногда выдает или, по крайней мере, выдавал в прошлом и остропроблемные фильмы, способные переломить общественные настро-

¹ В силу некоего естественного закона власть имущие всегда стремятся забрать себе больше власти, больше льгот и привилегий, чем они того заслуживают (учитывая функции, выполняемые ими в системе общественных отношений). Дворянин имел основания каяться в том, что он зл о-употреблял своей властью, а не в том, что располагал властью как таковой и сопутствующими ей привилегиями.

ения в ту или иную сторону¹. Но, вообще говоря, куда мог звать, «о чем бренчать» мог Голливуд? О том лишь, чтобы черные могли приобщиться к эвдемоническому миру белых, чтобы каждому, независимо от его цвета кожи, мог достаться хороший кусок от большого американского пирога.

Негритянская община в США, по крайней мере на Юге, всегда отличалась истовой религиозностью. Когда в 60-х годах среди негров поднялось мощное движение за расовое равноправие, возглавивший его баптистский пастор Мартин Лютер Кинг некоторое время удерживал его на высоте, так что в нем еще преобладало духовное измерение. Но уже к концу 60-х в нем быстро усиливается демонический элемент. На первый план выходит фигура «рассерженного», «яростного» негра; начинается этап задиристого самовозвышения, именуемый «черным расизмом» и «расизмом наоборот». Значительная часть «рассерженных» демонстративно обратилась к исламу; зеленое знамя пророка явилось для них символом войны с белым истеблишментом. С другой стороны, вступающие в жизнь поколения проникаются цинизмом, свободным от любых вер; они стремятся лишь к тому, чтобы урвать себе кусок побольше, приложив для этого как можно меньше усилий. Здесь сыграло роль и то, что «негритянская революция», как ее стали называть, несчастливо совпала с культурной революцией, усмотревшей своего союзника в люмпене, особенно в люмпене с иным цветом кожи. Сигнал, посланный из стана белых, был принят в негритянских гетто: агрессивное люмпенство получило своего рода легитимацию.

Разгул люмпенской стихии в негритянских гетто — беда прежде всего для них самих (почти каждый второй житель гетто мужского пола умирает в гетто насильственной смертью!). К тому же это язвы на теле цивилизации, которые обладают свойством расширяться, и никак не наоборот. Могучая американская демократия со всеми ее сглаживающими, умиротворяющими возмож-

¹ Чтобы не быть голословным, назову фильмы, которые не могли не произвести сильного впечатления как на белую, так и на черную аудиторию: «Пинки» Э. Казана (1949), «Невосстановимые связи» Л. де Рошмона (1949), «Отчизна бесстрашных» С. Креймера (1949), «Солнце светит ярко» Дж. Форда (1953), «Не склонившие головы» С. Креймера (1958), «Убить пересмешника» Р. Маллигана (1963) по роману Харпер Ли, «Раз картошка, два картошка» Л. Пирса (1964). С большей или меньшей смелостью все эти фильмы ломали психологические перегородки, искони существовавшие в Америке между двумя расами.

ностями здесь пасует: фактически гетто брошены на произвол судьбы (если не считать материальной помощи от государства, которую получает большинство проживающих в них бездельников).

Разумеется, далеко не все негры живут в гетто и далеко не все из них агрессивны. Но существует такая вещь, как «расовая солидарность», перед которой в иных случаях отступают все прочие соображения¹. Более того, как показывают социологические исследования, другие крупные меньшинства, латиноамериканские и азиатские, несмотря на все свои взаимные распри, чаще солидаризируются именно с неграми, а не с белыми, образуя единый «расовый фронт».

Великий американский христианский мыслитель Рейнхольд Нибур еще в начале 60-х годов (относительно благополучное время) писал о тягостном предчувствии, что судьба Америки, как «добродетельной» и одновременно могучей нации, окажется ироническим сочетанием судеб Израиля и Вавилона². Увы, есть очень серьезные основания полагать, что предчувствие не обмануло Нибура.

В Европе нет укорененных небелых меньшинств, к тому же небелые меньшинства здесь пока еще гораздо малочисленнее, чем в Соединенных Штатах; тем не менее, и в Европе мало-помалу складывается расовая «мозаика», схожая с американской. Во многих городах уже существуют целые кварталы для людей с небелым цветом кожи, что можно объяснить как желанием европейцев отгородиться от пришельцев, так и нежеланием самих пришельцев «растворяться» в среде местных жителей. Подобные кварталы становятся рассадниками преступности. Полиция не в состоянии с ними сладить; «право» сильного и «закон» местных разборок господствуют здесь почти безраздельно.

Умберто Эко обратил внимание на характерную тенденцию к автономизации, сближающую современный Запад с умирающим античным миром. Общности, образованные по территориальному или какому-то иному признаку, замыкаются в себе, в своих

¹ Вот выразительная деталь: четырехзвездный генерал Колин Пауэлл (мулат-квартерон), возможный (к моменту, когда пишутся эти строки) кандидат на пост президента США от республиканской партии, получив приглашение участвовать в исламском марше на Вашингтон осенью 1995 года, не посмел прямо отказаться от него, а лишь уклонился под каким-то предлогом.

² Niebuhr R. The Irony of American History. N.Y. 1962, p.160.

эгоистических интересах, и в то же время стремятся по возможности оградить себя от «чужих» — внутренних и внешних «варваров». Примерно о том же пишет Энценсбергер: «В международном масштабе для защиты от варваров повсюду сооружаются своего рода лимесы¹. В самих метрополиях образуются настоящие архипелаги крепостей. В больших американских, африканских и азиатских городах давно уже есть «бункера блаженства и счастья», огороженные колючей проволокой. Есть целые кварталы с доступом только по пропускам, со шлагбаумами, телекамерами и овчарками у входа. Местность вокруг простреливается со сторожевых вышек из пулеметов»². Интересно, что сам Энценсбергер недалеко ушел от подобного — «оборонительного», назовем его так, — образа мыслей. Европейцам, пишет он, надо заниматься своими собственными делами, «first things first». Что в данном случае означает — «своя рубашка ближе к телу».

Но и за колючей проволокой нелегко будет отсидеться от угроз, которыми полон наступающий век. Среди них вполне может осуществиться и угроза военной агрессии со стороны какого-либо государства или группы государств Третьего мира. Непрерывный рост вооружений дает парадоксальный результат: самые слабые по своим возможностям приближаются к самым сильным. Ибо самые сильные нарастили уже такую мощь, которая уходит далеко «за облака» — иначе говоря, становится практически неприменимой (Соединенным Штатам или России, чтобы реализовать весь накопленный ими военный потенциал — ядерный, химический и биологический, — понадобилась бы планета, в тысячу раз превышающая нашу, населенная триллионами и квадрильонами людей). В рамках возможного великому государству будет в состоянии бросить вызов не только малое государство, но даже хорошо организованная группа террористов — и эта угроза еще ближе, еще реальнее.

Подобная перспектива усугубляет картину наступающей, судя по многим признакам, «европейской ночи»³. Положим, «увлекательные» картины Большой катастрофы, рисуемые определенно-го сорта литературой, вряд ли могут быть реализованы: земля до

¹ В древнем Риме — пограничный вал.

² Энценсбергер Х.-М. Там же, с. 152.

³ Пару лет назад в одной статье я выражал надежду на относительно скорую новую зарю, которая «даст ночи полчаса». Но вполне можно ждать и долгой зимней ночи, наполненной «безумными» ветрами, поющими «про древний хаос, про родимый».

такой степени насыщена складами всякого фантастического оружия, а также атомными станциями, химическими заводами и т.д., что здравый смысл не даст слишком далеко распространиться волнам хаоса. Тем не менее, локальные катастрофы того или иного рода вполне возможны и даже, наверное, неизбежны (хотя в общей картине упадка они станут, скорее всего, редким исключением, подобно сверканиям молний на небе, а нормой будет повседневное, малозаметное для глаза разложение). Достигнутый уже сейчас уровень хаоса позволяет предположить, каков он будет завтра.

Еще ведь только Первый Страж Ночи заступил в свою смену.

Довольно, однако, мрачных красок. Намеченная перспектива гибели европейской цивилизации всего лишь вероятна (хотя степень вероятности ее весьма высока). Раздумывая над этими предметами, я прочел в №83 «Континента» статью Андрея Зубова «Европа и мир», где нашел свою мысль — но чересчур сгущенной и, с другой стороны, ничем не подкрепленной. В статье говорится о близящейся смерти европейской цивилизации, как о чем-то уже практически решенном. Правда, автор еще призывает наших западных соседей «очистить те духовные родники, из которых пили создатели Великой Хартии и хранители «протестантской этики»...» Это, считает он, должно было бы привести к возрождению Европы. — Но, похоже, он все же не ожидает, что его призывы будут услышаны; во всяком случае, статья оставляет впечатление, что дело Европы безнадежно.

Огорчает скороговорка, какую говорится об «умирающей Европе»; как будто не была она для нас и не остается по сию пору «страной святых чудес». В статье Зубова ощущается, на мой взгляд, чрезмерное высокомерие по отношению к истории (оно ощущается и в другой его — в целом сильной — статье «Пути России», опубликованной в №75 «Континента»), чрезмерное даже сейчас, когда мы действительно остро нуждаемся в н а д-исторических ориентирах.

Что же касается существа дела, то приговор, вынесенный в статье «умирающей Европе», чересчур, мне кажется, категоричен. Воображению тотчас предстает некто, утопающий в подушках и поддерживающий свои угасающие силы таблетками да микстурами. От реальности это далеко. Я не стану говорить о продолжающихся успехах в области науки и техники — положим, волосы и ногти продолжают расти даже у мертвеца; но предмет нашего разговора — далеко не мертвец. Да, Европа (в чем я сам только

что старался убедить) выказывает множество признаков смертельной болезни; заметим, однако, что она переносит ее «на ногах» и не без улыбки, пусть немножко натянутой. Откуда у нее это — от витальности, стремления к жизни ради самой жизни? Если так, то Европа действительно обречена и жить ей осталось не слишком долго. Но если ее жизнестойкость имеет и какой-то другой источник?

Шпенглер, писавший об «овнешнении» творческого духа Европы, оказался прав лишь отчасти. Осталось-таки кое-что и для «внутренней» работы. Разве не свидетельствует об этом то покаянное движение, о котором только что говорилось? И разве не свидетельствует об этом тот факт, что европейцы сумели преодолеть в себе былой национализм и соединиться в «единую семью»? А культурная революция 1968 года, инициированная студенческой молодежью, — разве не явилась она в какой-то мере и проявлением ж и в о г о д у х а европейской истории и культуры? Парадокс в том, что объективно она, как уже было сказано, дала новый мощный толчок движению в направлении дальнейшего упадка. Однако оценить ее значение до конца можно лишь в мистериальном плане истории, для нас недоступном. В данном случае важно отметить, что в культурной революции была живая вода обновления и что родник, из которого она излилась, вне всякого сомнения, еще не иссяк.

С другой стороны, «овнешненная» в структурах материалистической и эвдемонистической цивилизации Европа, может быть, не столь уж и заматерела, как это кажется на первый взгляд. Может быть, прав итальянский философ «неосимволистского» направления Альберто Мелуччи: «Голиаф технологического и медиакратического общества — это гигант на глиняных ногах, ибо он чрезвычайно хрупок как раз на той почве, что явилась источником его могущества: на почве языка и идей. Способность творить в символической сфере, порождать идеи и переводить их в план повседневных жестов может явиться силой, способной все перевернуть»¹. Правда, чтобы сразить Голиафа, нужен все-таки Давид. Способна ли Европа выставить Давида?

Тезис об «умирающей Европе», сколь ни вески доводы, приведенные в его пользу, — всего лишь тезис. Ему сопутствует, как обычно, антитезис. Судьба Европы — з а г а д к а , которую никто сегодня не в силах разрешить.

¹ Melucci F. Passaggio d'epoca. Milano, 1994, p. 156.

Возвращаясь к статье Зубова, замечу, что весьма спорным представляется также следующее его противопоставление: умирающая западная цивилизация — и другие цивилизации, «набирающие жизненные силы». Прежде всего совершенно не ясно, в какой степени локальные цивилизации остаются сегодня таковыми. Что они не растворились в мировой цивилизации — это факт (на нем основана, в частности, нашумевшая статья Хантингтона). Но и вестернизация незападного мира — тоже факт. Даже исламский мир, наиболее антизападно настроенный, вестернизован, наверное, гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. В общем, это еще одна загадка, на которую никто сегодня не может дать окончательного ответа.

Не забудем, что европейская цивилизация — единственная цивилизация, которая является христианской, как минимум, по своему происхождению. Только в рамках европейской цивилизации принцип свободы активно работает против закона естественно-исторических циклов. Но и в том случае, если перетянет колесо «вечного возвращения» (а это станет указанием, что принцип свободы был употреблен во зло), попытка европейской цивилизации сохранит уникальное значение — и не только в эсхатологическом смысле, но и для последующего хода истории.

Что же касается других цивилизаций, ныне «входящих в силу», то совершенно невозможно представить, как они поведут себя, если Европа придет в упадок. Слишком они с нею связаны. Европа не только научила Третий мир многим полезным вещам (конечно, по-разному и в очень разной степени, если учесть, что понятие «Третий мир» объединяет очень разные ареалы — от великих цивилизаций Индии и Китая до аборигенов Австралии, застрявших в каменном веке), но и развязала демонические силы, которые ныне свиснут от северного полюса до южного. Сумеет ли Третий мир сам справиться с этими силами? Не возопиет ли однажды в отчаянии:

Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал...?

(«Ничтожество» — в смысле овладения силами природы; ибо в этом отношении завоевания любых других цивилизаций ничтожны в сравнении с завоеваниями европейцев). Не одна ли Европа способна заклясть силы, которые сама вызвала к жизни?

III

«Печаль мирская производит смерть».

(2 Кор., 7, 10)

Поистине взгляд на Европу, на Запад вообще, не может не вселить в нас, как мы привыкли говорить, «уверенность в будущем».

Однажды некий отрок, не состоявший в связи с музами, на предложение учителя «описать стихами восход солнца» сумел выдать из себя лишь одну строку:

Блеснул на западе румяный царь природы...

А так как дело было в Царскосельском лицее, то рядом случился Пушкин, тотчас дописавший:

И удивленные народы
Не знают, что же предпринять:
Ложиться спать или вставать.

«Удивленные народы» — это мы сегодня. Что наши лица обращены в западную сторону, в данном случае как раз нормально. Россия — «д р у г а я Е в р о п а» (надеюсь, что эту простую истину не сумеют поколебать упорствующие в евразийстве, чьи ряды за последнее время, похоже, заметно умножились); и естественно, что после длительной (хотя бы и относительной) изоляции возникла мощная тяга к воссоединению с западными соседями в рамках общей цивилизации. Но каким светом нынче светит Европа — вечерним или утренним? И к чему, следовательно, надо готовиться — к новому дню или к ночи?

Петра Великого часто упрекали и упрекают в том, что он механически переносил в Россию европейские порядки, не считаясь с местными особенностями. В общем, это справедливый упрек, хотя психологически понять царя можно: его увлекла Европа, как может увлечь иная личность. Если мы увлечены каким-то человеком, мы обычно избегаем разбирать его по косточкам, но принимаем целиком, таким, каков он есть. Подобным же образом и Петра увлекла Европа, какою она была на переходе от XVII века к XVIII: трудолюбивая и рассудительно-добродетельная (и одновременно галантно-воинственная), устремленная ко всему «утонченному и изящному», с аккуратными бюргерами в вязаных колпаках и отважными капитанами, пропахшими таба-

ком и ромом, с философами, убежденными, что «все к лучшему в этом лучшем из миров» (как несколько позднее выразит их руководящую мысль вольтеровский Кандид), с разными невинными плезирами, вроде потешных огней, и «ассамблеями» (как их поименовали в России), где отдавали дань «пианственному богу Бахусу» и кавалеры с декольтированными дамами отплясывали веселые контрадансы и церемонные менуэты. Это Европа, еще не ведающая обо всех опасностях демонизма, хотя бы и творческого, ею однажды овладевшего; Европа, идущая в рост и переживающая счастливую пору цветения.

Совсем иной видим мы Европу сегодня, «открыв окно» в западную сторону — заплутавшей на своих путях-дорогах, в высшей степени противоречивой и исполненной сомнений. Но столь велика у нас жажда «твердой почвы» под ногами, что мы, как правило, спешим продемонстрировать нежелание или неспособность более или менее адекватно воспринять столь озадачивающую картину, предпочитая требующим умственных усилий головоломкам упрощенные, но зато «удобные» объяснения и оценки. Новоявленное либеральное западничество обычно не умеет различить, по слову Розанова, где цивилизация и где скандал с ней, где «прогресс», а где «наследили на полу» и надо подтереть. И потому все западное — хорошее, дурное и непонятно какое — принимает целиком: и институты либеральной демократии, опыт рыночной экономики, различные конкретные ноу-хау; и опыт современного искусства, изощренного, «хитрого», способного иной раз завести в такие дебри, откуда без молитвы не выйдешь; и массовую культуру со всеми ее «развлечениями», в их числе с теми, что пробуждают низшие и нижайшие из данных человеку инстинктов, и с готовыми инструкциями на все случаи жизни, включая самые интимные ее стороны... Здесь редко умеют отличить новизну от кривизны и потому все сомнительное с нравственной или эстетической точки зрения и даже откровенно порочное покорно (или, наоборот, с энтузиазмом — это уж кто как) находят «современным» и, следовательно, подлежащим усвоению или хотя бы допущению.

Западничеству противостоит упрямый изоляционизм разных направлений и оттенков, от национально-православного до посткоммунистического. Здесь Запад как таковой не любят и не понимают; в наиболее тяжелых случаях усматривают в нем стан врагов, которые только ждут случая, как бы нам чем-нибудь навредить. В то же время здесь сохраняют (по крайней мере, на национально-православном фланге) чувство «корней», позволяю-

щее видеть некоторые вещи в их настоящем свете: например, что «свобода» от авторитетов (начиная с первичных — родительского и учительского) есть лукавая свобода, что блуд есть блуд, как бы его ни украшали, и т.д. Но как пре-творить это чувство в настоящем? Тяготая к некоторой эпической уравновешенности, изоляционисты не понимают того, что мы вступили в трагический эон, символом которого может служить дорога — змеистая, полная всяческих неожиданностей; и разве не смешно, риторически вопрошал еще Мережковский, располагаться на дороге как дома?..

Изоляционизм обречен проиграть, даже если его ждут еще какие-то временные победы. Слишком выразительно «блеснул» на западе «румяный» капитализм (то ли подлинно румяный, то ли румяна так густо наложены, а под ними — *facies hippocratica*¹), чтобы понятное движение могло рассчитывать на сколько-нибудь прочный успех. Особенно неподатливым представляется в этом отношении подрастающее поколение: для него Запад — что-то вроде пещеры Али-бабы; и как удержаться от того, чтобы не проникнуть туда — на худой конец в роли разбойника? Заборные надписи на а н г л и й с к о м языке, которыми пестрит российская глубинка, могут, наверное, служить подтверждением того, что пути назад, в прошлое, каким бы мы его себе не представляли, уже нет.

Нельзя спастись от таинственных всепроникающих флюидов времени, как об этом писал еще в 30-х годах Федотов. Сопротивляться гибели можно только и з н у т р и европейской цивилизации, переболев болезнями, какими болеет Запад.

Заметим, что в отличие от петровских времен у нас в духовном «активе» не только православная Церковь, сохраняющая свое главное — неотмирный лик, но мало чем способная помочь (тогда, как и сейчас) за пределами церковных стен; у нас есть могучая традиция светской культуры и светской (притом религиозной) философии, способной поспорить с любой другой. За одно только предреволюционное столетие Россия создала культуру, которая, будучи существенно отличной от европейской, в то же время вместила в себя Европу как бы в концентрированном виде — ее юность, и зрелость, и крепость (я имею в виду крепость вина, еще не превратившегося в уксус), и вместе — ее позднюю утонченность; в этом смысле она была даже более европейской, чем сама европейская культура, растянутая во времени и преры-

¹ Лицо, выдающее признаки близкой смерти (*лат.*).

вистая. Если Россия не продала ум черту, она поспешит возобновить эту традицию, которая, будучи столь многим обязанной Европе, в то же время сама способна многому ее научить; во всяком случае, она позволит подключиться к решению *з а г а д к и*, какую ныне представляет собою европейская цивилизация, — с тем, чтобы определиться с ее дальнейшими путями-дорогами.

Это ведь наша общая загадка — цивилизации Севера. Вряд ли я ошибусь, если скажу, что Россия чем дальше, тем больше будет ощущать себя Севером, противостоящим Югу, а прежние различия между Западом и (европейским) Востоком хоть и не сотрутся совсем, но отойдут на второй план.

Но, может быть, уже никакими усилиями, никаким напряжением воли невозможно удержать европейскую цивилизацию (единственную, повторю это, цивилизацию, христианскую по своим истокам) от гибели; может быть, она уже всеми четырьмя гвоздями прибита — подобно одному из мифологических персонажей Греции — к огненному колесу судеб, увлекающему ее в пропасть.

Здесь уместно вспомнить, что христианство — единственное «мировоззрение», указывающее на свое конечное поражение в рамках земной истории, которое кончается не царством Христа, а царством Антихриста. Тем более возможны и неизбежны промежуточные, так сказать, поражения в ходе земной истории; это должно относиться не только к самому христианству, но и к производной от него цивилизации.

Если впереди ночь, то она имеет свой смысл и даже свои преимущества. «День, — писал Бердяев, — может изолгаться, порядок дня может истомить, покровы дня разложиться»¹. Ночь говорит правду, в ее дыхании открывается религиозная глубина бытия, утаенная в суетах дня.

Чем ночь темней — тем ярче звезды...

И канонически строгий о.Георгий Флоровский в поздней своей книге «Христианство и культура» допускал, что закат современной цивилизации, «может быть, надо даже приветствовать». В конце концов, цивилизации, подобно отдельным людям, должны думать не только о самосохранении; в истории существуют божественные цели, о которых мы можем только догадываться, но о которых мы, по крайней мере, можем твердо сказать,

¹ Бердяев Н. Новое средневековье. М., 1991, с. 7.

что они совсем не обязательно совпадают с «интересами» цивилизаций. Зато «надломы и распады цивилизаций могут оказаться ступеньками к высшему развитию в религиозной сфере», — пишет Тойнби. С другой стороны, именно религиозная сфера дает импульс нового развития цивилизации: «христианство — это нечто вроде куколки, сохраняющей законсервированные эмбрионы жизни до тех пор, пока они не почувствуют, что готовы раскрыться весенней почкой в новую светскую цивилизацию»¹. Как это уже было на переходе от античности к средневековью.

Наверное, в наступающей ночи будет много страшного (да разве мало страшного происходит уже сейчас?). Но лучше быть готовым к этому заранее, чем ждать, пока страшное «упадет на голову», ломая неспособное совладать с ним мировоззрение и корежа психику. И надо быть готовым к тому, что наша Россия вполне возможно будет скатываться именно под уклон — если предстоит скатываться под уклон. И притом — впереди самой Европы. Более того — будет тянуть ее за собою. Мы всегда болели европейскими болезнями тяжелее самих европейцев, и многие их пороки отражаются у нас, как в увеличительном зеркале. Как бы ни старались наши евразийцы дистанцироваться от Европы и как бы ни хотели порою оттородиться от нас сами европейцы, скатываться будем в м е с т е .

Но даже и наихудшая перспектива не должна чересчур «мрачить стекло очей». Поскольку оптимизм и пессимизм — понятия, имеющие смысл лишь в рамках истории, христианству, естественно, ближе пессимизм; важно, однако, уметь найти м е р у пессимизма — не дать ему приблизиться к опасной грани отчаяния, способного лишь ускорить смерть. Отчаяние и так уже слишком угнездилося в сердцах людей, что было бы еще заметнее, если бы оно не принимало сплошь и рядом форму «веселого нигилизма». Ведь и в самом деле катиться вниз иногда бывает куда как весело. Зато чем ниже упадем, тем труднее будет потом подыматься в гору.

Опять же апостол Павел явил пример того, как надо противостоять «силе обстоятельств»: «...Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся; ...низлагаемы, но не погибаем» (2 Кор., 4, 8). Энергия противостояния истекает из религиозного чувства, из убеждения, что есть за гранью истории, по слову поэта, «безусловная синева» (Вяч. Иванов); и проявляется эта энергия не в пассивном, страдальческом ожидании дня, когда, по слову дру-

¹ Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. СПб., 1995, с. 138, 139.

того поэта, «последняя труба разрежет звуком синий свод», но в повседневной, «будничной» работе в рамках истории.

Надо продолжать р а б о т а т ь — в русле европейской цивилизации. Какова бы ни была ее судьба, она не может прерваться — как не прервалась и античная цивилизация, гибель которой, по сути, означала не что иное, как перетекание ее в иную, средневековую цивилизацию (образ куколки, употребленный Тойнби, передает исключительную роль христианства в деле формирования цивилизации и в то же время абсолютизирует моменты разрыва в истории, затемняя картину того, как опыт предшествующей цивилизации используется тою, что следует за ней). На исходе античности силы, действовавшие на разрыв (цивилизационный), встречали определенное сопротивление: в монастырях, например, не останавливался процесс накопления и передачи знаний. С еще большим сопротивлением эти силы встречаются в наше время: сейчас и плотность населения другая, и уровень насыщенности знаниями совсем иной, и технические системы жизнеобеспечения таковы, что многие из них не могут допустить перерывов в работе. Хотя некоторые из этих систем, вероятно, стоило бы заменить какими-то другими, менее сложными, а может быть, даже и совсем простыми¹.

И независимо от того, ждет ли нас впереди ночь или ее все-таки удастся избежать, надо развивать к р и т и к у европейской цивилизации и з н у т р и ее самой. К этому нас обязывает высокая традиция русской культуры, русской религиозно-философской мысли, дающая нам в руки некий аналитический реактив, способный умозрительно разложить западные реальности —

¹ Заметим, что изнутри европейской цивилизации нарастает стихийное движение, ставящее целью уменьшить зависимость от чересчур громоздких и требующих специальных знаний технических систем. В «зазорах», оставленных промышленными империями, миллионы людей (в Европе и США) исподволь создают свое, альтернативное существующему «самоопорное» общество, избегающее чересчур сложных опосредований в отношениях с изначальными стихиями — землей, воздухом и водой. «Альтернативники» выступают против искусственно созданных потребностей — за самоограничение; они употребляют лишь «простые» технологии (комбинация традиционных инструментов и навыков с некоторыми современными технологиями) и «чистые» источники энергии (воду, ветер и солнце, на которое особенно рассчитывают в будущем), тяготеют к натуральному хозяйствованию (еще один знак возвращения средних веков!) и одновременно поощряют изобретательство. Движение «альтернативников» — своего рода щупальцы, которые европейская цивилизация выбрасывает вперед, готовясь встретить неведомые темные времена.

отделить золото от ржавчины (в средние века алхимики полагали, что золото состоит в некотором родстве со ржавчиной, образующейся на железе).

Особенно это относится к последним десятилетиям европейской (и североамериканской) истории, наиболее запутанным и пока еще наименее освоенным критической мыслью. Феномены упадка настолько сплетены с феноменами роста, что легко возникает оптический обман того или иного рода: либо вторые тянут первых за собою, либо — в зависимости от «оптики», в которой рассматривается вся картина, — наоборот, первые «компрометируют» своим близким соседством вторых. К примеру, институты либеральной демократии на большей части Европы укрепились лишь за последние десятилетия, то есть как раз тогда, когда сделалось очевидным понижение уровня морали и уровня культуры. Данное обстоятельство бросает на них сумеречный (вечерних сумерек) свет и побуждает еще раз прислушаться к «органицистам» — к Леонтьеву, видевшему в либеральной демократии конечный итог «разлития» (а отнюдь не развития) изначальных органических целостностей, или к Шпенглеру, утверждавшему, что она годится лишь для «черни больших городов». Между тем с а м и п о с е б е механизмы либеральной демократии, созданные в результате многовековых усилий, и м е ю т н е п р е х о д я щ е е з н а ч е н и е . И если даже им суждено пасть вместе с северными крепостями, дающими им защиту (мы не можем вполне исключить такую возможность), все равно они рано или поздно могут вновь пробить себе дорогу. Есть и примеры противоположного рода — элементарной, древней, как мир, распущенности и, паче того, снисходительного отношения к ней, выдаваемых за некие достижения «на пути свободы»; отчего термин «либерализм» приобрел (и не только у нас, но даже в такой твердыне либерализма, как Соединенные Штаты) устойчивый оттенок потакания человеческим слабостям (если не низостям). Вообще есть много такого, что трудно объяснить в «оптике» восходящего движения (более привычной, поддерживаемой до сих пор некоторыми «кривыми роста») и что в «оптике» нисходящего движения «становится на свои места». В то же время есть много других вещей, которые только в «оптике» восходящего движения могут быть объяснены.

История — «вечный бой», а мы (человечество) сейчас вступили в самую критическую, самую труднопредсказуемую его фазу из всех, до сих пор имевших быть. Мы начали ее с охрипшими барабанами, имея во главе близоруких, как правило, идеологов и

политиков, ставящих перед собою лишь краткосрочные задачи и не чувствующих патетики переживаемого исторического момента — ни его глубокого трагизма, ни ответственности, налагаемой на человека бременем свободы («бремя», «беремя», как извне данная тяжесть — по Далю, «охапка, сколько можно обнять руками», — овнутряясь, становится «чреватостью», готовностью к творческому акту). Никогда раньше столь многое не зависело от самого человека. Никогда раньше не звучали с такой силой слова, более семи столетий назад сказанные Фомой Аквинским: «Мы должны молиться, как если бы все зависело от Бога, мы должны действовать, как если бы все зависело от нас».

И еще о России. Трудно смириться с мыслью, что лишь в одном случае Россия может оказаться впереди Европы — если всех нас ожидает только нисходящее движение. Остается надежда, высказанная одним из персонажей булгаковского полилога «На пиру богов», дошедшего до нас «из глубины» «великого и страшного» восемнадцатого года: что «Россия греховная, обезбоженная, растленная, найдет в себе силы для вопля благоразумного разбойника в последний час истории...» И что здесь именно сверкнет рано или поздно «белый луч мирового Преображения». Чудо всегда возможно, когда есть движение, порыв — навстречу ему.

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА МАКСИМОВА

Год назад — 26 марта — после тяжелой болезни скончался Владимир Максимов, основатель и в течение семнадцати лет бессменный главный редактор «Континента». В 84-м номере «Континента», вышедшем непосредственно после этого горестного события, мы напечатали последнюю его пьесу и обширный «Венок памяти Владимира Максимова», в котором приняли участие В. Аксенов, Г. Герлинг-Грудзинский, Н. Горбаневская, А. Деметьев, Ф. Искандер, О. Клеман, Н. Коржавин, Ю. Крелин, Э. Кузнецов, Э. Лозанский, Э. Неизвестный, Ж. Нива, В. Страда, Ю. Эдлис. Но многие из друзей Володи, из тех, кто знал и любил и его самого, и его творчество, просто не успели тогда откликнуться, сказать свое прощальное о нем слово, и я тогда же обещал читателям журнала, что через год, начиная с номера, который выйдет к годовщине смерти Владимира Максимова, редакция непременно продолжит публикацию и воспоминаний о нем, и текстов, посвященных его памяти, и документов из парижского архива «Континента».

Сегодня мы начинаем выполнять это обещание. Мы печатаем не публиковавшееся до сих пор стихотворение Владимира Максимова, которое сохранила память его первой жены, Ирены Стефановны Лесневской. Историю его появления она рассказывает в небольшом предисловии к публикации этого своеобразного текста, при всей очевидности «альбомного» — для «внутреннего употребления» — жанра чрезвычайно выразительного своей характерностью и для того времени, когда оно родилось, и для тогдашнего Максимова, который уже в 1967 году избавился от многих иллюзий, что еще долгие годы туманили головы иным его современникам.

Мы печатаем также эссе Андрея Битова, написанное к годовщине смерти Владимира Максимова, и посланный нам еще год назад, но не успевший для публикации в 84-м номере небольшой очерк о Максимове Владимира Буковского, — «Воспоминания соучастника».

Игорь Виноградов

Ярославу Смелякову

Владимир Максимов до 1960 года писал стихи. После повести «Мы обживаем землю» к поэзии больше не возвращался.

Однажды вечером он пришел из ЦДЛ, где разругался с Ярославом Смеляковым. У него была привычка ходить по комнате из угла в угол и молчать. «Садись за машинку, — вдруг сказал он, — кажется у меня есть ответ Смелякову». Так как сочинял он свой ответ одновременно с моим печатанием, то, естественно, я запомнила эти стихи.

На следующий день — это было 5 ноября 1967 года — утром к нам приехала машина из больницы «Матросская тишина» и увезла его на профилактические процедуры, как они это называли. Пока он сопротивлялся санитарам, я порвала стихи, так как бывало, что непрошеные гости осматривали бумаги на письменном столе. Уходя, он спросил меня: «Ты запомнила?» Я кивнула. Так эти стихи никто никогда и не прочитал, Володя их не напечатал даже в «Континенте», он их просто забыл.

Вот этот текст — воспроизвожу его по памяти.

Ирена Лесневская

Век аксиом и обезлички,
Век поэтической плотьвы.
И я женат на истеричке,
И на вдове женаты Вы.
И пенятся в стаканах бури,
И льется попусту вино.
И колготят в литературе
Апологеты домино.
Где Вы, российские мессии,
Вещавшие сквозь тьму веков?..
Простите, Ярослав Васильич,
Родной товарищ Смеляков.

Читаете Вы, завывая,
Про Волочаевск и про Спасск.
Мне ж Ваша юность боевая,
Как в горле кость,

Прости Вас Спас.

Босые, с сотнями вопросов,
Вы в долгий выходили путь,
Чтоб, как Михайло Ломоносов,
В кристалл магический взглянуть.
Вы шли себе, прямы и строги,
И через дол, и через лес.
Но повстречал Вас на дороге
Не вещий Петр, а мелкий бес.
И закружило, завертело —
Не видно верного пути:
«Вперед за праведное дело!
Наш паровоз вперед лети!»
И вот, не поднимая взора,
Стоим у роковой черты:
Полвека крови и позора,
Полвека лжи и клеветы.
Взирают издали народы
На наши смутные дела...
Когда, какая непогода
Нас в эту темень завела?
Наверно, Вы ответить в силе,
У Вас, наверно, хватит слов?..

Простите, Ярослав Васильич,
Родной товарищ Смеляков.

*Владимир Максимов
ноябрь, 1967 год*

Исстрадавшаяся душа
(К годовщине смерти Владимира Максимова)

Про каких еще заек?!..

Из современного анекдота

1.

«Что бы ни сделал в России человек, его, прежде всего, жалко. Жалко, когда человек с аппетитом ест. Жалко, когда таможенный чиновник, никогда не бывавший за границей, спросит вас, какая там погода...»

Под этими словами мне до сих пор хочется расписаться.

Но это не я их написал.

И это не я их прочитал... Я тогда даже не знал, что у Блока есть проза.

Я тогда прозу *сам* писал.

Прозу Блока *открывает* мне вслух Лидия Корнеевна. Высокая, прямая, седая и молодая, величественная, как Анна Андреевна. В смысле: такая же естественная.

Как датировать подобный мемуар?

Значит Ахматова *еще* жива, а Бродского *уже* судили.

И я привез в Москву первый вариант «Пушкинского дома».

Вот — «молния искусства» образца 1965 года. Шесть-пять.

О, ленинградец того времени в Москве — особая тема!

Значит, я слушатель Высших Сценарных курсов. Подал по подсказке Рейна, принят по рекомендации Пановой.

— Зачем вам это надо? — сказала Вера Федоровна.

— И вот еще какая русская проза есть! — восклицает Лидия Корнеевна, извлекая единственный в мире экземпляр уничтоженной книги Бориса Житкова. Сожжение «Ста тысяч почему» вызывает у меня смех. Оказывается, он писал и «потому что». И вообще он был красавец. Денди и джентльмен. В такого можно и влюбиться, а он не только *про заек*, он еще и *прозаик*!

Таких расстреливали уже за внешний вид, а не только за то, что они написали.

Немногие вернулись с поля...

Если переставить две последние цифры, получится пятьшесть, 56-й.

Пятьдесят шестая — что за статья?.. XX не век, а Съезд.

Наша семья счастливо обошлась: мы никого *не ждали*.

Все на работе. Я один дома: тружусь перед зеркалом с гантелями. Звонок.

На пороге какой-то сотканный из пыли человек.

— Кедровы здесь живут?

Не верит, что здесь. Глядит на меня — и не верит.

— И Ольга Алексеевна? И Георгий Леонидович?

Я надуваю бицепсы:

— Я их сын.

— Странно, — говорит пришелец. — А такие красивые родители...

И уходит. Я исключительно оскорблен. Возвращаюсь к зеркалу... и почему-то не нравлюсь себе.

Человеку надо в чем-то отражаться — вот, в чем дело. Иначе его нет.

Так что важно *в чем*. И *в ком*.

2.

Ленинградец отражался в Москве как провинциал, как чучмек. «Великий город с областной судьбой» приобретал если и не национальные, то фольклорные черты.

Паустовский докладывал своему литсекретарю: «Приходил Битов с пирогом и рукописью». Секретарь пересказывал, смеясь, в ЦДЛ. Я обижался: ходоки, видите ли, у Ленина... топчусь в лаптях в прихожей у барина... оброк принес. Теперь-то я все понимаю: сам стал старик, замученный чужими рукописями, а тогда... надо же все настолько на свой счет принимать! Сам, можно сказать, единственный экземпляр у меня из рук вырвал: дайте почитать! Естественно, не прочел. Так верни!

Естественно, потерял, а признаться трудно. Мама же пыталась подкормить голодающего студента в Москве, увлеклась пирогами, пересылала их с оказией, паковала с немецкой тщательностью... «А это что у вас? Еще рукопись?» — «Нет, это пирог. Мама

прислала». — «Печеного мне нельзя» — «Мне зато можно». Вот и весь разговор с классиком. Зато навсегда. Никого не осталось: ни пирога, ни рукописи, ни классика. Один я всех пережил... Мемуаром зацвел.

«Тарусские страницы»... Теперь шестидесятников, а они до сих пор сами себя не поняли. Что это было? — так стремительно поверить, что все наладится: и справедливость восторжествует и вообще... Зато репутаций, как грибов.

Про Максимова слышали? Его сам Мориак гением объявил! А Мориак кто такой? Франсуа, что ли...

Ленинградец-то насколько ни во что не верил, настолько же доверчив был.

С одной стороны, в Москве все продались, с другой — и снисходительной улыбки довольно, чтобы расцвести и понадеяться на участь. И только что порочимый литературный генерал превращается в доброго и талантливого человека, и дружба навек. В генералы же производились с первой публикации. Правда, смотря где. В «Новом», скажем «мире». Но можно и в «Литературной Москве», или «Дне Поэзии», или, вот, «Тарусских страницах». О, эта мечта о «Двух рассказах» в «Новом мире»! — очнуться знаменитым...

В Москву рисковали поодиночке, Москва же высаживалась десантом. Вон она шествует шеренгой от «Октябрьской» до «Европейской», в распахнутых, как у Ленина, плащах: Окуджава, Войнович, Икрамов, Галич... кто там еще? — кто их собрал? кто «Стрелу» оплатил? чем это они так прославились? Ума не приложу. Всей-то славы: авторы «Синтаксиса», машинописного издания, за который Гинзбург-составитель еще не сел, но — *сядет*.

Значит, дата уже другая: шесть-ноль, шестидесятый, шестидесятники...

Очень много еще сядет, уедет, сопьется, умрет, чтобы их сегодня все ругали, потому что они именно этого и добились и, может, одно это и обеспечили, чтобы о них вытирали ноги. Именно за это им честь и хвала.

Очень уж это невкусно: ноги мыть и воду пить.

«Тарусские страницы»... Корнилов, Максимов... читали?

Хрущев не только зеков, он еще и *славу* выпустил на волю. Как же она гуляла!

Не в свободе печати, а в свободе славы, оказывается, дело.

Когда ты *сам* ее раздаешь.

Когда ты выбираешь *кому*.

Но это же и отравка. *Причастность*. Одно дело: вдохнуть славу как свободу, другое — так ее и не выдохнуть. Асфиксия шестидесятиничества передается до сих пор по наследству.

Первым об этом мне сообщил Максимов: «Умному человеку достаточно достигнуть славы в областном масштабе, чтобы не стремиться к ней в мировом».

Легко сказать!..

Экспресс «Таруса — Париж»

3.

Только что расправились с Пастернаком, так и не раскусив, кто это такой. Шолохова раскусили. Правда, Ахматова еще была жива. Но еще не было ни Солженицына, ни Бродского, и про Набокова не слыхали. Страна жаждала гения. Не была ли то сталинская инерция? — непременно занять пустующий пьедестал... Свобода слова оказалась скованной именно монументальностью роли писателя, едва ли не больше, чем идеологией. Загнав вольную русскую классику XIX века на школьную скамью в качестве членов Политбюро, наша пропаганда достигла большего, чем примитивным удушением современной словесности. Толстой с Достоевским оказались виноваты. Раскаялись и дали на себя показания. Практически добровольно, ибо не заготовили себе защитительной речи. «Кто знал?..» — вот название для русского романа вместо «Кто виноват?» Четверть века спустя мы обсудим с Володей эту тему не то в Страсбурге, не то в Париже. Ну почему, почему наша великая литература ни разу не осилила тему русской, именно русской, литературной амбиции? Какой типический, какой хронический герой оказался упущен! Достоевский мог бы... но сам им стал. Когда и как роль литературы была подменена ролью в литературе? С каких пор пьедестал стал важнее текста? Почему до сих пор, когда литература, по авторитетным заявлениям, кончилась, рождаются еще более амбициозные претенденты на свергнутую роль? Не Пушкину ли внушали, что в России писатель может сделать не меньше, чем Петр Первый? Пушкин, положим, справился, оставшись собою.

С тех пор наши писатели все больше утрачивали себя, становясь героями, образами и персонажами отечественной литературы, как бы прекрасно иные из них ни писали. Роль или кабала? Кажется, Иосиф вышел из положения.

Вот, о чем мы в последний раз поговорили, посасывая не то абсент, не то перно.

Раньше-то мы водку стаканами пили... когда я залезал к нему в окно... жил он тогда в деревянном, дровяном домишке, где, пожалуй, двор был и впрямь посреди неба... ты там финал «Семи дней творения» вслух Булату читал, и я там был... и мне вдруг показалось, что такой голой, такой глагольной прозы еще никто не писал... Так глух был твой голос, так изящен жест твоей изуродованной руки, и был ты красив, как вор, как урка, обуглен и тощ... Или, вот еще помню... до дому было уже не дойти... нас спасла красавица-бурятка, отвела к себе... очнулись мы от твоего истощного крика... ты открыл не ту дверь и наткнулся не то на мамонта, не то на саблезубого тигра... мне тоже показалось, что это белая горячка... но хотя бы она не бывает коллективной, а реализм бывает иногда спасительным... то был черный ход в зоологический музей, к которому непосредственно примыкала пещера нашей красавицы!

Мой семилетний сын на днях спросил: «Папа, а когда ты был маленьким, динозавры еще были?»

Были, сынок...

Ему-то что. Он составил свою классификацию Истории: Эпоха Динозавров — Первый Век — Эпоха Революции — Эпоха Трансформеров.

Господи! какими мы были и какими мы стали! чтобы одутловато потягивать в Париже перно!.. «Я умираю. Россия погибла...» — сказал ты в этом Страсбурге.

Я не был доволен подобным заявлением. «Надо уточнить последовательность», — не удержался я.

4.

Выходит, я все еще не мог простить тебе, что ты, именно ты не напечатал мой некролог Юрию Казакову... У нас его, естественно, нельзя было тогда напечатать.

Но, оказывается, и у вас...

Радио сказало голосом друга... как тут выговоришь «бывшего»? Или — прежнего, тамошнего, убывшего?.. Как назвать теперь друга, с которым вы никогда не ссорились, и оба, слава Богу, не умерли, а его — нет?

Между тем на второй день разлуки вы поймаете себя на том, что говорите о нем в прошедшем времени, как об умершем, одновременно будучи уверены, что он жив и здоров, и желая ему того же в будущем. Вы говорите в прошедшем: «он был такой остроумный», будто он никогда больше не пошутит, или: «он был такой честный», будто он с тех пор... и уже не ловите себя на слове, даже произнося: «он был такой живой человек». Вот пропасть невстречи: между «завтра» и «когда-нибудь» помещается «никогда». А что более, чем «никогда», равно смерти? Трепетно-уклончивые формулы: «там», «тогда», «по ту сторону», «в ином мире» — слились в нашем сегодняшнем простодушии, одинаково означая и западный мир и загробный. «Неужели умер? — Нет, уехал». «Неужели уехал? — Нет, умер». «Как же я не знал? Когда?..» — воскликнете вы в обоих случаях. Глагол «улететь» стал иметь новый корень — Лета. Но если для нас стало так, то как мы для них??

Радио сказало голосом друга, и я вздрогнул (тем же голосом, того же друга, но из «того» мира...) Радио сказало по «Загробному Голосу» (16, 25, 31, 49... как годы, метры!)... Радио сказало, что...

Мне стало так обидно, что оно сказало! что он сказал... (своим, чуть тронутым Западом голосом).

Он-оно сказали, что никого уже «там» не осталось в литературе, что все уже «здесь». Причем «там» — он имел в виду именно нас, оставшихся дома. Где «там», где «здесь»? Кто из нас «мы», а кто из нас «они»? И не то мне стало обидно, что сам я оказался за ИХ бортом, а не они за МОИМ, что оказался среди тех, кто «не в счет», кого и нет более, чем мертвецов, что не попал в очередной список или выпал из очередной обоймы. Обидно мне стало не за себя, а ЗА НАС — именно тем, чаще прокламируемым, чем встречающимся чувством патриота: «Как же это НАС нет! а вот — МЫ!» — стал я (ему) в запальчивости перечислять себя, загибая пальцы и не словив себя на том, что совершенно воспринял его логику, что меньше всего несогласия выразил в

подобном протесте... Пальцев хватило. Нас действительно осталось мало. И все-таки... Не все же уехали! Не все! Не уехало нас много больше, чем осталось здесь.

Нет, не чувство оставленной родины, не их ностальгию прибавил я в тот миг к поредевшему самому себе, представляя русскую литературу...

Именно сейчас телефонный звонок — и нет больше Юры Казакова. Уехать он не мог — это почему-то ясно. Значит, он умер. А я и не знал!.. Звонок был после похорон. Я уже опоздал. На похоронах, сказал мне незагробный голос все еще здешнего друга, было очень мало народу. Десятка два человек. Было бы больше на меня одного... Не может быть! Ведь не каждый день хоронят классика!.. Хоронили первого прозаика пятидесятых, и в том, и в другом смысле — первого! Неужто и его сокровенных читателей осталось так же мало, как нас? Его — забыли. Выходит, забыли. Вот ведь убогий текст: кто придет... Никто не пришел. Его смерть не стала, так сказать, общественным событием. Но она была и есть — общественное событие! Еще неведомого нам масштаба, но достаточно необратимого смысла. Пускай он молчал и десять, и пятнадцать лет — он БЫЛ! Молчал он ЗДЕСЬ. Он ни в чем не уронил и ничем не унизил им же впервые достигнутого уровня зарождавшейся было прозы. Молчащий писатель — тоже писатель. Он — не врет. Он тем более писатель, если молчит ЗДЕСЬ и у НАС, в нашем разреженном бору (с которого по сосенке). Здесь он замолчал, здесь он молчал, и здесь он с м о л ч а л с я. Юрий Казаков скончался не просто порядочным и честным человеком: Юрий Казаков никогда не «умирал как писатель» — он умер п и с а т е л е м.

Когда две с половиной тысячи лет назад философа Анахарсиса-скифа спросили, кого больше, живых или мертвых, он переспросил: «А кем считать плывущих?» (Сказалась скифская водобоязнь: это именно он изобрел якорь...)

Так кого же больше, живых или мертвых?.. Вообще-то (через эти две с половиной...) мы уже уточнили этот вопрос. Но если не так тотально, облегчая задачу, поставленную недавно перед нами философом Федоровым... «на сегодня» — кого больше?

Сколько уехало и сколько ушло? сколько уехало и сколько осталось? сколько умерло и сколько выжило?.. Мартиролог семидесятых не менее впечатляющ, чем тот список, который был

голосом друга провозглашен по «Загробному Голосу» в качестве «всей» уехавшей русской литературы... И то и другое случилось с ней за одно десятилетие!

Высылка Бродского и Солженицына ничем не может быть уравновешена. Но именно тогда же не стало и Твардовского, не стало Рубцова, Вампилова и Шукшина — первых надежд будто бы именно русской литературы. С отъездом Максимова писательская убыль стала приобретать почти систему: один отъезд — одна смерть. И попробуйте сказать, что они не равнозначны... Можно выстроить два жутких столбика бок о бок: «уехали — умерли», уточняя даты и взвешивая репутации. Не хочется этого бухгалтерского столбика... но разве не равновелики могут оказаться Некрасов и Домбровский, Евгения Гинзбург и Копелев, Коржавин и Глазков, Шпаликов и Горенштейн, Аксенов и Трифонов, Войнович и Казаков? Кто уехал — все-таки выжил... Лишь Высоцкий уравновешен Галичем. Ах, я перечислил не всех? Добавьте или вычеркните. Но уже сами.

Да и как построить настоящих писателей в детсадовские пары?

Умер Бахтин (дальше Саранска не ссылавшийся); умер Набоков (ближе Швейцарии не возвращавшийся). Умерла Надежда Мандельштам.

Потери за семидесятые годы и впрямь могут привести к мысли, что литературы, той, какая была и могла быть здесь, не стало. Пускай не утешает нас то небольшое количество имен, что составило русской литературе предыдущего века славу более чем мировую. Ибо если и остается от всех нас в последующих поколениях один человек, то это никак не означает, что остальных могло и не быть. Не было бы и этого, единственного и одного. Великая литература не может состоять из одних великих писателей. И, может, это не Пушкин заслонил Баратынского или Вяземского, а они его — высветили. Не могут вымереть все хорошие, оставив в живых самого «главного». И мамонт вывелся не от ущербности или неполноценности, а оттого, что не нашел стада...

Так же тихо, как Казакова, не стало Марии Петровых и Варлама Шаламова... Как они молчали!

Будто не нас одно и то же, а мы друг друга убили. В каком из миров вероятнее встреча, где мы все это выясним, в западном или загробном? На что поставим — на веру или надежду?

Так как же считать умерших ЗДЕСЬ? Можно ли за счет доброй половины этих смертей заявлять, что ЗДЕСЬ литературы уже не осталось?

Как считать плывущих?

1979, 1982

Ну, вот ты и опубликовал это в *своем* «Континенте». После смерти. Спасибо.

«Надо уточнить последовательность...»

И ты уточнил. Прости. Ты открыл этот список по новой... Юра Коваль, Юра Левитанский, Иосиф... Лидия Корнеевна, Олег Васильевич... хватит! Можаяв.

Переплетаю век Двадцатый —
Зиянье вырванных страниц...
Десятилетия на заплатах
Уходят с прочерками лиц,

Убитых, спившихся, опальных,
Не описавших ничего —
Уходят... золотом сусальным
На оглавление его.

Век, как вдова, переживает
Мужей, любовников своих,
И на детей перешивает
Все, что изношено у них.

Под вуалеткой погребальной,
С облезлой муфточкой страстей.
Под звон колоколов кандальный,
Ты, век двадцатый, маргинальный,
Слез крокодилийх лить не смей.

Март 1996

Воспоминания соучастника

Старый араб, с которым я однажды оказался рядом в самолете по пути из США в Европу и с которым мы едва ли обменялись парой слов за всю дорогу, удивил меня, попрощавшись так, словно мы были если и не родственниками, то уж во всяком случае близкими друзьями. Такова, оказывается, древняя традиция Востока: люди, совершившие вместе долгое путешествие, считаются почти родными. Даже слово у них такое есть специально для этой степени родства, вроде как у нас кумовья и сваты, только я его тут же забыл. Конечно, традиция эта сложилась не во времена гражданской авиации и теперь выглядит довольно нелепо, но что-то в ней есть. Будь то совместно проделанный путь, общее испытание или вместе проведенное время, какой-то общий отпечаток остается. Нам, правда, по нашей судьбе, более понятно это в отношении солагерников, сокамерников, поделельников, а в сущности — какая разница? Так ли, сяк ли — соучастники...

Вот и сейчас, хоть нас с Максимовым связывает куда как большее за почти 25 лет знакомства, а наиболее ярко всплывает в памяти забавный эпизод — наше совместное путешествие из Парижа в Лондон осенью 1978 года. Стучилось так, что наши планы совпали: мне нужно было возвращаться в Кембридж к началу занятий, а ему — в Лондон, выступать в какой-то религиозной организации. Но вот беда: Максимов панически боялся летать после того, как много лет назад пережил авиакатастрофу, я же, наоборот, разлюбил поезда и привык летать. И правда — какой смысл связываться с железнодорожными проблемами, если от Парижа до Лондона 49 минут полета, и полеты эти — каждые полчаса?

«Да никаких проблем, никаких пересадок, — уговаривал меня Максимов. — Нас доставят в ле-жа-чем положении. Так прямо на билете и написано. С вечера сядем на Гар-дю-Нор, ровно в десять отведем, ляжем спать, а в шесть утра занавески откроем — Лондон, вокзал «Виктория». В горизонтальном положении, даже и не заметишь, как приехали».

И он убежденно демонстрировал руками это самое горизонтальное положение: вот так, на полочке. Что тут скажешь? Я согласился.

Вначале все так вроде бы и происходило: отъехали в десять с Гар-дю-Нор, легли спать, проснулись в шесть, отдернули занавеску... Дюнкерк. Ночью, оказывается, разыгрался шторм, все паромы отменили. Тем временем за ночь скопилось несколько поездов, и нас, тысячи пассажиров с мешками и чемоданами, погнали словно этап пешком через пути и пустые мокрые платформы — в Кале.

«Сволочи... — шипел Максимов. — Подонки... По судам затаскаю. Они гарантируют доставку в ле-жа-чем положении».

Кое-как, на местных электричках, с пересадками и бесконечным ожиданием под дождем, с толкотней и матерщиной, дотащились до Кале, где поездов и пассажиров прибавлялось с каждым часом. Тут уж и я стал нервничать: мне все-таки надо было успеть в начале занятий и ночевать в этом лагере перемещенных лиц совсем не улыбалось. С трудом разыскав какую-то портовую харчевню, присели в тепле, поели, выпили. Подобрали. Максимов философствовал:

«Вот, всё говорят — Россия, неустроенная, немытая... А у нас так бы все же не поступили, чтобы гнать людей под дождем, с багажом... Что у них — первый раз что ли шторм? Что, нельзя было что ли поезд задержать где-нибудь по дороге, в удобном месте? Да хоть бы теперь уж остановили движение, а то ведь все новые и новые поезда прибывают. Эдак мы никогда не уедем. И ночевать под дождем придется. Нет, что ни говори, в России люди отзывчивей к чужой беде, а здесь в чужой дом ночевать не попросишься...»

И пустился в долгие рассуждения про Россию, про то, что мы не хуже их, а они не лучше нас. Признаться, меня это тогда совсем не волновало. Напротив, все вокруг казалось мне почти чудом: ведь только полтора года назад мне и не снилось оказаться в Кале или в Дюнкерке, пусть хоть под дождем да с чемоданами. Даже толпа мокрых пассажиров завораживала своим разнообразием красок, звуков, отношений, а перспектива ночевать где-нибудь на вокзале пугала не слишком — хоть и сыро, и холодно, а все же не на нарах во Владимире...

К вечеру, однако, стали грузить на паром. Именно грузить, посадкой это назвать было трудно. Так, наверное, бежала английская армия из-под Дюнкерка в 1940-м году. Огромный паром, а по существу — многопалубный корабль, оказался набит битком, в

основном почему-то японскими студентами — не то что все места, но и полы, и палубы, и проходы. Ступить некуда. С трудом отвоевав себе местечко в уголке, уселись на чемоданах. Максимов говорит:

«Тут еще один русский объявился. Некто Вася Харитонов, парень, вроде, ничего, морячок с Дальнего Востока. Говорит, что писал тебе когда-то в тюрьму».

И правда, я вспомнил, что однажды получил открытку от совершенно незнакомого мне Васи Харитонova и долго ломал себе голову — кто бы это мог быть? Нам и от родных-то далеко не все письма отдавали. Словом, я было насторожился: случайности и совпадения по тем временам неизбежно вызывали подозрения. Вася, однако, оказался парнем вполне свойским, тихим и дружелюбным, даже услужливым, какими часто бывают люди сильно потрепанные жизнью, но вполне ясным. Из тех, кто компанию не портят. И первым делом радостно сообщил нам, что вот как замечательно все совпало, у него как раз в чемодане четыре бутылки советского шампанского. Максимов как-то странно на нас посмотрел и сказал, что пойдет подышать на палубу. Мол, пейте без меня. И с каким-то отрешенным лицом зашагал прочь через японских студентов.

Тем временем паром уже отвалил, сильно качало, и мы с Васей, кое-как примостившись на чемоданах, принялись за шампанское к явному неудовольствию японцев. Те, словно по команде, сразу же улеглись рядами на полу и стали сильно страдать от качки — ну, точь в точь сардинки в собственном соку. Наше с Васей веселье заметно добавляло им страданий, и каждый очередной стакан как бы даже синхронизировал их коллективные спазмы, не говоря уж о каждой вновь открытой бутылке. Так мне и запомнилось это путешествие: скверный вкус советского шампанского, мы с Васей за мирной беседой о Дальнем Востоке, да наши дрессированные японские сардинки. Как ни странно, шторма я совершенно не заметил — должно быть оттого, что никогда до этого не был в море и, видимо, не знал, чего следует ожидать. Ну ясно, что должно сильно качать, ничего удивительного. Тем более что Вася, морячок бывалый, и бровью не повел. Так что все казалось нормально, за исключением японцев, с которых какой же спрос? Нация хлипкая.

Словом, надо полагать, я так бы и не понял, что происходит, если бы в разгар нашего веселья вдруг не услышал по внутреннему радио объявление по-английски:

«Господина Максимова и господина Буковского просят подняться в капитанскую рубку».

Что за черт? С трудом перешагивая через японских студентов и их соки, я стал пробираться к лестнице, где обнаружил Максимова в лежачем положении и с позеленевшим, отрешенным лицом.

— Володя, пойд... Это, кажется, нас... — простонал он.

Только добравшись до капитанской рубки, я вдруг осознал всю серьезность нашей ситуации: батюшки, да уж не тонем ли мы? Даже в наступающих сумерках можно было разглядеть сквозь мокрое стекло рубки огромные серые громады волн, с ревом низвергавшиеся на наш кораблик, от чего он, взметнувшись как птица в черное небо, уходил из-под ног, точно проваливаясь в бездну. Звонили с берега по радиотелефону из той самой религиозной организации, что пригласила Максимова выступать:

«Держитесь! Мужайтесь! Не падайте духом! Мы за вас молимся...»

Их воодушевленные голоса переположили меня еще больше. Неужто тонем? А как бы еще узнали они на берегу о нашем положении? По новостям, видно, уже сообщили... С лестницы я скатился кубарем — к горизонтальному Максиму. Что делать? Тащить его к спасательным лодкам? И где эти лодки? Но тот напрочь отказался двигаться, только рукой махнул с бесконечной кротостью, будто сказать хотел: «Оставь меня, я здесь уму...»

Успокоил меня совершенно безмятежный вид морячка Васи. «Да ну, разве это шторм? — отмахнулся он. — Не бери в голову».

Мы мирно депили шампанское, а вскоре и правда качать стало меньше. Оказалось, нас отнесло к берегам Голландии, и начальство, видимо, даже хотело причалить, потому что всех попросили пройти паспортный контроль и таможенную проверку. Идея не самая гуманная, учитывая состояние пассажиров. Заблеванный народ с охами и стонами стал стекаться в назначенное место, волоча свои мешки и чемоданы. Появился, держась за стенку, Максимов.

«Сволочи... Подонки.... — хрипел он. — Какая проверка? Зачем? Что они, издеваются? А эти тоже... Западные люди... Покорные как бараны. Русские уж давно бы взбунтовались, за борт бы их всех выбросили...»

И правда, идея проверки документов у полумертвых пассажиров и мне не показалась разумной, тем более что через час проверку повторили опять — то ли сбились со счета, то ли нас отнесло уже в Бельгию...

До Лондона мы добрались лишь к утру. Посчитали: ехали мы ровно 26 часов, за это время и до Австралии можно долететь.

Последний отрезок пути, в поезде, Максимов все еще вскипал обидой и время от времени грозил судом всем кондукторам подряд, тыча пальцем в билет: ну, правда, вот и на билете написано, что гарантируется доставка в ле-жа-чем положении. Но — выпили, согрелись, потянуло в сон под звук колес, и как-то сама собой погасла злость и на железнодорожников, и на покорных им западных людей. Максимов еще долго что-то бубнил про Россию, но я, каюсь, задремал.

...А на вокзале в Лондоне нас ждала толпа воодушевленных богомольцев.

— Ну что, будем в суд подавать? — спросил я прощаясь.

— А, да ну их к...

...Давно это было, почти семнадцать лет прошло. Где-то теперь морячок Вася, где японские студенты? Максимова вот не стало. И хоть много чего потом было у нас с ним, а вспомнилась почему-то вот эта поездка. Должно быть еще и оттого, что агентство «Ассошиэтед Пресс» распространило по ошибке мою старую фотографию вместе с его некрологом. Так и разошлось по всему миру — друзья звонили аж из Варшавы, из Румынии, ехидничали: прямо по Марку Твену, слухи о твоей кончине слегка преувеличены. Я же подумал: «А что? Вполне могли мы тогда потонуть в Ла Манше. Может это с тех пор и лежала в «Ассошиэтед Пресс» моя фотография рядом с его некрологом, наспех заготовленная в ту бурную ночь, да так и забытая? Кто ж их знает? Фотография-то как раз 1978 года».

Впрочем, и без того умерла с Максимовым большая часть моей жизни, наши с ним общие надежды на то, что МЫ — не хуже, а ОНИ — не лучше. Надо полагать, общий некролог мы вполне заслужили.

*Кэмбридж
6 июня 1995 г.*

Александр КЫРЛЕЖЕВ

**ПОСТВИЗАНТИЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ**

Богословские заметки

1

Историческая судьба восточно-христианской традиции — парадоксальна. Или — по-русски — странна, «противна обыкновению». Точнее было бы, наверное, говорить, что это не para-doxos, а para-drome, то есть какой-то «бег рядом» — параллельное движение в историческом времени.

Чему же параллельна эта история, какому «обыкновению» она «противна»?

Ответ очевиден: собственно европейской (точнее, западноевропейской) истории.

Утверждение это может показаться, однако, очевидным же образом некорректным. Разве можно отождествлять историю социальную и культурную и историю церковную? Последняя имеет свою специфику и входит в первую лишь в качестве одной из ее составляющих.

Но ведь вместе с тем «общая история» оказывает и определенное влияние на историю христианской традиции. А в этом отношении восточное Православие действительно находится в особом

**Александр
КЫРЛЕЖЕВ**

— родился в 1957 году в Москве. Закончил библиотечный факультет Московского института культуры; затем Московскую духовную семинарию. Работал в «Журнале Московской патриархии», в настоящее время — сотрудник Центра по изучению религий. Автор ряда богословских и религиозно-публицистических статей. Член редколлегии «Континента». Живет в Москве.

положении. Оно живет в историческом времени, испытывая сразу два влияния извне: истории своих восточно-европейских обществ и государств и истории западноевропейской.

В XVIII—XIX столетиях православные страны одна за другой переживают процессы европеизации. На Запад уже пришло Новое время, а на Востоке под русскими снегами и турецким ярмом длилось вполне архаичное бытование, которое грелось от церковного тепла. В недрах неразделимого быта-бытия, движущегося по кругу, не вызревало ничего необычно нового. Необычное и новое пришло с Запада, вступившего в период интенсивного, то есть поступательного, исторического развития. С точки зрения тех старых «христианских ценностей», которые хранил и охранял Восток, достижения Запада были «реакционными». Однако этого нельзя сказать о христианском Западе, который пережил эпохальный религиозный катаклизм, приведший к внутреннему расколу: Реформацию и Контр-реформацию. Христианский Восток не знал ничего подобного, и «западное» пришло сюда прежде всего (хотя и не только) в своих секулярных измерениях. Именно на православном Востоке, который воспринял западный раскол как «чужую распрю», западное влияние в целом было испытано как вне-религиозное, то есть вне его связи с перипетиями западного христианства. Православным было трудно разобраться в сложном переплетении возрожденческих, гуманистических, просветительских и протестантских элементов, на которых, как на дрожжах, возшла новоевропейская цивилизация.

Идея «просвещенного Запада» в эпоху, когда меж-культурные расстояния резко сократились, стала формировать новую «культуру развития» в православных обществах, закладывая тем самым принцип парадокса и параллелизма, который в крайних своих реализациях принимал форму культурного раскола. Вслед за Россией этот процесс происходил и в других православных странах и прежде всего в Греции. Везде возникают партии «западников», связанные с властью, которые озабочены «модернизацией» страны, то есть хотят «догнать» Запад и «вписаться» в его движение вперед.

Однако для того, чтобы «вписаться», необходима не только осознанная потребность, но и внутренняя способность к самопреобразованию, к трансформации сложившегося веками быта-бытия. Сам механизм новоевропейской истории как эпохи интенсивного саморазвития не позволяет «включиться» в нее лишь посредством присвоения или усвоения продуктов чужого развития.

На европейском Западе источник развития был найден в новом синтезе христианского и античного «опыта человека» — в его интеллектуальном, социальном и религиозном измерениях. Познающая мысль, организующее политическое усилие, творческий пафос, продуктивный труд, моральный ригоризм, духовное свершение, — взаимодействие всех этих моментов и произвело на свет на исходе Средневековья новый тип цивилизации, внутренне ориентированный на постоянное самообновление. Не последнюю роль здесь сыграл протестантский принцип *Ecclesia semper reformanda*: реформа, «пре-образование» как внутренний момент существования, понятого однако не в индивидуальном только, но и в социокультурном аспекте. Западный индивидуализм (за которым часто видят только «антропоцентризм») есть коррелят социо-центризма, определившего новоевропейскую историю. На первый план выходят механизмы функционирования социального целого, само «общее движение вперед», в котором со-участвуют различные силы: философия, наука, техника, экономика, политика, культура. Отдельный человек превращается в «агента социальной истории», и его самоотчуждение, диагностированное марксизмом и так остро прочувствованное в экзистенциализме, это следствие реализации тотальной «идеологии прогресса», в которой место Бога и Его Царства заняла безличная «историческая эффективность».

Восточное христианство, не пережившее драму западноевропейской истории последних веков, оказывает сегодня не только пассивное, но и активное сопротивление западным подходам к человеку, обществу, историческому времени и природному целому мира. Люди Востока, укорененные в своей духовной традиции, склонны видеть на Западе прежде всего (а иногда и только) «отрицательные последствия» его исторического прорыва в «современность», тогда как сложное и противоречивое движение его к сегодняшнему дню, внутренние устремления, опыт побед и поражений остаются по большей части «чужими делами». Так усугубляется роковой для православного Востока раскол: между «западниками», пренебрегающими своей собственной духовной традицией, и «восточниками», пренебрегающими традицией западной. Напряжение это может временами — в силу внешних причин — ослабевать, но оно не исчезает и не сможет исчезнуть до тех пор, пока сами «восточники» не сделают серьезнейшую духовную работу по осмыслению ценностей христианского Востока в соотношении с ценностями новоевропейской цивилизации (и ее «христианскими ценностями» в том числе).

Можно сказать, что, с западной точки зрения, Православие политически реакционно и асоциально в тех восточноевропейских обществах, где западноевропейская модель развития еще не утвердилась вполне, но где уже присутствует множество элементов западной цивилизации. Собственное социальное измерение Православия осталось в прошлом: это «православное царство», византийский синтез Империи и Церкви, симфония двух властей, восходящих к одному трансцендентному источнику всякой власти — Христу-Пантократору (то есть Богу как «все-держителю», «все-властителю»). Приверженность тех православных, которые хотят «мыслить политически», этому религиозно-политическому идеалу сохраняется до сего дня, о чем свидетельствуют устойчивые монархические и этатистские настроения в современной российской православной среде. Нелишне также вспомнить о движении среди греков после освобождения от турецкого владычества, получившем наименование «Великой Идеи», которая заключалась в стремлении восстановить интернациональную, но моноконфессиональную «греко-православную» империю на Балканах.

В этом смысле современное восточное христианство представляет собой «пост-византийскую Церковь». Его социально-политический контекст меняется под воздействием современных мировых процессов, но «православный этос» реагирует на эти изменения в целом отрицательно: они воспринимаются как насильственное искоренение целостного «византийского образа жизни», инспирированное безрелигиозными антиправославными «западниками». Об этом свидетельствуют сохраняющие свою религиозную значимость символы Константинополя как второго Рима — в греческой Церкви (кафедра Вселенского патриарха остается в Стамбуле), и Москвы как третьего Рима — в Церкви русской.

Современность присутствует в нашем «восточном» обществе в своих вне- и без-религиозных содержаниях (эффектом этого присутствия является, в частности, и вытеснение религии в область частных пристрастий, «свободного выбора»). Но современность отсутствует в религиозной сфере жизни, которая никогда не проходила через события, порождающие современность, не участвовала (пассивно или активно) в них, всегда оставаясь вне этого «родового процесса». На глубине своей, уходя от поверхности, Православие встает в оппозицию к современности как таковой. По существу это и определяет особенность нынешнего состояния Восточного Православия.

Для того, чтобы лучше понять это состояние современного православия, попробуем обратиться прежде всего к его действи-

тельным духовным сокровищам, к подлинно значимому в его живом предании.

2

Поставим для начала вопрос так: что осталось к сегодняшнему дню от восточного христианства эпохи его «византийского расцвета», его «средневековой целостности»?

Сегодня в нем сохраняются три области религиозной жизни:

- (1) литургическая практика («византийское богослужение»);
- (2) аскетическая практика (мистико-аскетическая традиция);
- (3) богословская теория (в греческом смысле духовного созерцания).

Вот три столпа, на которых стоит здание нынешнего живого и действующего Православия и которые свидетельствуют о преемственности опыта. Все, кто обращает сегодня свой испытующий взор к восточно-христианской традиции, обнаруживают в ней именно эти измерения — именно их и ценят, в них и находят ответы на свои духовные вопрошания, реализуют свою религиозность. Подтверждений тому множество — и на Востоке, и на Западе. Эти три несомненные «истины Православия» составляют его особый религиозный вклад в современное христианство.

Но вот тут и возникает вопрос: какое место эти ценности Православия занимают и могут занимать в совокупном экзистенциальном опыте современного человека? В том опыте, который по необходимости включает в себя и множество иных измерений — социальных, политических, профессиональных, сексуальных, интеллектуальных, общекультурных? Как религиозные измерения «работают» в общем пространстве человеческого существования в современном мире?

Сегодня Церковь — это прежде всего храм; именно сюда приходит человек, идущий в Церковь. Здесь совершается то, что можно назвать «ритуальными действиями», кульминацией которых является принятие всеми участниками Дара от Бога, а именно — принятие Его Самого, питающего Собой всех, кто пришел на устроенную Им трапезу, на «пир веры». Литургия предполагает вхождение ее участников в некоторое параллельное обычному миру измерение, где Бог — Царь, а все участники — подданные Его Царства. Вместе с тем в своем глубинном замысле литургия — это такой выход из повседневного мира в «пространство Богооб-

щения», за которым следует возвращение в обычный мир, но уже в ином состоянии, в ином «качестве» носителей нового опыта, отсутствующего в горизонте обыденного существования.

Отметим при этом, что литургия — это не просто некое «разовое событие», но «разовое событие», которое повторяется и которое всегда «одно и то же». Литургия предполагает определенный литургический ритм, который создает для ее постоянных участников параллельные секулярному календарю литургические циклы — недельный и годовой (воскресные дни, праздники, посты и т.д.).

Отметим, наконец, и такой важный момент, что визуально (и вообще — «чувственно») литургия по сути своей является «роскошным» действием, всеми своими чертами и самыми своими «излишествами» свидетельствующим о том, что происходящее никак не связано с обыденным опытом человека, с прагматизмом его социального существования. Поэтому основная проблема человека, участвующего в Евхаристической литургии — как воспринять ее содержание таким образом, чтобы со-участвовать в ней, оставаясь самим собой? И эта проблема приводит его в другую область религиозной жизни — в область аскетической практики.

На первый взгляд аскетика (как «наука» монахов-аскетов) не имеет прямого отношения к «среднему» члену Церкви, участнику литургии. Однако тот факт, что Православие не расценивает максимальный мистико-аскетический опыт как экстраординарный, но включает его в объем своего предания, — не случаен. Конечно, между «христианином» и «монахом» нельзя ставить знак равенства, да и далеко не все святые были монахами. Но духовный максимализм здесь есть прежде всего указание на предельные цели христианского пути каждого человека. Если «норма» так высока (а попросту — недостижима для «среднего» человека) — значит, вся его религиозная жизнь должна быть движением, динамичным преодолением любых поддающихся фиксации состояний: в духовной сфере нет близких и достижимых целей. С другой стороны, максималистская установка указывает на то, что принципы и «механизмы» духовной работы на разных ступенях — тождественны. Так называемый «новоначальный» призывается не к экстатическим состояниям, но к определенным духовно-практическим установкам и способам приложения духовных усилий, конгениальным максимальному опыту святых.

Это прежде всего касается установки на так называемое постоянное «презвение», то есть отслеживание произвольных

душевных и телесных движений и выявление определяющих тенденций в душевной жизни. Это особая «техника» — не самокопания, а как бы некоего стояния на грани перед Лицом сокрытого Бога, то есть направленная открытость или, точнее, усилие самораскрытия: молитва. Чтобы молитва могла быть — в пределе — непрестанной, она свертывается до одной ключевой фразы, произносимой безмолвно — так, чтобы ее можно было практиковать в любых условиях. Повторение одной молитвенной формулы способствует сосредоточению внутреннего внимания, вхождению в состояние «предстояния» перед Богом, «чистой» открытости Богу, которая в себе заключает возможность нового опыта, то есть возможность «расслышать ответ».

Все эти известные в Православии принципы основного аскетического «делания» — молитвы — указывают на норму личной молитвы вообще. И, таким образом, аскетическая молитва вместе с литургической (общинной) молитвой задают основное «пространство» обращения к Богу в православной традиции.

Что же касается третьего столпа Православия — «мистического богословия», опирающегося на творения древних святых отцов и учителей Церкви, — то оно вырастает из аскетического и литургического молитвенного опыта и является его теоретическим выражением.

Напомним, что святоотеческая эпоха была эпохой «христианского эллинизма», воцерковленного мышления греческого Востока, исторически разошедшегося с мышлением западным. Последний бой это собственно «православное» богословие дало Западу в XIV веке, когда в лице Григория Паламы отвергло рационалистические подходы к богопознанию и попытки недолжным образом использовать античное эллинское мышление (в частности, томистскую схоластику). Паламитские споры, сотрясавшие Восточную Церковь всего за столетие до падения «православной империи», вскрыли внутренние потенции православного богословия, но вместе с тем обнаружили и характерные его черты: с одной стороны, это богословие прочно связано с аскетическим опытом, а с другой — остается нечувствительным к феномену социальной истории, к проблеме культуры как таковой.

Следствием этого является и то, что собственно экклезиологическая тема, которая была упущена в святоотеческий период в силу своей неактуальности (Церковь и Империя шли навстречу друг другу и наконец соединились в «симфоническом» аккорде),

спустя столетия была выявлена как проблема, не имеющая готовых решений в патристическом наследии.

3

Все обозначенное выше — это различные аспекты восточно-православного церковного сознания. В целом же это сознание можно было бы кратко описать следующим образом.

Церковь есть воссоздание Рая. Христос восстановил на земле путь Авеля, Сифа и Еноха. Христианин обнаруживает себя в средоточии искупленного, преображенного Космоса, пронизанного Божественными энергиями. Он стоит лицом к лицу с Богом Живым и непосредственно переживает Его близость. В тепле любви и в лучах «умного света», от Бога идущих, растворяются тяжесть и боль бытия-в-мире — того бытия, которое для христианина есть крестный путь страданий и подвига. Призвание человека — соединять Вселенную с ее Творцом, уже в этом веке участвуя — через дары Духа — в «Божественной природе».

В чем основной отличительный признак этого подхода и этого опыта?

В том, что путь из мира греха к «фаворскому» Богу идет мимо «срединного царства» культуры, в обход «Каиновой цивилизации». По существу, Церковь отказывается участвовать в двусмысленности социальной жизни, иметь дело с «проблемами», которые могут решаться только частично и только «на время». Православное сердце отдано безусловному — «единому на потребу». И это означает, что все «условное», конвенциональное, только исторически оправданное остается за рамками богословия и существенной заботы Церкви. Поэтому-то непреходящей парадигмой духовного пути христианина и является путь монашеских отрешений. Аскетическая установка не есть суд над миром — мир сам себя осудил, продолжая идти по пути цивилизации, мирской политики. Монах отрицает мир в целом — как тупиковый способ существования. Но он отрицает его волевым решением именно через отречение, а потому и отказывается выносить суждения относительно конкретных «феноменов» того мира, которому оставлено идти своим путем.

То же самое делает и богословие, которое по существу лишь теоретически обобщает духовный опыт «отрешенцев», «подводит базу» под определенную духовную практику. Эта позиция индивидуального волевого отрешения неуязвима, так как она не

является всеобщей обязательной нормой, а задает лишь тон, максимально поднимая планку. С высоты святости, которая есть опыт любви, победитель в духовной брани смотрит на мир с бесконечным состраданием к каждому живому существу, молитвенно желая ему лучшей доли и не давая никому возможности удовлетвориться духовным компромиссом со «стихиями мира». Культура всегда двусмысленна, цивилизация — непоправима... Те, кто открыл для себя благость Творца и Искупителя, могут «покрыть грех брата», но не в состоянии примириться с тем, чтобы он жил «с грехом пополам». Бог стал человеком, чтобы человек мог стать богом. Не меньше.

Учитывая эти родовые признаки восточно-христианской традиции и вновь обращаясь к современной «европейдной» мировой социокультурной ситуации, приходится констатировать, что подлинные «ценности» Православия сегодня являются одновременно и его «бедами».

Действительно, в целом неоспорима значимость восточного христианства, его живого предания для сегодняшнего христианства — прежде всего для тех западных Церквей, которые ищут и находят на Востоке забытое или утраченное в собственной традиции. Православие обладает особым духовным знанием. Но касается оно только мистического измерения Церкви: «Бог да душа» — в храме, в келье, в богословской «феории»... Это очень много и очень мало.

По существу, Православие предлагает современному человеку религиозное отрешение. Православие знает, что такое церковное Предание, *traditio*, передача духовного опыта, чаще устная, непосредственная, чем «писаная». Но оно почти не знает Истории, нечувствительно к исторической эволюции христианской цивилизации. Православие как традиция, в сущности, паразитирует на Истории: пользуется ею в своих — духовных — целях, но не хочет принимать ее всерьез даже тогда, когда Церковь стремительно сокращается до «малого стада». Именно поэтому в православном сознании (русском прежде всего) так мирно сосуществуют две «историософские» интерпретации исторического настоящего мира, без всякого затруднения чередующиеся в зависимости от настроения и внешних условий: это, с одной стороны, интерпретация «апокалиптическая» и, с другой, миф о близком возрождении и расцвете «православного царства» («Святой Руси»). Их объединяет то, что в обоих видениях будущее свершает суд над «безбожной современностью»: или через восстановление «право-

славных начал», или через окончательное упразднение начал «неправославных».

Однако для более глубинного, «чистого» православного сознания исторические судьбы мира вполне безразличны. У него нет с миром культуры общих тем и общего языка. «На небесах» история уже закончена, потому что предопределена. Пусть святой еще освящается, а грешник оскверняется — бесславный Конец цивилизации, заложенной Каином и каинитами, неизбежен, и его устрашающее зарево отбивает духовный вкус и охоту к каким бы то ни было разговорам с «миром сим».

В чем «грех» такой религиозной установки, такого понимания традиции, которое трудно согласовать с Евангелием?

В том, что забыты, оставлены вниманием заблудившиеся овцы — а их теперь уже 99 против одной незаблудшей. В миссионерских поисках этих «безбожных» овец Церковь была бы вынуждена увидеть в каждом внешнем или отпадшем человека, драгоценного в очах Божиих, и вступить с ним в диалог. А для этого — искать общий язык, многие языки, отвечать на справедливые обвинения в свой адрес, брать ответственность за прошлые поколения христиан, проверять себя и каяться в своих общецерковных (не индивидуальных «монашеских») исторических грехах. Она вынуждена была бы посмотреть на себя глазами современного безбожника...

Установка на «религиозную отрешенность» и есть установка на *параллельное существование Церкви в современной культуре*. Входя в молитвенную келью или в храм, человек выходит из обычного социального пространства; выходя из церкви — входит во враждебный нецерковный мир. Религиозный максимализм, господствующий «внутри», не побуждает к поискам и находкам духовно значимого во «внешней» культуре. Если православные христиане и питаются «культурными ценностями» и «достижениями цивилизации», то по существу незаконно, по «попущению», по склонности к греховному смешению с миром. Последовательные люди сокращают сферу общения с нецерковным миром до минимума, до «наименьшего зла». Идеал — это именно монах, затворник, старец, не выходящий из кельи, порвавший прежние профессиональные, родственные, социальные, имущественные и иные связи. Очевидно, что для монаха это нормально, а для других, для всех?..

В старое, «христианское», время монастыри были духовными очагами, изнутри, «из-за стен» свидетельствовавшими о максимальном призвании человека-христианина, притягивавшими

«теплохладных», которые замерзли в мире. В нецерковном, секулярном, обществе подобного рода миссионерство не работает. Традиционное православное монашество не знает так называемой «внутренней миссии». Кто же должен сегодня ее осуществлять, если наиболее сильные члены Церкви не выходят из кельи?

Конечно, в православных странах эта «притягивающая» сила Церкви до какой-то степени продолжает действовать. Но лишь в отношении тех, кто менее всего втянут в секулярную современность. Здесь существует культовое благочестие, которое «воспроизводит» какое-то число верующих, наполняющих храмы. И активное, духовно ищущее меньшинство, погружаясь в свою родную традицию, доходит до духовных сокровищ Православия, до монастырей и старцев. Но Церковь в целом живет по инерции. Миссионерского отношения к реальному миру конца XX века в ней не возникает. История идет мимо.

В результате для современного секулярного человека глубинный опыт православной Церкви оказывается невыраженным, по существу «невербальным». Он видит икону, литургический ритуал, лик аскета... и принимается за обычную жизнь-выживание, за «модернизирование» своего отсталого общества, пытаясь догнать Запад. Человеку непонятно, каков должен быть эффект от участия в духовной жизни для его обычной жизни в обществе и культуре. Да, многие согласны, что Православие это «наша древняя история», «наше славное прошлое». Однако встречи Православия с цивилизацией не происходит.

А на Западе? Что произошло там? Почему «православная миссия» имела там успех (пусть количественно и не такой значительный — но суть не в количестве)?

4

Если встреча Православия с Западом на самом Востоке приводила по большей части к «псевдоморфозе», то есть к восприятию им чуждых стилей и форм, чуждого языка и нередко чуждых «содержательных» влияний, то в XX веке встреча Православия с Западом, происходившая на Западе, в православной диаспоре, дала совсем иной результат: она не только помогла раскрыть и осознать подлинные ценности восточной традиции, о которых шла речь выше, но имела следствием и новый опыт — как минимум в двух измерениях. Во-первых, это была практическая (индивидуальная и церковная) со-стыковка православного опыта

и современной цивилизации; во-вторых, теоретически православное богословие обратилось к новым темам и вскрыло (или воссоздало) дополнительные элементы, имманентные православному Преданию.

Православные иммигранты, по разным причинам осевшие в Западной Европе и Америке, в церковном отношении оказались между двух огней.

С одной стороны, православие было неотъемлемым элементом той культуры, из которой они вышли, и именно через Церковь они поддерживали связь с родной землей или — для последующих поколений — с исторической родиной. Однако симбиоз церковного и культурно-национального, казавшийся совершенно естественным «дома», в чужих краях обнаружил свою двусмысленность. Столкновения или, наоборот, взаимное равнодушие различных православных юрисдикций, образовавшихся за пределами «канонически православных территорий» по этническому признаку, указывал и на то, что в православной среде национальное берет верх над собственно церковным. Люди с более или менее глубоким церковным сознанием восприняли это как искажение истины Церкви.

С другой стороны, православные оказались на Западе в окружении «ино-славных» христиан и, в то же время, в недрах современной секулярной цивилизации. Они были пришельцами, «экзотическими» христианами с Востока, которым — в первом и втором поколении — надо было создавать свою Церковь почти «из ничего», но создавать одновременно с вживанием в западный социокультурный контекст и выживанием в нем. Даже священники, которые на православном Востоке традиционно были сословием, теперь были вынуждены, как правило, или совмещать свое церковное служение со светской профессиональной деятельностью, или (позднее) рекрутироваться из мирян (так что, приняв священный сан, они профессионально оставались «мирянами»).

Православных на Западе поджидало много опасностей: забвение «веры отцов», переход в другие конфессии, впадение в состояние крайней религиозной нетерпимости или же, наоборот, полного равнодушия к иным христианским традициям, превращение церковных общин в национальные «землячества»... В той или иной мере все это имело и имеет место. Однако знаменательным и наиболее важным является тот факт, что многие избежали этих искушений и нашли собственно церковный путь в новых условиях. Опыт жизни в диаспоре выдвинул на первый план новую богословскую тему — православную экклезиологию (уче-

ние о Церкви), которую Вл.Лосский назвал «главной догматической темой нашего времени».

Поиск церковности, которая была бы свободна от этницизма — юрисдикционного или культурного, привел к необходимости заново отвечать на вопрос: что такое Церковь? И что такое именно Православная Церковь? В древней патристической традиции готовые ответы на этот вопрос найти невозможно, так как в позднеантичную и византийскую эпохи вопрос о Церкви не ставился так, как он по необходимости ставится сегодня в новых исторических условиях. Для того, чтобы определить, что такое Церковь, нужно обнаружить ее пределы и таким образом выяснить, что такое не-Церковь, где грань, ее отделяющая от всего остального, «внешнего», и каковы, собственно, признаки церковности?

Старое представление о Церкви может быть выражено целым рядом разрозненных определений: Церковь — это «мистическое Тело Христово», церковная иерархия, культ (богослужение в широком смысле), «религия православных народов» (и, соответственно, религиозные департаменты православных государств), объединяющая национальная идея, духовная традиция подвижничества и святости...

Новое представление о Церкви (несколько утрируя для контраста) можно было бы обозначить как «православный конгрегационализм». Этот заведомо неадекватный термин, который я поясню чуть ниже, выражает, однако, тот подход к проблеме, который и определил современную православную экклезиологию.

Какой визуальный образ предшествует всякой попытке теоретического определения Церкви в православных странах?

Конечно, храм, в котором священник неукоснительно, «по расписанию», совершает богослужебный ритуал.

А в условиях православной диаспоры?

Конечно, сами православные, собравшиеся совершить литургию в праздник или в воскресенье, то есть группа людей, образовавшая в каком-либо городе, куда их занесла судьба, свою православную общину. Съехаться, сойтись из разных мест, из разных социальных слоев и профессиональных сфер, чтобы совершить Евхаристию и приобщиться одному Хлебу и одной Чаше это и значит практически «создать Церковь». И, как следствие, — соединить разные судьбы, поколения, интересы, языки.

Церковь — это прежде всего «литургическое собрание» («конгрегация»), ставшее постоянным. Где оно совершает время от времени богослужение, кто служит в качестве священника, в какую юрисдикцию эта община входит, — все это уже вторично, даже случайно. И если все это произошло, то небольшая группа людей в несколько десятков человек или даже меньше, которая стала церковной общиной, постоянным Евхаристическим собранием, уже действительно может писаться с большой буквы: Церковь, а не просто «церковь», как раньше (то есть одна из сотен и тысяч церквей-храмов, разбросанных по православным землям).

Все это не означает умаления «мистического аспекта» Церкви, который не зависит ни от места, ни от времени, потому что Христос всегда, везде и во веки — Тот же. Это просто описание опыта, из которого выросла новая православная экклезиология, не содержащая в себе никакой «вредной новизны», потому что все это в принципе уже было в истории Церкви первых столетий. А поэтому святоотеческим основанием этой экклезиологии стали свидетельства ранних отцов — тех, кто жил и писал в до-константинову эпоху.

Эта экклезиология (точнее новые аспекты и акценты экклезиологии как таковой) не могла быть выявлена и выдвинута на первый план в византийскую эпоху, или «под турками», или же в Московском православном царстве, а тем более в эпоху «синодальную», так как тогда «внешнее» Церкви, сам исторический контекст ее бытия был иным.

В нынешнем веке, в эпоху секуляризации восточных обществ и расширения православной диаспоры на Западе, новое переживание членства в Церкви как особого, существенного для христианина измерения его вполне светского обыденного существования (в постхристианской культуре и в без-религиозном обществе) стало причиной поворота в православном церковном сознании, которое обнаружило много общего и с опытом христиан других конфессий.

Так появилась на свет так называемая «Евхаристическая экклезиология», связанная с именем «русского парижанина» о.Николая Афанасьева. В ней Евхаристическая литургия была вновь понята как сакраментальная Трапеза Господня, в которой участвуют «на равных» все полноправные члены литургических церковных собраний — участвуют от начала и до конца; более того, которую совершают все сообща — все собрание. Это был возврат к древнему литургическому воскресному ритму, к осмыслению

всех частных «тайнств» (воспринимаемых раньше индивидуалистически) как аспектов единого Таинства Церкви, средоточием и апогеем которого является Евхаристия.

Следующим богословским шагом стало «литургическое богословие» — осмысление всех богослужебных актов как деяний всей местной Церкви, неразрывно, «органически» связанных с общим «вероучением» и частным «благочестием». Все эти странные, непрактичные действия, которые совершают серьезные люди XX века, собираясь по воскресеньям «в церковь», нужно было понять и соотнести с повседневной житейской практикой, освободить от благочестивого автоматизма, от «ритуальности», то есть таинственных, а потому уже вполне бессмысленных сакральных жестов и церемоний. То описание — и понимание — литургии, которое было дано выше, могло возникнуть только из этого нового опыта, нового осмысления богослужебной практики. «Отец» православного литургического богословия о.Александр Шмеман был сначала «русским европейцем», а затем «русским американцем». Отправляясь от богослужения, он вышел в «экклезиологическое пространство» и продемонстрировал возможность и необходимость синтеза различных аспектов церковного опыта, в котором литургия — только один, но существенный аспект.

Следующий шаг был движением в глубину, к основам христианского религиозного сознания в область богословской онтологии. Экклезиологическая проблема привела современную православную мысль к первичным вопросам: что такое бытие — Бога, мира, человека?

Ответом стала богословская персонология, выявленная путем анализа патристического богословия. Ключевым понятием, объединяющим такие темы, как Бытие, Человек, Церковь, стало понятие о «личности», «ипостаси», персоне. Отправляясь от фундаментальных догматов о Боге-Троице и Христе-Богочеловеке, богословская мысль приходит к тому, что можно назвать «догматом о человеке» и «догматом о Церкви», причем два последних оказываются неразрывно связаны. Более того, речь идет скорее о едином представлении о «личности-в-общении». Человек есть личность, или ипостась, и он — потенциальный член Церкви как «ипостасной общности», или «общения личностей в Боге». Богословский персонализм определяет как антропологию, так и экклезиологию. В противовес старым индивидуалистически-натуралистическим представлениям о человеке и Церкви, в данной

концепции (по существу созданной греческими отцами) все безличное поставлено на подобающее ему второе место — после личностного. «Ипостась» первична, и именно ипостасность определяет «природу человеческой природы», то есть сам способ существования каждого в качестве «человека по образу Божию», человеческой личности по образу Личностей Божественных. «Индивидуум» же — это всего лишь своего рода «жизненный мир отдельного человека», замкнутый на себя; он есть антипод «ипостаси», которая выражает эк-статический, «открытый» способ существования человека, стремящегося «вполне быть человеком» и достигающего этого только в общении с другими личностями.

Традиционные образы «тела» и харизматического «огня» сами по себе оказываются недостаточны для того, чтобы выразить существо Церкви как «ипостасного общения». «Церковь» есть способ существования многих личностей в качестве «собрания, со-званного Богом». Человек не только микрокосмос, но и микросоциум; однако Церковь есть социум, динамически строящийся не по стихиям «мира сего», но по образу Троицы как «истинного ипостасного социума», живущего по законам личностного общения. Пространство личного отношения является собственно церковным пространством, именно в нем Церковь — «есть» и «действует». Однако в Церкви меж-человеческое общение приобретает принципиально иное качество: оно раскрывается как личностное общение не только «по горизонтали», но одновременно и «по вертикали».

Христианский мистический опыт предстояния Богу и молитвенного общения с Ним вскрывает измерение глубины в самом человеке — тот способ существования, который и есть «бытие-в-общении». Бог Своим присутствием вступает в пространство меж-человеческого общения, объединяя Собою и в Себе и тем самым придавая Церкви подлинный бого-человеческий объем. Церковь — общение лиц, среди которых как человеческие, так и Божественные ипостаси. Именно Ипостасный Троиединый Бог утверждает человека в качестве личности, не сводимой ни к каким безличным «началам», будь то Бытие или Ничто.

Что дает эта персонологическая концепция?

Она позволяет объединить в едином видении два аспекта церковного опыта: сакраментальный, то есть безличный, «объективный», и мистико-аскетический, то есть личностный, «субъективный». Церковь как Литургия, совершаемая общиной, и Церковь как Таинство, совершаемое Духом Святым, есть та же Церковь,

что и Церковь святых аскетов, уединенно совершающих свой подвиг духовного восхождения. На место индивидуумов-прихожан, приходящих в церковь по индивидуальной нужде за индивидуальным освящением, а также на место индивидуумов-подвижников, индивидуально спасающих свои индивидуальные души, приходят личности — человеческие ипостаси, находящиеся в личном отношении к Богу и в личном отношении ко всем другим личностям. Церковь есть не «мистическая» (таинственная) связь крещеных индивидуумов, но личностный образ существования в мире — перед Богом.

Этим восстановлением богословского понимания личностного статуса человека мы обязаны о.Георгию Флоровскому и Владимиру Лосскому, а на следующем этапе — современным греческим богословам Иоанну Зизиулосу и Христосу Яннарасу.

Однако возникает вопрос: что дает богословская персонология в той проблемной сфере, которую можно обозначить оппозициями: Церковь—мир, Православие—современность?

Утверждение в экклезиологии первенства личностного по отношению к безличному (а значит примата «человеческого» в Церкви по отношению к сверхчеловеческой «сущности», к «общему» и «единому», в котором отдельный человек растворяется) позволяет адекватно реагировать на современность и вступать в диалог с ней.

Старая православная богословская мысль противопоставляла западному индивидуализму (равно как и институционализму) натуралистическое представление о «соборности» и «общинности», в котором органическое поглощает человека, неорганического по определению, а историческая романтика по существу отвергает сам факт новоевропейской истории. Эта линия, идущая от Хомякова («Церковь — организм любви») к позднейшей русской софиологии и абстрактной концепции всеединства, в XX веке — в отношении конкретной социокультурной реальности — может порождать, однако, либо романтическую утопию, либо «реакционную», реставраторскую политику с ярко выраженным антисовременным и антизападным акцентом. Но «Запад» — это не география; «современность» распространяется по всему миру и проникает на православный Восток.

Любые анти-индивидуалистические органические концепции всегда останутся коррелятом самого индивидуализма и не смогут ни решить его проблем, ни предложить такое понимание человеческой общности, которое не было бы в то же время анти-человечным. Единственный путь — различение «индивидуума» и

«личности» и, соответственно, введение новой системы координат. Именно эту задачу и выполняет богословская персонология, которая может давать ответы на экзистенциальные вопрошания о человеке, намечая путь преодоления индивидуализма, но не отрицая при этом его несомненной правды.

Эта правда касается самосознания новоевропейского человека как гносеологического и исторического субъекта, как «суверена», а поэтому полноправного и активного члена общества — то есть свободной ассоциации независимых индивидуумов. При всех своих пороках это самосознание было и остается «двигателем истории»; оно выражает императивность социальной и духовной свободы для современного «европейского» человека, полноценный статус каждого человеческого существа, противящегося любым формам политического и идеологического тоталитаризма, отвергающего любые «тотальности», готовые подчинить и поглотить «единичные экзистенции».

Богословие личности не предлагает новых «тотальностей»; напротив, оно исходит из того святоотеческого понимания Троичного Бога, которое отрицает первичность «общего» и «тотального» в Нем. Безличному и анонимному индивидууму оно противопоставляет ипостась — лицо, открытое другим лицам. Общность оно понимает как синергию — свободное общение личностей. Соответственно, христианское призвание к созиданию Церкви и участию в ней здесь осмысливается не органически, и не организационно, но персоналистически. В Церкви никто не только не теряет статуса свободной личности, но каждый призван и обязан сознательно реализовывать именно тот личностный способ существования, который и есть «образ Божий в человеке». Есть некоторое соответствие между социальным и церковным способами человеческого взаимодействия: современное православное богословие личности предлагает путь углубления и восполнения новоевропейского индивидуализма, но отнюдь не простое его отрицание во имя «истинной общинности» тоталитарного типа.

5

Таким образом, в нынешнем веке три живые составляющие православного наследия — литургическое «действие», аскетический опыт и «мистическое богословие» — были существенно восполнены экклезиологией и персонологией, укорененными в

раннехристианском опыте и патристическом предании. Было сделано несколько шагов навстречу проблемам, с которыми столкнулась Церковь, оказавшись в недрах современной «западной» цивилизации. Оказалось, что православная позиция совсем не обязательно должна быть в принципе анти-современной и что она может быть плодотворной для решения сегодняшних вопросов. Этим объясняется относительный миссионерский успех Православия на Западе. Многие люди — христиане других конфессий и просто неверующие — смогли воспринять «православное благовестие» и стать членами Православной Церкви, оставаясь при этом — социально и культурно — полноценными членами современных «европейских» обществ.

Было бы, однако, совершенно неверно определить «западное православие» как либеральное (что нередко приходится слышать на Востоке). Такой взгляд, как правило, характерен для тех православных, которых можно с полным правом назвать православными фундаменталистами. На самом Западе православие является одной из самых «традиционалистских» и «консервативных» христианских традиций. Весь вопрос в том, как интерпретировать Предание Церкви, избегая при этом заранее заданных оппозиций «традиция—новаторство», «охранительство—творчество», «реформа—контр-реформа».

Нельзя пытаться разрешить сегодняшний конфликт между Церковью и секулярной культурой, не признав самостоятельной значимости «естественной» (безрелигиозной, постхристианской) человеческой культуры, которая, несмотря на все ее искажения и грехи, создавалась «богообразными существами». Этому всем своим творчеством учат отцы Церкви как доконстантиновского периода, так и классической эпохи «христианского эллинизма». Христос пришел в мир культуры — в Город, в цивилизацию, а не в пустыню — к варварам и дикарям. «Полнота времен», которой Евангелие характеризует момент Его прихода, относится не только к «исполнению» еврейской Священной истории, но и к состоянию античной греко-римской цивилизации, которая к этому времени достигла апогея своего развития и уже заложила все камни в основание будущей христианской Европы. Христос пришел не в Иудею — маргинальную римскую провинцию, но в «ойкумену», в социальный универсум, который предстояло преобразовать Его апостолам и последователям. Он пришел не для того, чтобы возродить путь Авеля, Сифа и Еноха, «взятого на небо», но чтобы в единственную реальную Каинову цивилизацию внести новое измерение, открыть путь спасения для всех

людей, вовлеченных в историю мира, в социальную и культурную жизнь.

Всякая культура содержит некий «духовный субстрат», некоторый уровень духовной жизни как таковой, нечто подобное тиллиховскому пониманию религии как того, что «касается человека безусловно». Это «религиозное место» можно обнаружить в различных областях культуры, в духовных движениях, школах мысли и направлениях искусства, а также в социальном реформаторстве и политических идеологиях. Не анализируя конкретные формы, в которых проявляется религиозная энергия, не вникая в суть дела, не овладевая секулярными языками, Церковь не может сообщить свою Благою весть людям, к которым она обращается — и должна обращаться в соответствии со своей апостольской, миссионерской природой.

С другой стороны, современные члены Церкви, которые одновременно являются членами современных обществ, также остро нуждаются в богословии культуры, то есть в конструктивной критике культуры из опыта Церкви, которая позволит не только «пользоваться» культурой, но и жить в ней, говорить на ее языках, участвовать в культурном творчестве, не входя в противоречие со своей верой.

Граница между «миром» и Царством Божиим проходит через каждого человека. Христиане призваны освободиться от тирании «мира» и преодолеть его искушения в себе самих — через синергию с Богом. Процесс этот бесконечен, но может быть результативным (Христос говорит: «Мужайтесь, Я победил мир!»). В «мире» нет ничего внешнего, что бы не содержалось в каждом из нас. По существу невозможно «выйти из мира» — отречение от мира всегда условно: это — установка. Но и для тех, кто не идет по пути традиционного монашества, эта установка сохраняется как необходимая составляющая христианского пути вообще. «Миряне», то есть те христиане, которые живут в обществе в качестве его полноценных членов-участников, призываются к тому, что называется «внутренним монашеством»: к позиции отстранения от обычного для «мира сего» способа существования, что не означает самоустранения из социальной и культурной сферы. И здесь очень важно, чтобы Церковь не имела какой-либо «сущности», «массы», «веса», не была понята как вне-личностный феномен, имеющий внешние социальные, политические и религиозные параметры, и соответственно свои «интересы» — корпоративные, конфессиональные, финансово-хозяйственные. Церкви

нет вне и без личностей, которые ее составляют; все остальное, необходимое для существования во времени и пространстве этой «динамической ипостасной общности», служебно, второстепенно... Церковь даже не какая-то законченная «литургическая община», а всегда заново создающееся «собрание христиан, предстоящих Богу Живому»...

Строго говоря, невозможно «ходить в церковь», но только — сообщая **быть Церковью**, все время строить ее... Только тогда церковный опыт становится силой, способной трансформировать жизнь личностей во всех ее аспектах, всему придавая новые смыслы и все окрашивая в новые цвета. Эти смыслы будут умирать, цвета — тускнеть, и поэтому необходим литургический и аскетический ритм участия в созидании Церкви: чтобы возвращалась ясность и яркость «граничного» опыта встречи с Богом — опыта новых встреч с Богом, всегда уникальных, единократных, «разовых»... Только ради этих личностных встреч — «келейных» и «соборных» — и существуют в Церкви организация, иерархия, литургия, таинства, аскетические практики, нормативные священные тексты, вероучительные формулы, богословские теории, «житийные» пути ее отдельных членов, символы и образы, язык слов и жестов... Сами по себе все эти «религиозные средства» не пользуются нисколько.

Сегодня Православие — чтобы быть верным своему Преданию — должно освободиться от фундаменталистского комплекса, от боязни внецерковной культуры и секулярной цивилизации. Предание есть актуализация Евангелия в истории, а поэтому постоянное раскрытие потенции духовной новизны в меняющейся культурной ситуации. Не «реформизм» и не «консервация», но живое свидетельство о «граничном» опыте Церкви, значимом для каждого человека. Это свидетельство предполагает, что и нерелигиозный опыт является человечески значимым, а также что в нем всегда существует «религиозный сектор», который — не будучи наполнен опытом Церкви — наполняется той «религиозностью», которая подвернется под руку. Это свидетельство, невозможное без диалога с современной культурой, всегда будет со стороны восприниматься то как «реформы», то как сопротивление «реформам», потому что «новое» и «старое» сосуществуют в Церкви в соответствии с ее внутренней логикой. Понять эту логику нетрудно, если внимательно всмотреться в историю Церкви, которая полна примеров «реформ» и «контр-реформ». Если история продолжается, значит принцип действия Церкви в истории остается

неизменным. О дне же и часе «конца истории» не знает никто, кроме Бога истории.

Чтобы православное свидетельство сегодня состоялось и было эффективным, православному богословию предстоит сделать еще несколько шагов. Оно должно пойти на открытую и осознанную встречу с «Западом» в тех областях жизни, которые наиболее актуальны для современного человека. Результатом этой встречи должно стать богословское осмысление самой современной цивилизации, «постмодерной» культурной ситуации, новоевропейской истории, нынешнего «перемешанного» поликультурного и поликонфессионального мира, путей современной мысли и творчества. Это предполагает создание православного социального и политического богословия, которое не будет в качестве панацеи от всех бед предлагать «византийский образ жизни» и «византийскую симфонию», то есть апеллировать к исторически изжитому опыту. Напротив, Православие, опираясь на свою экклезиологию и богословскую персонологию, может предложить иные решения современных проблем — прежде всего конкретным «современным людям», для которых «войти в Церковь» не значит «уйти в монастырь», порвав с миром культуры. В самих православных странах такое «богословие культуры» должно дать людям возможность избежать ловушки, в которую они попадают, будучи поставлены перед альтернативой: Православие или «Запад» (где Православие означает «Свет», а Запад — «Тьму»). Ведь пространство этого конфликта, усиленно навязываемого православными фундаменталистами, есть не что иное, как пространство православной миссии.

«Западу» (то есть членам современного секулярного общества) нужно христианство, а восточным православным нужен «Запад», так как никакой другой, реальной и жизнеспособной цивилизации, кроме «западной» они предложить не могут. Сегодня «западная цивилизация» есть просто тот «мир сей», в котором живет и благовествует Церковь.

Что такое этот «мир сей», мы знаем из Евангелия: он плох и хорош.

Он плох, поскольку в нем царствует Богопротивник, который есть лжец и человекоубийца (в прямом и переносном смысле); и он хорош, поскольку он поддается преображению, духовной трансформации прежде всего (а иногда и исключительно) в измерении личностного бытия, то есть в опыте людей как ипостасей, открытых Богу и другим людям.

Церковь и есть опыт инобытия людей посреди мира сего. Если подлинно церковный опыт еще воспроизводится и воссоздается христианами, значит в этом мире еще есть соль и тьма еще не поглотила евангельского света.

Сергей АВЕРИНЦЕВ

ПО ТУ СТОРОНУ «ТРАДИЦИОНАЛИЗМА» И «ЛИБЕРАЛИЗМА»

**О НОВЫХ ПУБЛИКАЦИЯХ БЕСЕД И ПРОПОВЕДЕЙ
МИТРОПОЛИТА АНТОНИЯ БЛУМА***

Давно уж это было — а никогда не забуду, как первый раз в жизни стоял на литургии, которую служил в одном из московских храмов улучивший возможность приехать Владыка Антоний. Не буду говорить, что мы чувствовали во время проповеди: он говорил, глядя нам прямо в глаза, его речь шла так же прямо в сердце, каждое слово было живым и до краев, до тяжести, до переизбытка полно смыслом... Скажу о другом: когда литургия кончилась, он стоял с крестом и оглядывал отдельно — совсем отдельно! — каждого из нас, подходивших приложиться к кресту: так, как если бы каждый был единственным, единственным в

**Сергей
АВЕРИНЦЕВ**

— родился в Москве в 1937 году. Окончил филологический факультет МГУ по классическому отделению. Член-корреспондент Российской Академии наук. Автор многочисленных работ по истории культуры, переведенных на ряд европейских языков. В настоящее время выходит в свет «Собрание сочинений в шести томах» (изд-во «РИК «Культура»).

* *Митрополит Антоний Сурожский. О встрече.* СПб, «Сатись». — 1994, 264 с.; *Таинство любви. Беседа о христианском браке.* СПб, «Сатись» — 1994, 36 с.; *Жизнь, болезнь, смерть.* Подготовка текста и перевод Е.Л. Майданович. М., Зачатьевский монастырь — 1995, 116 с.; *Человек перед Богом.* Составитель Е.Л. Майданович. М., Центр по изучению религий. — 1995, 376 с.

храме, единственным во всем мире. (А набилось нас в храм, естественно, несколько сотен, и к кресту подходили все, и он стоял с крестом до самого конца и смотрел, смотрел без усталости.) И этот сосредоточенный взгляд одновременно принимал каждого из нас в очень тесное, близкое, очень реальное общение, — и был прямо-таки пронзительно строг, требователен, взыскателен. Выдерживать его было нелегко.

Мне вспоминается этот взгляд, когда я читаю, например, в его толковании Молитвы Господней («Человек перед Богом», с. 206):

«Отец — это тот, кто [...] воспитывает строгим требованием безграничной любви, кто ни на какие компромиссы не готов идти и требует от нас, чтобы мы были тем, к чему призваны, кто не удовлетворяется ничем в нас, что ниже нашего достоинства».

Кто умеет так поглядеть, а после так вести беседу о проблемах, которые мы, безжалостно отнимавшие у него каждую свободную минутку, несли к нему, тот имеет право говорить о грозной взыскательности неустояющей любви: это не красноречие — он знает о чем говорит. Любовь, открытость — но без замазывания острых углов. Требовательность — но обращенная к сердцу.

...В наше время, как в любое, но только острее, чем в любое, все идет и не может окончиться внутрехристианский спор: между ревнителями традиционализма и старателями христианства «либерального» и «прогрессивного». Первые за милую душу направо и налево анафемствуют, вторые, напротив, уговаривают нас, как эдакие психотерапевты, избегать каких-либо «травматических» мыслей о взыскательности Божьей, о жертве, о послушании. Первые ставят на место Отца Небесного образ верховного надсмотрщика и карателя, подавливающего на букве древних постановлений, вторые — образ доброго дяди, который во время непродолжительных визитов дарит деткам сладости и не требует с них ровно ничего, да и своим присутствием их не слишком отягощает. На жаргоне наших современников первые — «репрессивны», вторые — «пермиссивны». Первым хочется, чтобы христианство не уступало идеологиям века в жесткости, в неуступчивости, в отказе считаться с личным бытием человека, и по возможности еще их превзошло, чем и доказало бы свое над ними превосходство; вторые ничем так не озадачены, как стремлением приручить Бога, сделать Его таким удобным для «плоти и крови» в нас, таким «своим» для мира сего, таким нестрашным, каким Он заведомо быть не может. «Либерализм» произвел свое имя от слова *libertas* — «свобода»; но великое достоинство свободы он низвел до «пермиссивности», до вседозволенности, которая не

шире, чем настоящая свобода, но, напротив, несравнимо меньше. Не сыновнее достоинство, а так, всего-навсего безотцовщина. Но ведь и у первых — не столько отчий дом, безошибочно отыскиваемый сердцем блудного сына, сколько единственно правильная дверь «той» конфессии, да еще и юрисдикции, которую надо среди других дверей длинного коридора угадать, словно в какой-то страшной лотерее. Открыл не ту дверь — и падаешь в бездну. (Никогда не забуду разговора с одним молодым ревнителем из интеллигентов, который с чувством глубокого удовлетворения отправив по очереди все категории инославных гореть в геенну, тотчас же затем не без надрыва сознался, что не уверен, вправду ли Русская Православная Церковь — **та**? Не у старообрядцев ли — **та**? И если да, то у какого толка?)

Крайности, говорят, сходятся. У сторон, о споре которых идет речь, вправду неожиданно встречается нечто общее. Первые часто говорят нам: мы должны стоять на незыблемых антиэкуменических позициях, **чтобы** спасти русскую державность от тлетворных веяний Запада. От вторых мы не реже слышим: надо незамедлительно стереть все грани между конфессиями, пожалуй, и между религиями, а по существу, и между верующими и неверующими, **чтобы** способствовать миру во всем мире. В обоих случаях — **чтобы**: вера как подручный инструмент.

О первых сказано: *«И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобноносимые»* (Евангелие от Луки 11, 46). Вторым сказано: *«Широки врата и просторен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими»* (Евангелие от Матфея 7, 13).

Разумеется, я позволяю себе описывать обе тенденции, какими они предстают в логическом пределе. По счастью, на плоскости эмпирической они сравнительно редко появляются в химически чистом виде*. Гораздо чаще перед нами компромиссные, эклектические варианты — немножко того, немножко другого. В конце концов, для того, чтобы стать настоящим оголтелым фанатиком или безоглядным поборником упразднения всех основ, нужна ни с чем не считающаяся решимость, какая встречается не у всех. Так что компромисс являет здесь собою наименьшее зло — хотя бы без смертоубийственных крайностей. А сердце все-таки не радо, оно хочет не наименьшего зла, а блага: такой строгости, в которой не было бы ни грана безлюбости, и такой свободы, в

* А когда все-таки появляются, то первая, естественно, скорее у нас, а вторая — в среде западных конфессий. Своими глазами читал у одной «католической феминистки»: *«...Это травматическое слово — послушание»*.

которой не было бы ни грана потакательства. Такой веры, которая вовсе не была бы идеологией, — ни «правой», ни «левой», вообще никакой.

Слава Богу, сердце находит свое. Врата адовы не одолели и не одолеют Церковь. Многим из нас есть что рассказать о пастырях, которых посылал и посылает нам Господь. Идеал взыскательной любви, идеал Православия, верного своей сущности, убедительно осуществляем разными, подчас известными миру, подчас вовсе неизвестными священниками. Они могут мало в чем походить или совсем ни в чем, кроме самого главного, не походить друг на друга. Но **общим** для всех нас — для целого ряда поколений ныне живущих русских людей — символом аутентичного, чистого Христова Благовестия, не совместимого ни с фарисейством, ни с приноравливанием к духу времени, стал, как, пожалуй, никто другой, он: Владыка Антоний. Его духовного присутствия в сумеречной атмосфере позднесоветских десятилетий — я имею в виду, конечно, приезды в Россию, проповеди, беседы, но и чтение его проповедей в самиздатовских списках, и просто знание, что он есть на свете, — не смогло бы заменить ничто иное. (Пусть другие рассказывают, что означали его труды для Православия в Англии; мне случалось молиться в лондонском соборе на Эннисмор Гарденс, а однажды исповедоваться чудному православному священнику, чистокровному англичанину, и все это было для меня переживанием очень радостным, но, в конце концов, я бывал там путником, и свидетельствовать мне пристало не о лондонских, а о московских материях.) Нам, сроду привыкшим к тяготам, но ведь, увы, и к удобствам, к душевному комфорту несвободы, Владыка своим словом и всей своей сутью напоминал, что мы, по слову Апостола Павла, *призваны к свободе* (Послание к галатам 5, 13). Свобода требовательна, в ней, согласно тому же новозаветному тексту, должно *стоять* (5, 1) — да, тут не расслабься, не разляжешься, тут можно только стоять и выстоять, употребляя все свои силы. Для Владыки это какая-то центральная тема. (Помню, как я кинулся к нему с какими-то своими «постсоветскими» проблемами — и получил в ответ строго сказанное: «*Учитесь свободе!*» И его **взгляд**. И больше слов не требовалось.)

Кроме всего прочего, он напоминает нам, что христианская праведность призвана-то, конечно, быть больше языческого героизма — но какой позор, когда она куда **меньше!** И языческий героизм он умеет видеть абсолютно всерьез, не умаляя его масштаба, не принижая его фарисейскими рацеями, понимая его не извне — изнутри. С каким сочувствием говорит он, например, о

суровом этосе научного эксперимента, больше того, о «героическом сомнении»! («О встрече», с. 150; а на следующей странице выясняется, что христианин должен не останавливаться перед сомнением, а идти в своем сомнении **глубже**, чем чада века сего.) Это уже довольно поразительно. Но еще труднее, может быть, видеть героизм в его ложно-направленном проявлении. Снова и снова возвращается Владыка к рассказу об умиравшем на его глазах немце, солдате Второй мировой войны. *«Что скажешь человеку, который вот-вот умрет? Я положил руку на плечо и спрашиваю: Очень страдаешь? Он на меня посмотрел умирающим взглядом и сказал: Я не чувствую страдания — мы же вас побеждаем...»* (Человек перед Богом, с. 226). Да, в первой половине идущего нынче к своему концу века колоссальные возможности героизма были расточаемы понапрасну, попусту, в прорву, на службе чудовищных идеологий и чудовищных режимов; но если бы в человеческой душе не было этой способности — забыть о себе, — то ведь и сопротивление этим же режимам тоже не было возможно. Сопротивление, в котором будущий Владыка участвовал самым конкретным образом. И не было бы возможно то «воинское» служение в духе, о котором говорят Послания апостола Павла.

Давно сказано, что христианская душа — воин; а как эти батальные метафоры понимать? Владыка отвечает на вопрос с силой, как говорят о выношенном в душе и до крови выстраданном:

«...Воин не укрывается за своим начальником, за своим царем; он идет вперед отдавать свою жизнь, истощать, может быть, до конца свои силы в служении» («Человек перед Богом», с. 168).

Тут каждому слову можно верить.

В Митрополите Антонии остро ощущается масштаб того мира, из которого он пришел к нам: героической поры первой русской эмиграции. Люди, которые не привыкли жалеть себя. *«Не то, что нынешнее племя»...* Мы, может быть, — дай-то Бог — стали опытней (посмотрим, как наша опытность покажет себя на ближайшем крутом повороте); но мы определенно сделались меньше, мельче. То, что Владыка рассказывает о страшной суровости к себе своего отца, читается, как эпическая повесть из века исполинов. Героическая порода, у которой в крови невозможность того, что англичане называют *self-pity* — раскиснуть при взгляде на свои невзгоды. Дело не в том, как много болезненного было в ранних судьбах тогдашнего Андрея Блума, а в том, **как** это принималось. *«Ну, били, били, в общем, не убили!»* («О встрече», с. 24). *«Ну, в общем, выжил...»* (там же, с. 41).

История души, которую составляют рассказы Владыки о себе без записок и рассеянные по его беседам автобиографические признания — это повесть о том, как эта внутренняя дисциплина, сохраняя верность себе, преобразается в деле христианского подвига. Но надо же еще и суметь выразить такой сюжет в слове, сообразном предмету.

Под конец совершенно необходимо помянуть труды Елены Львовны Майданович. Без нее и ее сестры, Татьяны Львовны, из году в год, из десятилетия в десятилетие записывавших проповеди и беседы Владыки и после прилежно считывавших записи, мы не имели бы множества драгоценных текстов. А теперь Елена Львовна готовит эти тексты к печати — низкий ей поклон.

Юрий КАГРАМАНОВ

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СТРАХЕ БОЖИЕМ

Статью «О страхе Божиим» в прошлом и настоящем» (№84) я писал не без некоторого смущения: слишком тонкая материя задета. Лишь то обстоятельство, что в неких таинственных точках с нею соприкасаются вполне прозаические, «грубые» вопросы исторического бытия, побудило меня высказаться на данную тему. Возможно, это получилось у меня не совсем ловко; возможно, грешный мой язык не нашел слов, соответствующих значительности затронутого «предмета».

Думаю, однако, что претензий ко мне (см. №85) было бы меньше — и в частности, не упрекали бы меня уважаемые оппоненты в излишней рассудочности, — если бы я более четко выделил в избранной мною теме два разных плана. Один из них является планом, так сказать, вертикальных связей — между **личностью** и Богом. В этом плане чрезмерно рациональный подход (например, рассуждения о культурно-исторических типах) действительно быстро начинает хромать. «...Перед Богом, — пишет С. Аверинцев, — стоят не «типы», а люди; у каждого из нас тайна, до конца разделенная только с Богом; и только Бог нас судит». Все так. Но есть ведь и другой план — назовем его горизонтальным, — где страх Божий становится «фактором»

истории, «участником» социальных и культурных процессов; и здесь уже без известной рассудочности не обойтись. И потом не я придумал все эти «типы», «ментальности» и т.п.: ими оперируют западные исследователи (в частности, в работах, посвященных страху Божию в историческом аспекте), и раз уж я пользуюсь результатами их исследований, приходится употреблять и их терминологию.

Кстати о личностном. Я писал культурно-историческую по своему характеру статью и потому вовсе не намеревался делиться своими чувствами в отношении того, что является потусторонним. Но коль скоро мне говорят, что я взялся писать о страхе Божиим в то время как сам его в должной мере не испытываю, готов признаться: моя религиозная интуиция склоняет меня к представлению о посмертном рассечении душ, в самом деле смягчающем страх Божий (раз уж мое светлое, если оно во мне есть — а в ком его нет? — в любом случае должно спастись и только темное погибнуть, можно позволить себе несколько «расслабиться»...) Такое представление антиномично сопряжено с другим: душа, единая и неделимая, отправляется либо «ошую», либо «одесную». Вот **это** представление мною недостаточно прочувствовано. И поэтому когда я повторяю вслед за Кьеркегором, что надо **научиться** страшиться, то никоим образом не исключаю самого себя из числа учащих.

Зато я хочу довольно решительно возразить А. Кырлежеву по некоторым принципиальным вопросам исторического плана. То, что он называет моим «проектом» («научения» страху Божьему по культурным каналам) и что правильнее было бы назвать «пробой», представляется ему неприемлемым, собственно, по двум причинам. Во-первых, потому, что встав однажды на путь автономного развития, человек будто бы должен продолжить этот путь дальше. И за все «побочные следствия» своей активности — «ядерное оружие, загрязнение окружающей среды, истощение природных ресурсов, СПИД, перенаселение, локальные конфликты, мировой политико-экономический дисбаланс и т.п.» — человек несет ответственность сам и сам должен разбираться со своими проблемами. Что касается конкретно нас, россиян, то наша задача, по А. Кырлежеву, состоит в том, чтобы развивать социальную жизнь социальными же средствами; в частности, формировать конвенциональную мораль, которой нам так остро не хватает. Бог тут, очевидно, «не при чем».

Это что-то слишком похоже на известную концепцию «невмешательства» Бога в земные дела. Вряд ли она еще долго протянет:

возможности автономного пути, судя по многим признакам, исчерпаны. Все отрицательные последствия активности человека, о которых говорит А. Кырлежев, свидетельствуют о злоупотреблении свободой, дарованной ему Богом. Научившись «умом громам повелевать» (Державин), человек стал слишком полагаться на самого себя и в результате утратил чувство, где и перед чем следует остановиться; страх Божий мог бы подсказать ему меру свободы в каждом конкретном случае. Это о мировых вопросах. А уж что до наших-то российских дел, то даже бывшие коммунисты понимают: «без Бога не обойтись». В нравственных вопросах в первую очередь. Призывы формировать конвенциональную мораль весьма странно звучат в наши дни — когда и на благополучном Западе она давно уже трещит по швам.

Сказанное не означает, что я пытаюсь «припрячь Бога» к задачам социального характера. Когда А. Кырлежев пишет, что использовать Бога «в качестве социально-психологического «рычага» для того, чтобы поставить «нравственность» с головы на ноги», по сути безбожно, он полемизирует с кем-то другим, но не со мной. «Припрячь Бога» пытаются те, для кого реальны лишь земные, внутриисторические цели. Христианство, лишенное эсхатологического «тонуса», устремленности к тому, что ожидает человечество за пределами истории, — не христианство, тут спорить не о чем. Но эсхатология, «отключающая» Бога от истории на некотором отрезке пути, — не переключается ли она в чем-то с такого рода имманентизмом?

Во-вторых, А. Кырлежев не допускает, что наших людей еще можно чем-то пронять, и самую попытку воздействовать на них в указанном мною смысле находит предосудительной, приравнивая ее к манипуляторству. Эмоциональное отупение у нас, действительно, бывает поразительным — но ведь не до полной же утраты чувств! В «антропологическую катастрофу» я не верю. В морфологическом отношении человек остался, каким был; к катастрофическому развитию проявляет склонность — история. Что касается нынешнего человека, нашего человека в особенности, то его отличает, по-видимому, большая, чем когда-либо, психологическая неустойчивость, а значит, и податливость. Оттого он столь часто становится жертвой разного рода манипуляторов. Но разве практика манипуляции «компрометирует» явление внушения как такового? Чем, собственно, отличается манипуляция от внушения? Очевидно тем, что манипулятор или сам не верит в то, что внушает другим, или пытается использовать манипулируемых в каких-то своих конкретных целях и т.д. И

внушение тоже может быть дурным, даже если его нельзя отождествить с манипуляцией, то есть внушающий сам верит в то, что внушает другим, и никаких корыстных целей не преследует. Но существует ведь благое внушение (чем вообще занимаются, например, литература и искусство, как не внушением определенных идей-образов?). И почему же в нынешний критический период истории надо оставлять «поле битвы» манипуляторам? Разве Церковь воинствующая не руководствуется словами ап. Павла: «Итак станьте,.. обувши ноги в готовность благовествовать мир» (Ефес., 6, 14—15)?

Правду сказать, **убеждение**, насколько я знаю, никогда не стояло на первом месте в православии (в чьих традициях скорее «пленять», чем убеждать). Но времена круто изменились: люди стали мыслить избыточно рационально. Вряд ли этого может не учитывать православная **керигма**. Вот почему я решился придать такое значение проповеди страха Божиего.

Замечу к слову, что я отнюдь не отождествляю страх Божий со страхом перед Божией карой (в чем меня заподозрили оппоненты). Просто тема потустороннего (как, впрочем, и посюстороннего) наказания была слишком приглушена на протяжении, по меньшей мере, последних двух столетий, а я только попытался придать ей громкость, вот и все.

О.Георгий Кочетков указывает на важность **«живого примера** подлинной жизни в вере, а значит — и в страхе Божием». Но если даже убедительную проповедь трудно «заказать», то живой пример — и вовсе невозможно. Выходит, его остается только ждать. Это во-первых. А во-вторых, если мы захотим сделать его притягательным в масштабах национальной жизни, мы опять-таки столкнемся с вопросами его «трансляции», «подачи» — в современных условиях этого не избежать.

Возвращаясь к статье А. Кырлежева, замечу, что позиция автора производит впечатление некоторого фатализма: «процессы» идут своим ходом и будут идти. Я не хочу умалывать силу исторических закономерностей. Как раз наоборот, главной задачей моей статьи было показать, что проповедь страха Божиего прямо отвечала бы одной из них. Другое дело, что Россия пребывает сразу во многих веках или возрастах (напомню это высказывание Флоровского). Следовательно, одни закономерности здесь накладываются на другие, и пока трудно сказать, какие из них возьмут верх. Но кроме исторических закономерностей существует и принцип свободы. Многое зависит от самих людей. Даже от **одного** человека. Св. Иоанн Златоуст считал, что

один человек способен исправить целый народ; вряд ли наше время что-то в этом смысле изменило: силою убеждения и, тем паче, живого примера можно своротить горы. Надо только сохранять известную веру в людей, в их отзывчивость (и уж во всяком случае — в восприимчивость к такой значимой вещи, как страх Божий); и надо уметь, как говорил Розанов, чиркнуть по поверхности души. Закономерности иногда пасуют перед силой духа. «Ход веков... может загореться на ходу».

Возможно, я что-то не так понял во взглядах А. Кырлежева. Надеюсь, в таком случае, что они проявятся для меня в последующих его статьях.

Жорж НИВА

ОТ ЖЮЛЬЕНА СОРЕЛЯ К ЦИНЦИНАТУ

(СТЕНДАЛЬ — НАБОКОВ)

Поэзия чистой энергии, где нет ничего религиозного, поэзия человеческой воли, врожденного дара дерзости — это для нас Жюльен и Фабрицио, Матильда и Джина, певцы энергии. У такой энергии два источника — политика и любовь.

Любовь тут — это страсть, без мечтаний и сантиментов, огонь, желание, поединок воли. Политика же — в самом высоком смысле, поединок человека и общества. Жюльен и Фабрицио — потомки Наполеона.

В своей замечательной книге 1931 года Альбер Тибодэ очень уместно и со стэндалевским пафосом говорит о сродстве двух современников — Стендаля и Сади Карно, «Красного и Черного» и «Размышлений о движущей «силе огня».

«Что такое «Арманс» и «Красное и Черное»? Это вклад во французскую историю энергии» — пишет Альбер Тибодэ, намекая

**Жорж
НИВА**

— родился в 1935 году в г. Клермон-Ферране (Франция). Окончил Сорбонну и Высшую нормальную школу (Париж). С 1972 — профессор Женевского университета, заведующий кафедрой славистики. Автор книг «О Солженицыне» (1974), «Солженицын» (1980), «Конец русского мифа» (1981), «Конец русского раскола» (1993) и многих статей по проблемам русской культуры. Переводил на французский язык А. Белого, А. Солженицына, А. Синявского. С 1993 года — член редколлегии «Континента».

на небольшое сочинение Стендаля, написанное в ноябре 1817 г. «История энергии в Италии».

Энергия — вот первое основание, первое «*tertium comparationis*»¹, которое помогает, если это возможно, сравнить Стендаля с русскими писателями, с певцами русской энергии.

«Первое свойство итальянской души — энергия, второе — недоверчивость, третье — страстность, четвертое — ненависть» — писал Стендаль в 1817 году.

Возможна ли такая тетратомия в воображаемом мире русской словесности?

Образец энергии, будоражившей молодые души Европы после 1815 года — Наполеон.

У Стендаля всё — парами. Соглашательской и суетной Франции противопоставлена непредсказуемая и отважная Италия. Выражению «казаться французом» — выражение «быть итальянцем». Жюльен и Фабрицио, Матильда и Клелия, Джина Сансверина и мадам де Реналь, аббат Шелан и аббат Бланэ дополняют друг друга в его великих романах.

«Если здесь и возможно некое единство, некая связь, — пишет все тот же Тибодэ, — их нужно искать в образе Наполеона. (...) «Красное и Черное» и «Пармская обитель» — два наполеоновских романа, история двух Наполеонидов, Жюльена и Фабрицио. Как и «Войну и мир», эти романы — поистине вдохновил Наполеон».

Вот еще одно «*tertium comparationis*»: Наполеониды русские — Наполеониды стендалевские...

Поль Валери особо подчеркивает: «Истолкование его любимых мотивов — Наполеон, любовь, энергия, счастье — породило целые тома». Вот еще одно «*tertium comparationis*» — счастье. Есть ли у русских поэма о счастье, сравнимая с этими великими книгами?

Итак, три главных критерия для сравнений — энергия, Наполеон и счастье. К ним можно прибавить сосредоточенность на себе, стремление быть собой, только собой, которое Стендаль считал «природным», хотя в природе его не так уж много.

Сюда же можно прибавить ложь в стендалевской дихотомии: благородная, пылкая, поэтическая ложь вспыльчивой натуры — и ложь низкая, постоянная, неуклонная натуры лицемерной, упорной в своем лукавстве.

¹ Третье в сравнении (лат.).

И еще — стендалевский антиклерикализм. «К духовенству Стендаль относился предвзято», — говорит Валери.

Жорж Пуле в «Мере мгновения» предлагает нам четвертое «*tertium comparationis*». Это — настоящее, которое абсолютно преобладает над прошлым и будущим. Правда, «Красное и Черное» — роман о стремлении, о беспокойной и нацеленной мысли. А вот «Пармская обитель» — поэма о настоящем, о наслаждении нынешним мигом — о блаженстве восторжения, о неожиданном движении души, о безраздельной власти сиюминутных ощущений. Мне кажется, что ненависть к прилагательным, которую исследует Жан Прево, идет от этой тирании мига. Прилагательное разжижает настоящее, вытесняет его, смещает. Есть ли поэмы, безраздельно посвященные наслаждению мигом, среди порождений русской души?

«Счастьем живешь или его оживляешь, — писал Жан Пьер Ришар. — Рассказать о себе оно не может. Сам напор его силы мешает увидеть его или узнать». «Невозможно разглядеть, — писал Стендаль, — часть неба, близкую к солнцу. (...) Счастье ослепляет своим жаром».

Парадокс Стендаля в том, что он хочет поймать неуловимое, увидеть солнце счастья, явить нам экстаз. Чтобы преодолеть этот парадокс, он стал математиком, ученым, юристом, мыслителем. Наполеоновский гражданский кодекс для него — метод, а не только модель. Есть ли такой парадокс в русском мире?



Из всех книг о Стендале я особенно люблю первую, прочитанную еще в лицее — книгу Алэна. В ней есть одно замечание, которое может нам помочь: «*L'incredule*¹ встречается редко. Само слово «*incredule*» нельзя перевести на русский язык. Можно перевести «*incroyant*»², а вот «*incredule*» — нет. «*Incroyant*» — понятие весомое, философское, идеологическое; «*incredule*» — легкое, поэтическое, ироничное. Быть может, атеизм стал бы еще одним «третьим в сравнении»? «Стендаль абсолютно, совершенно лишен религиозности». Можно ли представить себе русский роман, где и в малейшей мере не присутствует Бог?

¹Недоверчивый, неверящий (франц.).

²Неверующий (франц.).

Начнем с Наполеона и его литературных потомков. Русская словесность тоже кишит Наполеонидами. Это Германн из «Пиковой дамы», Лермонтов с его Печориным, Раскольников и Подросток у Достоевского, князь Андрей у Толстого, Марина Цветаева в некоторых ее поэтических ипостасях, из которых очень важен Орленок, этот юный Наполеон, прекрасный принц Наполеонидов. Германн, мрачный мономан, становится убийцей. Он расчетлив: «— Германн немец: он расчетлив, вот и все!» Чтобы покорить сердце Елизаветы Ивановны, он пишет письма — почти так же хладнокровно, как Жюльен, который, следуя советам своего русского друга, применяет «русскую политику». Германн — истинно романтическая натура: «У него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля». Не двойник ли Жюльена, не образец ли Наполеона этот типичный и мрачный человек, рожденный (как он сам считает) для великой судьбы и начинающий завоевание мира с любовной осады?

В одной замечательной главе своего «Корабля дураков», написанного в 20-е годы, Ольга Форш предлагает рассмотреть литературных потомков Германа в русской литературе. Герман, Печорин, Раскольников, Николай Аполлонович Аблеуков у Андрея Белого — все они из семьи недовольных героев. Однако тип недовольного героя здесь русифицируется, и Ольга Форш ведет цепочку от Петра Великого, породившего русское свободовольие и русскую энергию.

У Лермонтова есть и наполеоновские, и антинаполеоновские поэмы. В антинаполеоновских коллективным героем оказывается народ. Антиномия эта поможет понять, как трудно судить о наполеоновской теме в России.

Князь Андрей у Толстого претерпевает ту же эволюцию, что и Печорин, но четче, отчетливей, и не доходит до печоринской горечи. Вот Печорин — стэндалевский персонаж, он наслаждается своим превосходством, своим мастерством измены. С другой стороны, он герой не стэндалевский, поскольку в измене он счастья не находит и не имеет права именоваться «возвышенным вольнодумцем», как назвал стэндалевских героев Алэн. В романе Лермонтова нет ничего похожего на размышления графа Моска: «Вот, я государственный изменник, — думал он, пьянея от радости»...

Русские Наполеониды мечтают о быстром восхождении, ненавидят священной ненавистью человеческое стадо, души их

свободны и неукротимы — как и у Фабрицио, и у Жюльена. Однако они стеснены социальными связями, сомнениями, совестью; особенно — Наполеониды Достоевского. Они — не переносчики энергии и радости, в них нет возвышенной распушенности. Впрочем, этой распушенности нет у всех русских атеистов. Они не смогли породить «высшего существа», совершенно замкнутого на себе, свободного и от следа веры, которое породила французская культура. Они не стремятся к счастью с природной, дикой энергией французского вольнодумца.

Казалось бы, Марина Цветаева с ее культом Орленка, Дон Жуана, великих бунтовщиков, вроде бы близка к Стендалю. Но ее культ героизма слишком похож на любовь к отверженным. Она слишком любит неудачу, отсюда и странный культ Орленка, чей образ ее не оставлял, не говоря уже о вере в Бога и «вандейской» позиции. Лагерь ее — не красный и не черный; это белый лагерь Орленка и лесных мятежников.

Лишь один русский писатель XX века — Горький — был в своем роде певцом энергии, что и привело к союзу со Сталиным. Он написал предисловие к историческому роману о Стендале. Роман Анатолия Виноградова (1931) называется «Три цвета времени». В предисловии Горький славит волю Стендаля, стремящуюся к чистой энергии. Но мог ли текст 1931 года обойтись без марксистского толкования? Судя по всему, последнее слово Жюльена перед судьями Горький использует в своих целях.

«Жюльен Сорель Стендаля — родоначальник всех «героев», которые начинали жить, веруя, что высокое интеллектуальное развитие совершенно обеспечивает свободу мысли и воли. Общая всем им черта: у них огромное честолюбие, но они живут «без догмата» — без того социального догмата, который гармонирует разум и волю. Буржуазное общество при всем обилии «догматов», выработанных им, тоже лишено этого главного, который очеловечивает зоологические инстинкты, поскольку возможно очеловечить их в анархических условиях капиталистического строя».

Горький видит в Жюльене 1830 г. прообраз русского «интеллигента» 70—80-х годов XIX в. — разъединенность разума и воли, изгойство, отказ от догм.

Что же до романа «Три цвета времени», то Анатолий Виноградов, обильно используя русские источники, — Николая Тургенева, Вяземского — начинает повествование о жизни Анри Бейля с его возвращения из России. Роман сделан неплохо,

но и не приближается к тому, чтобы истолковать натуру своего героя.

Рассмотрим и тартюфовское ханжество у Стендаля. В главе XXXIII «Красного и черного» Жюльен предстает перед маркизом де Ла-Молем, который пришел в бешенство, узнав о его романе с Матильдой.

«Ответ подвернулся из роли Тартюфа.

— Я не ангел...»

Уже давно сказано, что Тартюф много значил для Стендаля. «Тартюф — человек умный и яркий, — говорит он в примечании. Тартюф был очень к месту в годы Реставрации, когда клерикальная энергия одержала верх над энергией наполеоновской».

Стендаль восхищался энергией, с которой Тартюф утверждал свое лицемерие. Тартюф — завоеватель. Единственный настоящий Тартюф русского романа — это Чичиков у Гоголя. Но и ему не хватает лицемерия; он, скорее, хамелеон, пронира, поэт мошенничества, а не злодей в чистом виде. Что же до самого явного русского Тартюфа, Фомы Опискина, то и он не злодей, а только безудержный позер. К тому же, он — не завоеватель.



Возможно ли в русском романе стендалевское счастье — «громеда счастья и внезапной радости», «безумная радость, веселье, страсть, забвение печальных мыслей», все эти сильнейшие приступы блаженства? Гончарова и Достоевского, конечно, мы сразу исключаем. Счастье мистиков и нирваны, счастье Обломовки, здесь совершенно не при чем.

Остается Толстой, великий поэт счастья, самый прилежный русский читатель Стендаля. Но и в этой душе все не так просто. Один Толстой заискивает перед мужиком, другой — презирует его и оскорбляет. Один блестяще издевается, другой — ненавидит иронию и прибегает к ней только против воли. Один — упоен собой, другой растворяет «я» в обществе. Один описывает души, увлеченные идеей и вложившие в нее волю, другой стремится к «природному», в котором буквально плавают его лучшие сцены, и окунает героев в биологический, органический контекст.

Мгновения счастья у Толстого всегда погружены во что-то большее. Например, в «Метели»: «Все вокруг меня было так прекрасно, и так сильно действовала на меня эта красота, что мне

казалось, я сам хорош, и одно, что мне досадно было, это то, что никто не удивляется мне».

Это — счастье пассивное, совсем другое, чем у героев Стендаля, хотя именно у мгновений «безумия, так похожего на безумие влюбленных, заставляющее напрочь забыть прежний план» («Война и мир»), и особенно в замечательной сцене отрадненской охоты есть стендалевский оттенок. И все-таки толстовское счастье быстротечно, оно оставляет по себе угрызения, раскаяние и горечь.

«Incredule встречается редко», — говорит Алэн. И в самом деле, любой русский атеист не лишен религиозных переживаний, которые исследовал и толковал Сергей Булгаков. Один лишь Пушкин впадает порой в высшую беспечность.

Я хотел бы предложить несколько соображений об одном весьма заметном у Стендаля литературном топосе — человека и тюрьмы. Топос этот не нов. Испытания, постигающие благородного человека, могут привести его в тюрьму. Что же происходит там с возвышенной душой? Что происходит с этим *incredule*, когда он остается один на один с собою? Как становится тюрьма раем для него, пристрастившегося к счастью? У Стендаля есть замечательные сцены. Жюльен заточен в безансонской тюрьме, «на верхнем этаже готической башни», в месте, отличающемся «прелестью и пленительной легкостью», откуда «открывался вдали изумительной красоты пейзаж». Здесь он живет «в стране през», постигает «искусство радоваться жизни» и лишь изредка думает о том, встретит ли после смерти Фенелонова Бога. Фабрицио заточен в высокой крепости, которая очень похожа на замок Святого Ангела в Риме. Пруст в «Заключенном» и в других книгах говорит о том, что «чувство высоты связано с духовной жизнью». «Как прекрасно, что персонажи-вестники, эти новые ангелы, встречающиеся то там, то здесь у Достоевского, кланяются до земли тому, кого должны убить!» Поистине, странное уподобление...

Американский филолог Роберт Бромберг убедительно показал, что заточение на высоте — мифологема той романтической тюрьмы, где расцветает уединенное «я». Вот она, счастливая тюрьма Фабрицио, которую предсказывал добрый аббат Бланэ и где, благодаря «воздушному одиночеству», он познал «редкостное счастье». Тюрьма — благословенный край для Сильвио Пеллико у страшного Спилберга. О том же говорит Солженицын, когда размышляет о смысле человеческой неволи. Метафора тюрьмы всегда амбивалентна: с одной стороны,

это ужас перед неволей, перед вселенским карцером Пиранези, перед

... темницею сырой,
Где упование летучей мышью бьется,
Почти беснуется, бессмысленно мятется
И разбивается о потолок гнилой.

(Бодлер)

С другой же стороны, это келья монаха, высшее узилище, способствующее вопарению души, башня Паскаля, где, находясь «и во Вселенной, и в клетке», мы учимся спасению.

Что и говорить, тюрьма — важная тема «русской литературы» от «Записок из мертвого дома» до «Архипелага ГУЛАГ». Однако стендалевская радостная темница, совсем не похожая на келью монаха, совершенно неизвестна русской словесности. Ни каторга Достоевского, Мити Карамазова, Катюши Масловой, ни тюрьмы Леонида Андреева, где человек сходит с ума, ни ГУЛАГ Шаламова, где человек замерзает, как плевок, не имеют ничего общего с «радостной тюрьмой» Стендаля. И только одна книга, мне кажется, в чем-то похожа на него. Это — «Приглашение на казнь». Стендаль и Набоков вообще похожи — абсолютным неверием, поисками счастья, страхом перед пошлостью, изгнаннической судьбой, творящей из неудобств какой-то устав веселья. «Приглашение на казнь» — пародия на всю литературу о тюрьме. Цинцинната, осужденного на смерть (хотя он и не знает, за что) стерегут Родион, Роман Виссарионович и Родриг Иванович, а палач у него — м-сье Пьер. Обстановка и атмосфера напоминают оперу-буфф.

«— Повести его, что-ли, наверх? — нерешительно предложил адвокат (Роман) — Это, что же, можно...»

И начинается долгое восхождение на верхний этаж крепости. «... поднимались так долго, что Цинциннат от нечего делать принялся считать ступени, досчитал до трехзначной цифры, но спутался, оступившись».

С широкого выступа крыши, где их встретили сияющие летнее небо и пронзительные крики ласточек, открывается «вид на расстояние, дух захватывающее, ибо не только башня была громадна, но вообще вся крепость громадно высилась на громадной скале, коей она казалась чудовищным порождением».

«— Как это все обаятельно, — обратился Цинциннат к садам, к холмам...»

Потом он выбирается во внутренний двор и видит уже искусственный пейзаж, нарисованный на стене, те же самые Тамарины сады. «А в глубине, в условном тумане, круглились холмы...» На этом ложном окошечке спасения Цинциннат замечает дочь начальника тюрьмы — не Клелию, а Эммочку, девочку-подростка, почти Лолиту, которая влюбляется в него и хочет, чтобы он бежал.

«— Мы убежим, и вы на мне женитесь.

— Может быть, когда подрастешь; но только жена у меня уже есть.

— Толстая, старая, — сказала Эммочка».

Наконец, в третьем эпизоде Цинциннат представляет себе, что он убежал из тюрьмы вместе с Эммой. «В первую минуту у него так кружилась голова от свободы, высоты и простора, что он, вцепившись в сырой дерн, едва ли что-либо замечал, кроме того, что по-вечернему громко кричат ласточки...»

Пародия на Стендаля — и в ироничности слога. Это что-то вроде Кафки навыворот, с happy end, — ведь гильотина выводит в лучший мир, и совсем не потому, что есть Бог, воздающий на том свете, а по той причине, о которой говорит эпитафия, заимствованная у Делаланда: «Как сумасшедший мнит себя Богом, так и мы мним себя смертными».

На всем пути от Жюльена к Цинциннату русская литература старалась приспособить к себе, принять и понять Стендаля, но почти ничего не выходило. Несомненно, в ней слишком сильна неспособность к легкому, веселому неверию. Лишь постороннему ей писателю, изгнаннику Набокову, удалось хоть как-то ввести Стендаля в свой странный аллегорический мир.

Перевод Наталии Трауберг

Марк ХАРИТОНОВ

**ДВА ЭССЕ ИЗ ЦИКЛА
«ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ»***

По ту сторону безнадежности

Скульптор Вадим Сидур показывал мне как-то модель неосуществленного памятника писателю Василию Гроссману. На одной его стороне был барельеф: девочка закрывает ладонью глаза взрослому. Оказывается, был у Гроссмана такой сюжет, основанный на подлинной истории: во время расстрела девочка прикрыла рукой глаза своему старому учителю. Не смотри, сказала она, это очень страшно.

Образ представляется мне весьма значимым для разговора о вечном и возобновляющемся поиске правды в жизни и в искусстве. В свете нашего трагического опыта слишком прекраснотушной, если не сказать больше, стала иногда казаться правда,

**Марк
ХАРИТОНОВ**

— родился в 1937 году в Житомире (Украина). Окончил историко-филологический факультет Московского государственного пединститута. Романы, повести, рассказы публиковались в журналах «Новый мир», «Континент», «Дружба народов», «Знамя». Автор книги повестей «День в феврале» (1988), двухтомника «Избранная проза» (1994), сборника повестей и рассказов «Этюд о масках» (1994) Лауреат Букеровской премии 1992 года за роман «Линия судьбы, или Сундучок Миклашевича». Живет в Москве.

* Главы из неопубликованной книги эссе «Способ существования».

которую исповедывала авторитетная прежде гуманистическая традиция. Двадцатый век, как никакой, может, другой, продемонстрировал нам, до какой степени зла, абсурда, бессмысленной жестокости способен дойти человек, какой непрочной перегородкой отделено наше существование от страшных, иррациональных бездн. От этой правды в самом деле нельзя отворачиваться. «Правда страшна и безобразна», — сказал мне Вадим Сидур, художник обостренно трагического мироощущения.

Все так. Но в то же время — разве нет своей правды и в как будто наивном, детском, безнадежном порыве девочки? Речь, конечно, вовсе не о стремлении игнорировать реальный трагизм, абсурд и жестокость. (Девочка закрывает, кстати, глаза не себе, а другому.) Речь о том, что наряду с этой страшной реальностью, наряду с жестокостью, злобой — и вопреки им — существует еще правда сострадания, доброты, жалости, любви. Если этой правды нет, видимое бесстрашие в изображении зла, уродств, безобразия может обернуться вполне холодным поверхностным равнодушием. Современное искусство слишком часто демонстрирует именно такую подмену. Люди, живописующие абсурд и жестокость, сами явно не испытывают никаких чувств; и в собственной жизни они отнюдь не трагичны, даже наоборот, лоснятся благополучием.

Эта подмена небезобидна.

Сейчас влияние получила идеология и эстетика, которая исходит, среди прочего, из представления о неактуальности какой бы то ни было иерархии ценностей: все понятия о добре и зле, о прекрасном и безобразном следует считать относительными, от любого человека в любой момент можно ожидать чего угодно. Опыт войн и концлагерей в нашем веке, действительно, с особой наглядностью показал, во что может превратиться едва ли не каждый из нас.

А если все-таки не каждый — что могут значить единичные исключения на многомиллионном фоне?

Известно суждение Варлама Шаламова о том, что опыт концлагерей следует считать абсолютно отрицательным. Человек в нечеловеческих условиях лагеря не мог ничего изменить, он был вынужден приспособливаться к обстоятельствам, чтобы выжить, — и в конце концов сплоск и рядом переставал быть человеком. Свидетельство самого Шаламова, мне кажется, позволяет внести в это суждение существенную оговорку: он сам, во всяком случае, остался свободен в отношении к происходившему, он знал, что зло — это зло, убийство — это убийство, бесчеловечность — это бесчеловечность, и не искал им оправданий, не уравнивал с прочими прояв-

лениями сложной человеческой природы, не эстетизировал их в своем творчестве.

И это уже очень много.

Бессмысленно спорить: зло извечно и неизбежно присутствует в мире, как и безобразие, как и хаос; в этом такая же правда, как в том, что человек обречен умереть. Но это не может быть единственной правдой хотя бы потому, что мир все-таки — пока что — продолжает существовать, не саморазрушаясь, и в природе человека — все же противиться саморазрушению, противостоять хаосу, в том числе своим художественным творчеством. Искусство творит новые формы и новые символы, а это уже означает преодоление хаоса, сопротивление ему. В этом смысле искусство — по определению — все-таки служит жизни. Нередкое нынче стремление как бы воспроизвести хаос в адекватных формах, формах самого хаоса — разлагает прежде всего само искусство.

Нечто подобное, мне кажется, имел в виду Уильям Фолкнер, когда говорил в своей Нобелевской речи о проклятии, которое будет висеть над трудом писателя, если он не уберет «из своей мастерской все, кроме правды сердца, кроме старых и вечных истин: любви, чести, жалости, гордости, сострадания, самопожертвования... Он будет писать не о любви, а о похоти, о поражениях без потерь, о победах без надежды и, что самое страшное, — без жалости и сострадания. Он будет писать не о человеческой душе, а о телесных отправлениях. Пока писатель не поймет этого, он будет, как сторонний наблюдатель, писать о гибели человека».

Возможно эти слова кому-то покажутся теперь старомодными. А ведь Фолкнер — писатель куда как суровый, в нарочитом благонравии его не упрекнешь. И когда он все же отвергает мысль о гибели человека — им движет то же мироощущение, которое я, вслед за американским философом Виктором Франклом (между прочим, пережившим Освенцим), назвал бы трагическим оптимизмом. Оптимизмом — потому что оно исходит из веры в человека, в его лучшие возможности. Трагическим — потому, что эти возможности слишком часто не выдерживают испытания реальностью и вера начинает казаться тщетной. «Мы не должны закрывать глаза на то, — пишет Франкл, — что человеческие люди являются и, быть может, всегда будут оставаться меньшинством. Но именно потому каждый из нас чувствует вызов присоединиться к этому меньшинству. Дела плохи. Но они станут еще хуже, если мы не будем делать все, что в наших силах, чтобы улучшить их».

Поэт, увидевший на воротах ада надпись «Оставь надежду входящий сюда», все-таки не остановился. Он должен был пройти через все его круги, ужасаясь и сострадая, чтобы пробиться к истине, которая открывается, может быть, лишь по ту сторону безнадежности.

1995

Апология литературы

1

Всевозможные похороны, отпевания и поношения литературы становятся своего рода ритуалом. Особый список грехов предъявляют конкретно русской литературе: она, оказывается, чуть ли не повинна в исторических бедах нашего общества, которое «поставило свое существование в зависимость от писателей», было отравлено литературным подходом к жизни; «литература стала властью в России», она подменила собой историю и т.п. (Цитаты из недавних публикаций, но сама тема идет по меньшей мере от Розанова.)

Примечательно, что все эти возгласия исходят от самих литераторов. Комплекс вины (или неполноценности) бывает оборотной стороной мании величия — преувеличенного представления о своей роли, возможностях и целях. Что касается русской литературы, то она, как известно, волею исторических судеб отчасти была вынуждена заниматься тем, для чего в других странах существовали профессионалы: политики, парламентарии, специалисты по сельскому хозяйству, теологи, наконец. «Красное колесо», по словам автора, возникло из необходимости сказать насущную правду о важнейшем периоде нашей истории — больше было просто некому. Отсюда уже недалеко и до известных мессианских порывов: потребности провозгласить новую, спасительную для всех истину, создать небывалое вероучение. Впрочем, для писателя это означало обычно отказ от литературы как занятия сомнительного, если не греховного.

Изменились времена, в разных областях нашей жизни объявились профессионалы — какие ни есть, но способные делать свое дело и без писателей. Отечественной литературе приходится привыкать к новому положению и новой роли — заново осмысливать собственное существование. Состояние, что говорить, не

простое. А тут еще проблемы, более знакомые остальному миру, чем нам, рыночного свойства прежде всего. Или экспансия визуально-электронных искусств и развлечений (больше развлечений, чем искусств), которые, при всем нашем отставании от мира, уже в обозримом будущем грозят вытеснить старомодную литературу на скромную обочину. А уже звучат разговоры и о вовсе новой культуре, которая не будет нуждаться ни в словесном выражении, ни в сложной электронике, а обойдется вообще без «материального», черпая энергию, как выразился один критик, «непосредственно из вечности».

2

На эти темы стоит порассуждать всерьез. Помимо словесной природы, одной из характеристик литературы можно считать ее способность посредничать, так сказать, между земным и небесным. Это, между прочим, определяет ее отграничение от духовности чисто «небесной», религиозной. Литература связана с религией генетически. Религия может пользоваться литературными текстами, каковыми являются буддийские джатаки или истории иудео-христианской Библии, но может обходиться и без них, во всяком случае, когда обращается к уже верующим, убежденным. Духовные стихи, в которых звучат лишь слова о Боге, Святом духе, спасении и т.п., могут произвести впечатление скорее на тех, для кого эти слова уже наполнены содержанием. Необращенного нужно сначала убедить на языке земных образов, очевидных и значимых для него. Когда герой Пастернака говорит, что главное для него в Евангелии — не «нравственные изречения и правила», а то, «что Христос говорит притчами из быта, поясняя истину светом повседневности», — он, в сущности, восхищается литературным элементом в нем.

Я как-то пытался в споре объяснить, чего мне не хватает в «чисто» духовной словесности, почему я отличаю ее от того, что мне представляется литературой. Можно повторять «Бог» — и это мне ничего не скажет. Но можно заговорить, допустим, о корове или пусть даже о навозе — и это будет о Боге. Я тогда не знал индийской легенды о паломниках, которые сочли себя оскверненными, увидев на дороге коровью лепешку, и поспешили к реке омыться. Но тут из лепешки восстал бог Индра и сказал: «Это я превратился в коровьи лепешки, ибо нет на земле ничего чистого и нечистого».

Бог в коровьей лепешке — вот это для литературы, это ее сфера. Кстати, можно вполне обойтись и без Бога: писать, скажем, о составе и полезных свойствах навоза, о правильном использовании его в хозяйстве, о чистоте в коровниках и конюшнях или о проблемах тамошнего персонала. Достойнейшее, полезнейшее дело, может, гораздо более нужное, чем литература. Но с литературой смешивать его все же не стоит — а такое случается сплошь и рядом. Литература начинается там, где конюшни будут хотя бы Авгиевы.

Что до разговоров о «прямом соитии с вечностью» как будущем искусства и разнообразных опытов в этом духе... Можно, конечно, написать на бумаге слово «вечность» и медитировать над ним, можно медитировать над чистым листом бумаги и даже вовсе обойтись без него — все это было давным-давно и, наверное, имеет свой вполне достойный смысл. Просто не надо и это считать разговором о литературе.

3

Может ли грядущая электронно-визуальная цивилизация обойтись вовсе без литературы? Вполне допустимо. Литература существовала не всегда, возможно, ей не суждено быть вечной. Но пока что она обеспечивает, видимо, какую-то насущнейшую человеческую потребность, дает что-то, чего не способно дать нам ничто другое. Словесная природа литературы увлекает читателя в великое таинство — мистирию сотворчества. Мы, привыкшие, уже не отдаем себе отчета, какое это ни с чем не сравнимое чудо. Человек пробегает глазами череду черных значков на пластинках белого вещества — и переносится в мир иных событий, звуков, красок, лиц, страстей. Значки на бумаге для всех одинаковы, но мир возникает для всякого свой — он воссоздается на пересечении с его небывалой жизнью, опытом, интеллектом, воображением. Лица и голоса здесь не до конца выявлены, мысль при каждом новом прочтении может обогащаться: мир подлинного произведения литературы неисчерпаем и многозначен. Любая экранизация, грубая попытка материализовать написанное не просто обедняет этот мир: человеку оставляется роль пассивная, всю творческую работу проделывают за него режиссер, актеры, художник.

Отсюда вовсе не следует, что потребители этих чудес, оставшись без литературы, будут чувствовать себя менее счастливыми. Может, как раз наоборот. Но были уже попытки вообра-

зить и более отдаленные последствия. Не обернется ли это доступное счастье упрощением и даже извращением психики, обеднением и иссяканием каких-то высших духовных потенциалов?

Не случайно же авторы антиутопий от Хаксли до Брэдбери с такой тревогой всматривались в «прекрасный новый мир» электронно-фармацевтического благоденствия, из которого оказывались изгнаны почему-то именно книги; не случайно именно к книгам тянутся аутсайдеры и беглецы из этого мира — чего-то насущнейшего им там не хватает.

Действительно ли человеку так нужна литература? Или тут говорит отчасти объяснимое пристрастие авторов, которые сами все-таки — люди книги?

4

У этой темы разные ипостаси, к ней примерялись с разных сторон. Вот, например: вокруг литературы (и вообще искусства) складывается уже целая область духовной деятельности, которая с какого-то момента может в принципе обходиться и без произведений как таковых. Литературный манифест начинает значить ничуть не меньше. Он даже представляется чем-то первичным — произведение может его иллюстрировать или конкретизировать. Филологическая, комментаторская, концептуалистская деятельность занимает место литературы. Мыслимой вершиной такого развития можно считать гессевскую игру в бисер.

Гессевская Касталия возникла из потребности противостоять разрушительным тенденциям эпохи, гибели искусства, духа, нравственности, языка. И вот эта «Касталия вообще отказалась от создания произведений искусства... стихотворство считалось и вовсе невозможным, смешным и предосудительным занятием».

Тема, как говорится, для размышления. Как и ее дальнейший поворот: в пору глубокого душевного кризиса любимый герой Гессе Йозеф Кнехт, Великий Магистр, не смог ограничиться придумыванием очередной игры — преодолевая запрет, тайком от окружающих, движимый какой-то неодолимой потребностью, он стал сочинять стихи и рассказы.

Объявить ли это опять всего лишь произвольным решением, профессиональной пристрастностью писателя Гессе?

Сомнения в праве литературы на существование — порождения и свидетельства кризиса.

Они звучат с особой силой, когда кризис оборачивается катастрофой.

Известность получили слова Т. Адорно: «После Освенцима нельзя писать стихи». Страшный опыт нашего века, пожалуй, как никогда, обострил сомнения в смысле и даже нравственной дозволенности литературы. Но этот же опыт дал, быть может, самый неожиданный в своей убедительности довод о ее необходимости.

В рассказе «Афинские ночи» Варлам Шаламов напоминает рассуждения Томаса Мора о четырех основных потребностях человека, удовлетворение которых способно доставить ему блаженство. В нечеловеческих условиях колымского лагеря выяснилось, что не менее насущной оказывается для человека пятая потребность — потребность в стихах.

«У каждого грамотного фельдшера, сослуживца по аду, оказывается блокнот, куда записываются случайными разноцветными чернилами чужие стихи — не цитаты из Гегеля или Евангелия, а именно стихи. Вот, оказывается, какая потребность стоит за голодом, за половым чувством, за дефекацией и мочеиспусканием.

Потребность слушать стихи, не учтенная Томасом Мором.

И стихи находятся у всех».

Поразительное, не подлежащее сомнению свидетельство. Существенно, что именно в гибельных, нечеловеческих условиях стихи становятся в ряд насущных, природных потребностей.

Не подтверждает ли это мысль, что произведение литературы, вообще искусства, как порождение творческой воли, по самой природе своей есть акт преодоления хаоса, распада, а значит, акт сопротивления смерти, небытию? И не потому ли оно способно служить жизни, поддерживать ее, как о том свидетельствуют выжившие — в том числе и выжившие благодаря стихам?

«Страшные переживания, которые привели меня как человека на край смерти и сумасшествия, выучили меня писать. Если бы я не умела писать, я не выжила бы. Писать меня учила смерть». Это свидетельство Нелли Закс, пережившей трагедию в другой стране.

Нет, не просто эмоционально понятное нежелание уступать сцену побуждает нас доискиваться, зачем все-таки нужно даже нашему времени это, что говорить, довольно странное и сомнительное для взрослых людей занятие — помимо религии, философии, помимо наглядных, куда более полезных и понятных дел. Зачем-то оно однажды понадобилось человечеству — и может, все-таки нужно будет всегда?

Забавно бывает читать новейшие сетования, что весь материализованный мир уже «закрыт» описаниями, литературе как таковой уже нечего делать. И это все было. Это, между прочим, одна из тем знаменитого разговора с чертом композитора Адриана Леверкюна в романе Томаса Манна «Доктор Фаустус». «Мы-то натасканы в литературе, мы сразу замечаем, что экспромт не нов». Можно разве что «поднять игру на высшую ступень, играя с формами, о которых известно, что из них ушла жизнь». Тоже вполне постмодернистский разговор. И признаем опять: в нем есть своя правда.

С одной только важнейшей оговоркой: нас, таких, как мы есть, еще не было. Как не было и нашего времени. Пока мы живем, новое будет рождаться на пересечении с этим небывалым временем, с нашей общей жизнью и жизнью каждого. С нашими идеями, концепциями и находками тоже, новы они или нет, как и со всей предшествующей историей и культурой.

Все мы, в самом деле, натасканы в литературе, футуризм для нас давно плюсквамперфект. С бестрепетным почтением читаешь, скажем, теоретические рассуждения В. Шкловского — и вдруг: «Сегодня плакал в уборной. Очень обидная вещь старость».

И вздрогнет сердце. Такое будет трогать всегда, пока не переменится сама природа человека. Как трогает песня древнеегипетской девушки, вздох израильского мудреца Соломона или плач китайского историка, оскотленного по приказу императора. Это все-таки не случайно записано человечеством. И если это называется литературой — думаю, это пребудет вечно.

ПОЭЗИЯ И СУДЬБА АНДРЕЯ КРЫЖАНОВСКОГО

От редакции

Петербургский поэт Андрей Крыжановский умер в ночь на 1 декабря 1994-го года от сердечного приступа.

Биографическая справка Крыжановского Андрея Олеговича могла бы выглядеть примерно так:

Родился 13 февраля 1950 года в Москве. В 1953 году вместе с родителями переехал в Ленинград, где жил его дед, писатель Евгений Шварц. В 1969 году поступил в ЛГПИ им. Герцена (ныне — Санкт-Петербургский Педагогический Университет), который закончил в 1974 году. Сразу после окончания института по предложению Г.М. Фридендера написал — на основе дипломной работы — комментарии к роману «Братья Карамазовы», вошедшие в академическое издание Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского 1976 года.

С 1980 года принимал участие в работе ЛИТО Глеба Семенова. В 1987 году получил предложение выпустить книгу стихов «Звездный муравейник», однако в Союзе писателей отыскивались недоброжелатели, и даже несмотря на вмешательство Евгения Евтушенко книга увидела свет только в 1990 году. Две предыдущие, готовые к печати («Идешь один», 1980 год, и «Странник», 1984 год) опубликовать так и не удалось.

В 1991 году вступил в Союз писателей СССР, вскоре был избран председателем секции поэзии при Ленинградском отделении Союза, основал журнал поэзии «Речитатив», первый номер которого вышел в 1992 году под грифом «Секция поэзии Союза писателей Санкт-Петербурга». Однако руководство Союза не проявило никакого интереса к изданию, и в 1994 году Крыжановский отказался от членства в Союзе, а журнал со второго номера стал независимым. В 1993—1994 гг. работал в радиопередаче «Авторский канал — Невский проспект», в это же время выступил с серией уникальных вечеров поэтической импровизации...

Итак, наследие Андрея Крыжановского, как может видеть читатель даже из этой короткой справки, невелико. Он успел издать — небольшим тиражом — всего лишь одну тоненькую книжечку стихов. Успел выпустить лишь один номер основанного им поэтического журнала. И сделал всего несколько передач на радио.

А до этого — принадлежа к «поколению дворников и сторожей» — трудился сантехником...

Как многим его сверстникам, Андрею при жизни досталось мало, слишком мало любви и внимания тех, от кого зависит известность в литературе. Посмертно «добавать» любовь — горькая российская традиция. Но поэзия и судьба Андрея Крыжановского представляется нам столь значительными и характерными для эпохи, что мы посвящаем памяти поэта целый раздел нашей рубрики «Литература и время». Не воздать — пусть снова с трагическим опозданием — должное такому явлению, каким, безусловно, является творчество Крыжановского, было бы не только несправедливо по отношению к поэту и его безвременно и безвестно ушедшим коллегам, но и непростительно по отношению к преданным читателям и почитателям русской поэзии, которой Крыжановский в буквальном, а не фигуральном смысле отдал жизнь.

Мы публикуем ниже очерк Марины Кудимовой, посвященный поэзии Андрея Крыжановского, а перед очерком, чтобы дать читателям «Континента» хотя бы некоторое представление о творчестве этого замечательного, на наш взгляд, современного русского поэта, едва ли большинству из них вообще известного хотя бы по имени, мы поступаемся обычным нашим правилом воздерживаться от любых перепечаток и даем поэтическую подборку, составленную из стихов Андрея Крыжановского, напечатанных пять лет назад в книжке «Звездный муравейник» (опять-таки вряд ли известной нашим читателям) и из журнала «Речитатив», выходящего и вообще мизерным тиражом. При этом мы ориентировались прежде всего на те стихотворения, которые упоминаются или разбираются Мариной Кудимовой. Последние же стихотворения подборки до этого не печатались — они подготовлены для публикации в «Континенте» вдовой поэта Натальей Крыжановской.

Мы надеемся, что те, кто знаком с поэзией Андрея Крыжановского, поймут и разделят наше желание и этой новой публикацией, и републикацией избранных уже напечатанных его стихотворений открыть поэта едва ли не подавляющему большинству читателей «Континента», побудить их непременно разыскать и изданный в 1990 году единственный сборник Крыжановского «Звездный муравейник», и недавно вышедший 1—2 номер «Речитатива» за 1996 год, посвященный его жизни и творчеству, — дабы познакомиться с его поэзией более полно.

I. ИЗ КНИГИ «ЗВЕЗДНЫЙ МУРАВЕЙНИК» (1990)

* * *

Бессонница, работы лучший друг,
круг от настольной лампы, а вокруг
знакомых книг осмысленная давка —
чужие голоса, металлолом,
который, как в мартене, под пером
хозяина проходит переплавку.

Читаешь днем: «Поэзия — добро»,
а ночью спотыкается перо
о формулу, в которой однобокость
заключена, и подбивает бес
вписать над строчкой, ей в противовес:
«Поэзия — знак равенства —
жестокость».

* * *

Как высушить внезапных две слезы —
нагнуться, целовать и видеть кроме
лица еще и скучный дождь в проеме
окна, уже заклеенного в доме,
и, утешая, повторять азы:

де жизнь еще не кончена отнюдь,
о ней не стоит плакать, даже будь
нам по сто лет, быть может, существует
жизнь после смерти, дети говорят —
«когда я был большим», и целый ряд
подобных доказательств. Где-то дует,

не оттого ли слезы без причин,
и все вокруг предстало в мрачном свете:
нам холодно, пришла тоска о лете,
при чем тут философия и дети.
— Сиди, сиди, я сам включу камин.



Подумаешь — традиция, обряд,
путистый шум, треск микрофайерверков
в мигающих свечах, и наугад
в толпе толканье. Все-таки я рад
тому, что мы несем ребенка в церковь.

Печально, что ветшает этот дом,
в котором растворяться — честь и участь,
при бормотанье душ под потолком.
Здесь, в здании, увенчанном крестом,
в обнимку приземленность и летучесть...

Есть таинство и тайна в том, что речь
приглушена, и в том, что рубашонка
растегнута, и что в мерцанье свеч
волнуется вода и хочет течь,
готовая принять в себя ребенка.

Какой дизайн в узорах на парче! —
А братья во Христе, единовѣрцы,
несут детей, и каждый при свече.
Рембрандта нет! Что ж «Бога несть!» рече
безумец в надрывающемся сердце?

Спокойнее! Но затруднен плоток.
Расслабиться! Сглотнуть слюну! —
а в мякоть
под ложечкой вливается «Есть Бог!»
Я выношу ребенка за порог,
и за год в первый раз готов заплакать...



В сюжеты годится любой пустячок,
мельчайший конфликт, двухминутная ссора:
— Ты, как подмененный, стал груб и жесток.
— Так шла бы к тому, с кем ты в лучшую
пору...
— Зачем ты! Я все для тебя... — Замолчи,
заткнись, говорю! — и по кромке развода,
обрыва, обвала... Заплачь, закричи,

влезь жалостью в горло, исчезни в ночи,
чтоб смерть — и не видно счастливей исхода
в ответ на мое — будто к мертвой —

«вернись!»

— Вернусь, никуда друг от друга не деться...
Сюжет закруглен. Примирились. Сошлись.
Мне сызнова страшно на смерть засмотреться.

* * *

Еще на градус выше жажда жить,
попробовать, догнать, не упустить,
вцепиться в кубок — так ли у Ивана
из «Братьев Карамазовых»? — и пить
с оглядкой на густую тень романа.

Еще острее стала жажда сметь,
пусть неумело, по-школярски броско,
как писк птенца, рискнувшего взлететь...
Чья тень в углу раскурит папироску,
с колечком дыма выдохнув: — Комедь!..

Чья тень вползла из вытяжной дыры,
на этот раз прикидываясь ловко
не тем софистом, жаждущим игры,
а инфернальной женщиной, чертовкой,
зеленоглазой, львинозавитой,
желанной от ресниц до педикюра,
и вдруг открывшей истину: — С тобой
у нас не жизнь, а так, литература...

Святочное

Под Новый год метет, как водится,
и к десяти почти безлюдно.
Что где-то вместе люди сходятся,
мне наблюдать чудно и чудно.

Вот, расстоянием приуменьшенный,
в чужом окошке Т-образник
стола, и маленькие женщины,
себе устроившие праздник.

В прическах их, в любой оборочке
и каждой складочке одежды
на милого, который с горочки
к ним скатится, живет надежда.

Они на опытном заводике
сто лет работают, подружки.
Счет времени забыли ходики
без длинной стрелки и кукушки.

А снег все падает и падает,
не примелькавшийся ни крошки, —
прохожего морозец радует,
и скрип шагов, и свет в окошке.

Пушок на кофтах-самовязочках
воспринимается сквозь призму
то звезд на рюмочках и вазочках,
то часового механизма.

С дымящейся картошкой вносится
пылающая сковородка.
Похныкав, выпивки допросится
хозяйкин дедушка, сиротка.

* * *

Самое время подумать, зачем и куда
двинуться дальше. Новы ли транзистор
и пластик? —

В подлинно новом сто раз устарела нужда,
не удивительно, если ты смог без труда
время схватить, как Оливера Твиста,
за хлястик.

Самое время увидеть в чердачном окне
горе земли и злосчастье, осевшее в звездах,
крупно раскинувших пальцы лучей в глубине
неба, как пьяный в грязи, — и по всей их
длине
мелко дрожащий, как будто испуганный
воздух.

Мне при великом соблазне подобных картин
викторианские символы чем-то дороже:
вера в прогресс, в царство разума, в силу
машин,
сеющий свет просвещения Британии сын...
Сколько потерянной веры, о Господи Боже...

* * *

Хлястик, как на Оливере Твисте,
к яслям кособрюхая пробежка...
Я чужого отвожу ребенка,
отчего же он мне ненавистен
и откуда к бедному дурное
чувство пролетарскому дитяти?

Ножки так торчат из-под пальтишка,
что могла б вцепиться жалость,
если бы мне не был ненавистен
маленький невинный замухрышка.

Грош цена, друзья мои, всей нашей
добrote, когда найдет такое...
...На ночь мне опять к его мамаше —
существо ни доброе, ни злое...

* * *

Батюшки-светы, запить до зеленых чертей,
даже одежду спустить до последней рубашки,
спутаться с женщиной — уличной, общей,
ничьей,
ей продаваясь за рваный в нагрудном
кармашке.

Нашим убежищем станут подвал и чердак,
стала бы нашим дитятей литровая «бомба».
Я бы и умер, как жил: за глоток, за трояк,
за стеклотару, из мести, по дури, за так,
не ощутив преимуществ инфаркта и тромба.

Батюшки-светы, я сдох бы, как сотни других,
жизни поставивших в счет

вытрезвительский счетчик...

Спиться бы, спятить с ума и лелеять свой
псих,

я бы поверил, что в этом стихия и стих,
только поэзия — более сильный наркотик.

Плакат

Мы стали утонченной и неслышной —
ни ярости, ни трубной хрипотцы,
которыми прославились отцы
и чем гордились, может быть, излишне.
Ура им! Только мы уже не те,
нас вечный Бах баюкал в высоте,
нам дурочка-«Катюша» диковата.
Мгновенье — и повиснет в пустоте
надсадный марш военного плаката:
оскал широкоскулый и щербатый,
и головы стандартный поворот,
и общей боли выдох длиннорукий,
на пальцах и в глазах сухой налет
эпической невыдуманной муки,
и подпись-воплъ «Родина зовет!»

Тринадцатое число

Я родился в далеком, как детство, году,
говорят, очень слабеньким и маловесным,
чуть не умер, московским врачом

неизвестным

воскрешен, да воздастся ему по труду.

Я родился тринадцатого, в феврале.
Век, качнувшись на самой своей середине,
выбрал жизнь, пошептав надо мной

по-латыни,

в двух шагах от людей, волхвовавших

в Кремле

Блеск салюта раскрасил мою колыбель
с ватным дном и обивкой хлопчатобумажной.
Я крещен расторопной сестрой патронажной
в крутобоком тазу, заменившем купель.

В детской ванночке волны качаются в такт
недоношенным грезам, как дым папиросный.
Я запомнил присутствие матери крестной
и курящийся зеленью хвойный экстракт.

И еще — некой брезжущей ранней весной
крик машин, и боязнь человеческих пробок,
и кружение по мокрому снегу бок о бок
с колоссальной, зубчатой, кирпичной стеной.

Все в обрывках, а между — ни связей,
ни скреп;
эпизод неохотно идет к эпизоду:
то кремлевские стены и толпы народу,
то халаты врачей, навещавших вертеп.

Я запомнил: в дремучем московском дворе
мне высверливал дудку сосед-рукодельник.
Я родился тринадцатого, в понедельник,
прежде срока, при звездах, на самой заре.

II. ИЗ ЖУРНАЛА «РЕЧИТАТИВ» №1 (1992)

Памяти крестной

Вот и ставлю в заглавии «Памяти той...»
с первых дней одарившей высокой любовью,
выше даже родительской и половой,
но взаимной ли, трудно сказать, при условии,
что от горестной вести не встал на дыбы
мир, сложившийся под неустанной опекой
этой горбившей до смерти Божьей рабы,
убиенной любовью ко мне, человеку.

По преданию, в день своего Рождества
я вошел не жильцом, а скорей подселенцем —
так февральская, в синих сутробах, Москва
наградила ее чужеродным младенцем,
подраставшим, нагуливавшим аппетит
— Только ешь! — с причитаньями отданным в школу,
где учили не азбуку, а алфавит
— Как не сломят язык! — долго льнувшим к подолу,
оторвешь от него — ну, тогда и терпи,
что любовь к тебе вырастет в чувство к Отчизне;
жизнь петляет, как та же дорога в степи,
и устанешь, а чувствуешь радость от жизни...

Может статься, обычай поминок лежит
в самом центре народного взгляда на вещи,
но отпел ли ее удалой инвалид
чем-то вроде «Катюши», а то и похлеще,
и, в слепом вдохновеньи ощутив лады,
бил челом перед сонмом крылатых не с тем ли,
чтобы ей не давали отдельной звезды,
а хоть самую малость, да с видом на Землю —
ибо как еще мыслится рай для таких?

Если на небе кто-то и грохнул в литавры,
то осекся, поняв, что в религии их
главным праздником числится Фрола и Лавра.

III. ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ СТИХОВ

Смерть героя

Постояв над могилой, он станет жену
сам к себе провожать на поминки,
удивляясь — зачем он у смерти в плену,
в первый раз проиграв в поединке?
За столом надерутся, оплатят войну
и, торгуясь, как бабы на рынке,
вспомнят старые песни, но только одну
«Жди меня» допоют без запинки.

Он подумает с горечью: что это вам
стало весело. Господи, что за бедлам,
разве так провожают героя? —
И «Катюшу» уже не осилить гостям;
Он и сам подпоет им неслышно, и сам
выпьет с ними, невидимый, стоя.

* * *

Салют вам, солдаты резерва,
Вам, братья по духу, поклон —
Кому предназначено в первый,
Кому во второй эшелон.

Привет тебе, мальчик обозный,
Завистливо рвущийся в строй,
Очкастый, насупленный, грозный
Для кухонной кошки, серьезно
Решившийся на смерть герой.

Мужская забава — коррида,
Любимое зрелище дам.
А слезы кипят от обиды,
А губы дрожат от обиды,
На то, что сражаться — не нам.

Стадион

Бык повернется и круто опустит рога —
ноздри раздуты, глаза побурели от крови.
В желтом песке, статуэткой из бронзы нога,
вроде курка, вся взведенная, вся наготове.

Глыба пронизана током, и густо гудит
в ней напряжение, дрожа титанической дрожью.
Короткопалым копытом глубоко изрыт
желтый песок, разливается желчь носорожья.

Спущенный с тормоза, бык опрокинет врага
самым последним, до ужаса храбрым наскоком.
О, как пронизаны туловище и рога
мощно гудящим в ушах электрическим током.

И хитроумно порхающий тореадор
с вовсе нестрашным тонюсеньким прутиком шпаги
будет повержен на желтый песчаный ковер
и пригвожден, будто вырезанный из бумаги.

Но перед ловкостью что этот грузный наскок,
что там рога перед плашиком этим расшитым —
шпага в загривок, по мышцам пропущенный ток,
красный песок, разгребаемый черным копытом.

* * *

Все хорошо, все спокойно, но только на взгляд
тех, кто спокоен. В цепи размыкаются звенья,
и монотонность судьбы обрывается в ад,
и переходит спокойствие в долготерпенье.

Мне и сейчас бы держаться за мамин подол,
пить рыбий жир, заводить корабли в космопорты,
но, пластилиновый флот, ты давно на прикол
мною поставлен в пустую коробку от торта.

Если ее, будто старую книгу, открыть
и умилиться виденью блестящих флотилий,
то, я боюсь, с новой силой потянет лепить —
тронешь чуть-чуть, и в носу защекочет от пыли.

* * *

Мне идти вдоль складских помещений, трамвайных путей,
вдоль бескрылой застройки, доставшейся нам от прабабок,
в остановленном времени, будто попавшем в музей
и оковавшем кирпичный колодец, положенный набок,
с застоявшимся запахом пара и стынувших шей.

Завывающий ветер — певец победившей длины —
и в одном измеренье дает представление о шири,
как о чем-то абстрактном немыслимой величины,
вроде первотолчка или роли полей в микромире,
или тех же просторов державы, чьи дни сочтены.

Геометрия старых окраин, где линий косых
торжество не творенье ничье, а веление века,
парового, фабричного, с четким от сих и до сих
разделением пространства, куда не вместить человека,
разве только в составе толпы из убогих каких,

существует в своих нарушениях, и тем и живет,
что глядит исподлобья квадратами детских песочниц,
ромбовидным окном, полусферой забитых ворот
на торговую площадь с фигурками бойких цветочниц
и на мокрые розы всех стоимостей и пород.

А в евклидовых линиях выход на волю — углы,
на ближайшем закашлялся кто-то и носом зашмыгал
то ли небо с овчинку ему подмигнуло из мглы
и щекочет десятком в сетчатку вонзившихся игл,
то ли хочется воздуха — ан перспективы малы.

* * *

Поэзия, как ни клянись
Примером чужбины,
Включает и землю, и высь
В объем двуединый,

Вселенная вся целиком
В ней трудится, выдав
Сквозь тернии и чернозем
Свой крик неевклидов,

А замшевый шмель и оса
В одежде из шелка
Сплетают свои голоса
С биеньем проселка,

И млечный тростник, как стена
По выемкам луга,
И движутся он и она
Навстречу друг другу.

* * *

Я воскресну в весеннее таянье,
в синей глине оврага, у ног
вездесущих кустов, и в отчаянье
разобью над собою ледок.

Он слегка зазвенит, и покатыся
льдинки в талой воде, но меня
не захватит весенней сумятицей
новорожденных рек болтовня.

Не оправившийся от боязни,
я воскресну, но, сжатый в комок,
и мечтать не смогу о соблазне
влиться в голос весны, в ручеек.

В теплом воздухе, в нежном дрожании,
из могил поднявшись миражом,
к небесам мы свое покаяние
в ослабевших руках понесем;

Нескончаемой звездной дорогой
в белом свете молочной реки
мы подыдемся к Господу Богу
всем законам земным вопреки;

И врата отворят нам, изгнанникам,
автоматчикам, смертникам, странникам.

— Вот, забытые даже Тобою,
мы явились, — и скажет Господь
— Вот и дети мои, кровь и плоть.
Что же стали — идите в покои...

ПОДСЕЛЕНЕЦ

«Я покорюсь вам, призраки, оборотни, пародии.
Я покорюсь вам... Но все-таки я требую, чтобы мне
сказали, сколько мне осталось жить...»

В. Набоков «Приглашение на казнь»

«Я приехал в Россию в надежде на свой талант».

А. Пушкин «Египетские ночи»

К сороковинам Андрея я получила Письмо. Сама я впала в безнадежную эпистолярную анемию много лет назад и тем более была готова оценить этот подвиг. В Письме была та «точность тайн», которой могла владеть только написавшая его. Та, что перетерпела всех, кто опирался на родную руку, беззастенчиво повисал на ней или отталкивал, принимая да ю щ е г о за п р о с я щ е г о, — та, которой даровано дожидаться, когда мужчина, оставляя на миг долги свои, проникается наконец твоей единственностью. Не только для дистанции в 40 дней предмет меморий Письмом этим был очерчен так, что опубликовав Письмо целиком, можно было бы облегчить задачу многим, собиравшим силы для годовщинной и последующих сроков, когда очистится от вины и неожиданности случившегося нужный объем памяти. Когда-нибудь, наверное, оно и будет напечатано...

Но то, что пишу я, с Письмом соприкасается лишь по периметру. Я давно уже пишу в жанре воспоминаний о п о э з и и ...

**Марина
КУДИМОВА**

— родилась в Тамбове. Окончила Тамбовский пединститут. Подборки стихов, эссеистика, литературно-критические статьи публиковались в центральной периодике, в том числе в журнале «Континент». Автор стихотворных сборников «Перечень причин» (1982), «Чуть что» (1988), «Стихотворения» (1988), «Арысь-поле» (1989), «Область» (1989). Живет в Москве.

«Нас не любил никто. Некоторые не вредили — по лени, равнодушию, может быть, даже слабой симпатии... но помощников, соратников найти не удавалось никак».

Литература — это детсадовское «А теперь я!» на основе демонстративной утери памяти по отношению ко всему, что уже было сказано до нас.

«А теперь я!» Ах, какая артистка была Доронина! Как она Нюрой из «Трех тополе» вспрыгивала задком на телегу, у б и р а л а с ь , подтягивалась, свесив тяжелые крестьянские голени, и с тысячу раз собезьяненным придыханием резюмировала давешний разговор: «Вот не любят они нас!»

Андрей был из тех, кому рассказывают утаенное на исповеди. Свойство принимать и хранить тайну и было одной из причин «никого нелюбви». Всего лишь одной. Я вывалила на него кучу немалу, но не успела поведать гораздо больше. Например, про свои сны о том, к а к они нас не любят.

Сон первый. Поэт А. в обличье спившегося мастера ФЗУ, в черной шинели фасона «трудовые резервы», с болтающимися медалями дешевого списочного достоинства н е л ю б и т меня за то, что я не так живу. Мне стыдно, но дознаться, что имеется в виду под т а к , я не могу и — снится мне — униженно топчусь под лестничным пролетом, где стоит мой судия с шапкой, полной поданных бумажных денег...

Сон второй. Поэт Б. н е л ю б и т меня за то, что я ему неблагодарна. Не любит до белого бешенства в глазах и хульных изрыганий. Скованная сном, я боюсь, что если он набросится на меня, я не смогу защищаться. Б. извергает на меня самое дурное из своего потенциала, и другим достается почти одно хорошее...

Сон третий. Молодой литератор В. н е л ю б и т меня за то, что я не снискала славы. Он — снится мне — оставляет меня в сахаристой пустыне, и я чувствую, что слепну. Слепота, оказывается, заключается в том, что на сетчатке остается последний кадр зрячей жизни, и я навечно обречена созерцать раскатанный лыжниками полосчатый склон и западающее за него нестерпимое освежающее солнце...

Сон четвертый. Критик Г. н е л ю б и т меня за то, что в моей руке ему чудится граната, которой я намереваюсь его взорвать. Я подношу к его глазам совершенно пустую ладонь, но всякий раз к ней притягиваются очки Г., и его близорукость воспринимает мое желание оправдаться как грубую форму издевательства...

Андрей ни за что не хотел отделять литературу от жизни по пошлой схеме любителей объективности. Он не преминул бы сравнить меня с Верой Павловной. И трудно предположить, что он забыл о первоисточнике, когда писал:

...зависть, — боюсь, что из многих страстей
сильнейшая там, где сошлись обладатели лиры.

Первоисточником поэзии по имени Пушкин он был пронизан. Впрочем, кто же до конца объяснит, включая Р. Барта, эту блаженную способность к вытеснению самого знакомого и чаемого, эту уверенность в первородстве, с которой пятиклассник пишет в редакцию: Я написал стихи и прошу их опубликовать:

Однажды в студеную зимнюю пору
Я из лесу вышел...

Палимпсест — слово поверх слова и письмо из-под письма — и эту простую метафору упустили ученые семиотики. Андрея не могло не изумлять, что со времен «гения и злодейства» в персональной нелюбви человека к человеку ровно ничего не изменилось. Завороженный прописной ЛЮБОВЬЮ к людям, он локализовал нелюбовь к себе до собственных стихов, думал, что это их не воспринимают. Будучи не узнан в качестве сына человеческого, он оправдывал нелюбящих неузнанностью своих стихов. Раздражался, ругался, страдал, но оправдывал, хотя именно отсутствие дара различения у новых Сальери — в сравнении даже с нелюбящим, но различавшим пушкинским — превращало их когорту в теневиков, в мелкую нечисть, которая вредит и не показывается.

И выставляет напоказ какого-нибудь параноидального критика Г., подозревающего гранату на ладони, на которой нет ничего, кроме линии судьбы. Выставляет, подставляет для будущих мемуарных пародий, чтобы праведный гнев потомков пал на голову подставной резиновой куклы в ученых очках.

Крыжановский был из тех, кому не отказывают в даре. Спросишь про такое в соответствующей среде — все наморщивают лобики и понимающе цыкают зубом. Но количество понимающих никак не переходит в качество узнавания, не гарантирует той частоты упоминания, внесения в реестр, которая уводит из опасной зоны «и др.» хотя бы в «а также». Л.Я. Гинзбург назвала это «драмой ненужных хороших стихов». Это драма затянувшегося прабытия, которое страшнее просто небытия. Как и все мы,

Андрей рвался в среду, за толщу бумажного круга. Как немногие, он заранее норовил оттуда сбежать — хотя и тихо, по-английски, точно из неинтересных гостей. Но побег не прощается — как и нарушение этикета.

Однако разве героем подобной драмы неузнавания при знании не был И. Анненский? Ходасевич? Цветаева? Разве любимый андрюшин земляк не восклицал: «Каким поэтом мы пренебрегли!»

Но это — постфактум, когда среда уже не зыркнет предостерегающе: смотри, а то и с тобой так же!

Прижизненная слава (без пафоса — успех) априори находится за рамками Замысла о Поэте. Дар — и поэтический — самая полная компенсация человеку за пребывание в юдоли скорби. Андрей знал об этом:

Спиться бы, спятить с ума и лелеять свой
псих,
я бы поверил, что в этом стихия и стих,
только поэзия — более сильный наркотик.

Может быть, тут все дело вообще в интеллекте и вкусе? Может, отвергающий выбор между добром и славой таврен каким-то невидимым знаком отверженности — невидимым для непосвященных и дымком Отечества приванивающим для тех, кто чуток на гарь? Привычнее другое: право на вседозволенность, выторговываемое для себя теми, кому не дозволено ничего под страхом потерять полученное. Здесь ведь и лежит предел свободы — в страхе потери дара, а не в ужасе обладания славой. Чтобы и этот предел снести, нужно убить источник страха — ощущение Дара как трансцендентного, перевести в е д е н и е в самодостаточное п о в е д е н и е , во внешнее, в лицедейство.

Конечно, конечно, — «пока не требует»... Но постепенно и неизбежно имитация «затребованности» сменяется откровенной демонстрацией откровенной самости. И тогда уже летят все пушкинские оправдания поведенческого беспредела. Становятся просто смешны. Ну, а уж коли нужно изображать, что продолжает «требовать», и коли не хватает при этом артистизма, «дискурсов» и «инсталляций» — тогда вообще туши свет! Как полинаркоман прибегает ко все более сложным комбинациям, так имитатор аполлонического зова все более разнообразит антураж, удорожает свою отпускную цену, В каждом жанре и виде искусства — по-своему. Компьютеры и прибрежные виллы литераторов — сущие пустяки по сравнению хотя бы с кинематографом. Недавно

показали съемки «Апокалипсиса» и назвали несколько вполне астрономических цифр, эквивалентных (или нет?) «священной жертве». Но и это все — ерунда в сравнении с особым режимом существования «жреца», даже если он приносит жертвы на малогабаритной кухне, с моральным террором, который насаждает он вокруг. Жизнь как форма поведения рождает жизнь как текст, где Ортега с его «дегуманизацией» — просто милый провинциал. Художественный геноцид, царящий ныне в искусстве, деперсонализирует уже самую сказку — сказку об Авторе. Он сам становится персонажем. Теперь от него никто ничего не требует. Собственно, теперь ему не требуется сам Аполлон. Гомер был слеп, поэтому его водили. Приговор ведет себя.

Можно упомянуть и единожды. Смотри кто упомянет. Можно сразу из «и др.» махнуть в «и в первую очередь». Некого писателя упомянул выдающийся мастер геноцидных дел, растворитель человека до тени самого себя. Тени, которая сберегает от самой себя. И вот он, упомянутый, значит, благодарит Ревнителя таким образом: «Набоков, любивший мистификации, может быть, никому в жизни правды не сказал». То есть, сам упомянутый не поверил в эту петрушку! Это, по его же собственной формуле, школа, в общем-то, для дураков.

Крыжановскому, кстати, тоже благодарности писали. Например: «...от побежденной ученицы». Это — о разнице между ведением и поведением...

В. Набоков, презиравший чужую славу и купивший собственную ценой низведения двенадцатилетней девочки до «щелочки» между ее ног (ах, да что Вы! Да это же про другое! Это вообще совсем другое!), выставил в приговор Цинциннату Ц. его «непроницаемость». Понятно, тут сработала аллитерация: «ци-ц-ца».

В Андрее отрицали неуязвимость. «Гносеологическая гнусность» Цинцинната состояла в том, что он провоцировал в пародиях агностицизм, тогда как пародия — полностью познавшая, да и познаваемая субстанция. Неуязвимость же, за которую уязвляют насмерть без всякого приговора, без всех этих демократических манипуляций, состоит, как ни странно, в допущении «человеческого, слишком человеческого» наравне с аполлоническим, как равнодействующей величины. В Письме это дано так: «Не хочу кощунствовать, но что-то в нем было от Иисуса. Это внимательное и уважительное отношение к любому человеку вне зависимости от степени его греховности и падения».

Но ничего кошунственного здесь нет. Иисус был неуязвим настолько, что дал убить Себя, чтобы даже у персонажей и пародий всегда оставался шанс на экзистенцию.

Карабаса Набокова куклы прославляют громче всего за преодоление «христианской этики». Набоков считается хорошим сыном на том основании, что для своего отца он делал исключения там, где чужих отцов просто уничтожал. Но сыновства как главной творческой проблемы, как преемства для него, конечно, никогда не существовало. А иной цели, кроме славы, у персонажной литературы быть не может. И вот он получил ту благодарность, какую получил: «...никому в жизни правды не сказал». Читай: так мы, персонажи, тебе и поверили, разлетелись!.. Ты сегодня похвалил, а завтра ноги вытрешь, как и мы бы сделали.

«Лишним человеком» в такой ситуации становится неизбежно Сын Человеческий. «Лишним поэтом» — всякий, кто смотрит в Его сторону. О лишнем поэте замолвите слово!

Крыжановский сказал о Пушкине (Пушкину) нечто такое, что, если бы прочли, подняло бы по тревоге всех «железных пушкинovedов». Но они в это время изучали Абрама Терца.

Ну, что ж! Лучше, как говорится, поздно.

Антипророк

Меня ввели в сплошную шестикрылость —
шум складок, шелест перьев, трепет форм.
Набор медикаментов: хлороформ,
бинты и кровь в консервах, чья-то милость.
Но на соблазн могуществом таким:
— Я слаб, но не согласен, Серафим!

Ты в силах дать всеведение пророка
и донную премудрость змей и рыб,
но, чтоб всосался в кожу детский всхлип
и дерева обиженного скрип,

останусь в русле общего потока.
— Влей я в тебя всеведение, и стало б
светлеть пространство, раздвигаться ум,
пронзил бы уши горней речи шум...

— А если он не даст услышать жалоб?

Вот почему Набокова так раздражал Достоевский! Писать, конечно, можно и получше. Но кто сказал, что Достоевский писал х о р о ш о ? Достоевский писал г е н и а л ь н о . («Ужель он прав, и я не гений?» — Прав, братец, еще как прав!) Но что есть гений помимо «парадоксов друг» с тех пор, как эти парадоксы заключаются в демонстрации голого зада с прыщом? Вейнингер писал: «Творчество гения всегда направлено к тому, чтобы во всех людях терять себя, сливаться с многообразием жизни...» Парадокс гения в его экстравертности. Интровертные же просто х о р о ш о пишут. Как и графоманы. В этом их неоспоримое достоинство и вечная соревновательность. Гений — тот, кто не ищет «малой свободы» типа «свободы творчества». Чем не парадокс? Драма «ненужного хорошего» — драма *соревнования*, а если гению и присуще п о в е д е н и е , как всякому человеку, то оно в принципе н е с п о р т и в н о .

Вышеславцев о Пушкине: «Он никогда не смешивает добра и зла, никогда не ставит себя по ту сторону добра и зла, в нем есть глубокое чувство греха и раскаяния».

Из Письма: «...именно это его свойство почти чревного разграничения добра и зла спасет его Там».

Чем-чем, а любовью взбунтовавшихся персонажей, отчленившихся теней тут и не пахнет. Они-то как раз полагают, что если они не запланировали заложить добро в осуществляемый ими сюжет, как представительские расходы в смету, то нечего и вольноваться.

Поэт давно перестал быть создателем г е р о е в — Манфредов, Дон Карлосов, Онегиных. Он уступил поле поэзии п е р с о н а ж а м .

Паскаль говорил о Боге «философов». Нам ситуация вполне позволяет говорить о Боге неофитов. Человек с крестом во всю грудь кричал в ответ на мою попытку урезонить его: «Это жидовский Бог зовет к смирению! Иосиф Волоцкий к смирению не зовет!» Неофит выбирает Бога, как костюм, примеряет его к своим изысканам. В каком-то отношении можно также определить нынешний «религиозный Ренессанс» и как обретение Бога блатных. Блатных не только и не столько в смысле криминальном, хотя округ колокола, назначенного быть водруженным на восстановленный храм, я читала надпись: «Русской Православной Церкви от солнцевской бригады». Имеется в виду блат в чисто советском смысле расширения возможностей. Блат как символ особых прав

и гарантий. «Исповедоваться у Меня» в свое время звучало как «отобедать у Тестова» — означало принадлежность к касте посвященных. Блатные и неофиты сплошь и рядом сливались в некое социальное целое. И те и другие знали, из какого магазина или базы поставляется Филипповским постом семга к митрополичьему столу. Своего приноровленного Бога они оберегали от сглаза, как готтентоты или цыгане, а «изыдите, оглашенные» в различных модификациях срывалось с их уст еще чаще, чем упоминание всеу Священного Писания.

Что касается г е н и я , то это — всего лишь платонов эвфемизм Образа и Подобия, где Образ имеет значение витального творчества, а Подобие — «морального», п о в е д е н и я . Не вероисповедание меня занимает в художнике, но, по слову далекого от ортодоксии А. Белого меня само искусство интересует как «кратчайший путь к религии».

Да, цель поэзии — поэзия, но умри, Денис, а это лишь границы человеческого ведения проблемы. Ибо, безусловно, есть в ней цель высшая, трансцендирующая помыслы и чувства человека. Бунт п е р с о н а ж е й состоит в провоцировании «вторичного хаоса» при полной беспомощности по отношению к первичному, в спекуляции стихией при полном неумении ее организовать так, чтобы не погибнуть в ней.

Только что признавшись, что похвала Набокова определила его к а р ь е р у — не дальнейшее творчество, не судьбу, а п р о х о д к у , — упомянутый и похваленный тут же теряет стиль и твердит какие-то смутные зады из расхожего лексикона самоутверждения образца «оттепели»: «Авангард самодостаточен. Авангард — искусство в чистом виде... Пушкин, безусловно, был бы авангардистом...» и пр.

Так становятся п е р с о н а ж а м и , так заигрывают пластинку.

Не с «авангардом» и даже не с тем, что им величают, боролся Крыжановский. Не такой он был, чтобы бороться с... «Белому делу» русской поэзии он служил до упора, вытеснению человека противостоял. Ведь и большевизм, в конечном счете, не о технологическую «отсталость» споткнулся. О человека! Искусство «вторичного хаоса», безусловно, н е л ю б и т таких, как Крыжановский — как не могли Ленин и Дзержинский л ю б и т ь Бердяева, как не мог Сталин л ю б и т ь Флоренского, как Бог блатных не

только любить, но и иметь не может Сына: нелюбящий — бесплоден. Бог неофитов радуется об умножении прихожан, а не о единстве Образа и Подобия.

Но, по Бердяеву, «наиболее родящее — наименее творящее».

Крыжановский говорил в радиопередаче, где я, по его замыслу, работала интервьюершей: «...то, что называют авангардом, это, наверное, всего-навсего внепоэтические выходы уходящих сторон европейской жизни и мышления». Насколько все же в этой извиняющейся интонации больше силы и убежденности, чем в *спортивности похваленного*...

Итак, «гений» здесь, как и Бог, — лицо выборное, вернее, назначаемое на эту должность той или иной группой лоббистов и отвечающее за «кристаллизацию общественной актуальности» — то есть, попросту, моду. Сказано же: если нынче носят авангард — будет авангард. При чем здесь автор тоненькой книжечки, умерший в сорок три года «в своей постели»?..

В контексте искусства как кратчайшего пути к религии и имея в виду самоощущение художника, идентифицируемого как Сын, Крыжановский был поэтом Рождества. Недаром по его ранним строчкам бегают пастернаковские нотки. Здесь снова присовокупляется тема преемства, но сейчас речь о другом. Запись в предсмертном черновике Пушкина, где «религия» стоит между «любовь» и «смерть», свидетельствует о закономерности пути.

Рождеству, завернутому в собственное Андрея появление на свет, посвящены два стихотворения, которые Андрей оставил на пленке — «Я родился тринадцатого» и «Памяти крестной». Эти, писанные, стихи в магнитофонном варианте предвосхищают бесписьменное творчество Андрея — его передачи на питерском радио. Его импровизации...

Поэзия — искусство слова. Вот такой трюизм. И сладко, и больно, — как в детстве, когда посреди дискурса отважишься сказать что-нибудь заветное: поэзия — искусство слова. Как его поставишь, так все здание и построится.

Письмо: «...ему фатально не помогло ни одно из обстоятельств жизни, из которых другие делали и биографии и имена».

Так! И не так. Он родился внуком Шварца не для того, чтобы ревизовать шлепанцы в именном музее, но чтобы собственной судьбой проиграть историю Ученого и Тени. Он был заморожен

этим бродячим сюжетом, постоянно к нему возвращался, и дед только в этом мог быть ему в помощь. Да, он трудился в ведомствах метлы и лопаты так долго, что это перестало приносить биографические дивиденды. Да его Бог и спас бы от такого позора. Но в ЖЭКе или РЭУ он подобрал слово, которое стало метафорой существования сына человеческого в постзощенковском раю:

По преданию, в день своего Р о ж д е с т в а
я вошел не жильцом, а скорей
п о д с е л е н ц е м .

(Разрядка моя — М.К.)

«Очень слабеньким и маловесным», совсем не кватроченто-вым родился Младенец, чтобы сразу же, без передышки, без бегства в Египет, погибнуть в советском роддоме. Но время так спрессовалось, что чудо Воскрешения было произведено «московским врачом неизвестным» тоже не в третий день, а покуда не наступил отек легких. И за этот миг дитя, может быть, прошло такие искусы, что удовлетвориться дворницкой бляхой ему было бы просто непристойно. Такая коррекция Евангелия, думаю, вполне правомочна, потому что дело происходило «по преданию», а не по Писанию. Аллегория Отчизны-крестной в отличие от традиционной Родины-Матери образно восходит к «безматерней» поэзии певцов Арины Родионовны и Елены Кузиной. В стихотворении «Плакат» Крыжановский редуцирует знаменитый военный призыв «Родина-мать зовет» в просто — «Родина зовет!» И сделано это вовсе не из-за «скованности» метром (недавно услышала комментарии критика к чьим-то верлибрам: «Его стихи не скованы (!!!) ритмом и рифмой»). Крыжановский хранит целомудренное молчание о своем сиротстве, но ощущением его наплены многие стихи. Недаром эпическим «по преданию» заменяет он домашнее: «по рассказам матери». И это — тоже особое обстоятельство Рождества в новейшей истории. Родина-крестная воплощается через унаследованных от язычества укротителей Фрола и Лавра. Таинство снижается до «Подумаешь — традиция, обряд», но религиозное переживание опосредованно происходит во время Крещения собственного ребенка.

В этом же стихотворении описано и искушение неверием:

Что ж «Бога нет!» рече
безумец в надрывающемся сердце?

Два слова, два понятия — безумие и надрыв — покрывают всю отсутствующую гамму релятивистских метаний.

Явление Сына Человеческого в мир испорчено «квартирным вопросом», прочитанным онтологически. Рождество изначально лишнего приравнено к коммунальному подселению. Нелюбовь к Младенцу предопределена. Стихи приобретают то «сверхзначение», которого, по мнению Л. Гинзбург, ищет в них современное сознание. Драма ненужности достигает кульминации. Волхвы, избранные возвестить миру приход Спасителя, представляют государство, располагаясь в Кремле неподалеку от вертепа, то бишь, роддома. Соответственно, о событии им доклады вают официально. Волхвам во френчах по моде «середины века», отрезанных от мира «колоссальной, зубчатой, кирпичной стеной», светит самодельная и самоцельная рубиновая звезда.

Образ поэта (Спасителя мира) и поэзии (его спасения) поднимается во весь рост в программной статье Андрея, опубликованной в созданном им журнале «Речитатив». «Если мир лишился разума, то не вина ли здесь и поэзии, переставшей ощущать свои пределы и распахнувшей двери для не-поэзии, теперь активно вытесняющей со двора хозяйку?»

Кошунственное велеречие и блистательная графомания «Приглашения на казнь» подчинены принципу пародийности (авангард!) и выдерживают его с генштабовской последовательностью. Подлинность Цинцинната удостоверяется комическим ватерпруфом квазиматери (авангард!).

Крестной Крыжановского сродни пушкинская няня-фольклористка и лишенная фольклорной базы кормилица поляка Ходасевича («она не знала сказок и не пела»). Но Андрей идет дальше и пишет поминание «убиенной любовью ко мне, человеку». Это — единственное в своем роде покаяние.

Несмотря на сатириальную (похотную) подоплеку «Гаврилиады», несмотря на то, что Вл. Соловьев поставил ему «в фальшь» «Гения чистой красоты» и «Чистейшей прелести чистейший образец», Пушкин был поэтом Благовещения. «Рыцарь бедный» искупает его юношеское помрачение даже в глазах философов. Мальчик Лермонтов прикинул к стопам Матери Божьей — заступницы. Бессознательный исихаст Крыжановский живет в Евангелии от Иоанна, чтобы «свободе совести», ублаженной

непорочным зачатием других Евангелий, где нет Благовещения, жизнь медом не показалась.

«Поэзия спасет мир»... Город, который привел инженера-ка-торжанина Достоевского к мессианизму во главе с Красотой, сантехника-п о д с е л е н ц а Крыжановского довел до замены в этой формуле подлежащего. Потому что:

Где красота? — На мостовых
шаги, как звуки зуботычин,
и каждый шорох, каждый штрих
трагичен, до конца трагичен.

Стихи обращены к памяти Шостаковича. Но не о разочаровании в красоте речь, а о смещении эпицентра. Олег Григорьев своим детским глазом (а не тугим придумом) умел это видеть: «Вместо рабочих в комбинезонах, идущих домой, какие-то рамбинзоны в заботине, грядущие за мной».

«Повесть о двух городах» в русском переводе всегда дает Москву и Петербург, а последний у Крыжановского еще и удвоен Лондоном Диккенса, которого обожал Достоевский, отзеркален им. За хлястик прообраза п о д с е л е н ц а , «лишнего» мальчика Оливера Твиста, держится наш москвич по рождению и невольный петербуржец, пробираясь на грани провала своего первородства в «каквсейность»:

«Этак сдохнешь, как Бобик!
Я до смерти скромностью сыт!
Я не хуже вас всех!» —
раздуваются ноздри соблазна.

Ничтожный изъян — не вложили фермента удачи в кровь ли, в душу...

Или это и есть избранность? В вате, войлоке, сурдокамере безотзывья («таков и ты, поэт!»).

Но ведь безвыходных положений не бывает, и в наш лишь по видимости абсурдный, а на самом деле, как никакой другой, рассудочный век за несколько уроков можно научиться смотреть в искаженное стекло. Куда бежать «от шагов божества» абсолютно ясно: от слова — к «дискурсу», от жизни — к «поведению», от спасения — к моде.

Но когда тебе априори заявлено:

Прости, ты не зван
и не ждан, —

от этого нельзя не страдать...

«Его страшно унижало, что на жизнь он вынужден зарабатывать, используя вовсе не верхний слой своих возможностей» (из Письма).

Вытеснив Человека, культура перестала быть ему интересна и на него же за это окрысились, а сама у себя нащупала, как опухоль, некий «кризис» и стала с ним носиться по поликлиникам и шарлатанам.

Если бы только попытка продемонстрировать «верхний слой» побудила Андрея к уходу от письма в звук, от версификации к импровизации, он занял бы среди персонажей если не лидирующее, то прочно ангажированное место! Но в новое качество им было привнесено столько «последних вопросов», сколько «последних времен» было пережито в качестве прежнем — равносущем. Оторвавшись от хлястика Оливера, он обнаружил, что открывшаяся бездна полна отнюдь не звезд, и назвал, поименовал эту бездну, в которую упало целое поколение:

Когда за срезом детства нет судьбы,
и невозможно слиться с этой явью.

При последней очной встрече он нервно листал взятую с моего стола книгу «Понятие судьбы в контексте разных культур» (портативная судьба — биография — пылилась под шкафом). Андрей готовился к бою со стаей персонажей, к бою за Судьбу без эпитета и против навязываемого и навязшего сюжета... Назавтра ему покажется, что бой не проигран, и он будет фантастически талантливо танцевать дикую хабанеру, а потом кромсать ножом и поглощать с присвистом гниловатые октябрьские помидоры, и партнерша по танцу скажет: «Ты неумный. Ты долго так не выдержишь». Он думал, что Судьба — это когда «зван и ждан». Он вовсе не был фаталистом.

Я поддразнивала его: «Ну, давай, давай поимпровизируем...» Он морщился и, стараясь сохранить выдержку, соглашался: «Давай!» Это было с моей стороны подло — ведь он хотел обрести здесь единственность, которой не обрел в письменном виде. Он хотел, и надо было уступить, дать ему фору быть первым безусловно, не метафизически. Жажда первенства не была в нем литературной, но составляла природу его мужества. Литература же прибегает к половой дифференциации только когда хочет унижить.

Выйдя на импровизацию, Андрей намеревался помирить «творчество и чудотворство». Поэзия, призванная спасти мир, для начала сама нуждалась в спасении, и Андрей решил, что нашел

кратчайший к этому путь: «Импровизация или сочинение стихов за время произнесения, т.е. мгновенно — это наглядный прорыв за сферу чисто аналитического или конструктивного подхода, мгновенное освобождение образа мира уже без труда, хотя и через труд...» Он хотел разоблачить шарлатанство заочного «освобождения», думал, что наглядностью восстановит доверие к чуду.

Была и еще одна цель — защита прав русской рифмы: «Понятно, кстати, что импровизация верлибром или даже акцентным стихом никакого впечатления чуда произвести не может, и это тоже показатель особой ценности и исключительности классической формы» (А. Крыжановский. Поэзия и мир: трудности взаимного осознания, «Речитатив», № 1). Русский дар тяжел и серьезен, как и менталитет народа, с большой подозрительностью относящегося ко всяким «глупостям». Надо было сто лет упираться за «свободу творчества», чтобы теперь брюзгливо констатировать: «Вот, смотрите, поэт перестал быть учителем жизни, превратился в маргинала!» Это вы превратились, потому что платят больше. При чем здесь п о э т ?

Но импровизация — это что-то завлекательное, барочное. Что-то вдохновенное, что вообще смешно в наше срепетированное время, как раз не допускающее импровизации — ни инфляционным удорожанием искусства, ни все более иждивенческой его природой, потому что самостоятельно, без с п о н с о р а , покрыть расходы на собственную славу невозможно. Только сумасшедший мог сегодня вообразить, что ему будут платить за «вдохновение»! То, что Андрей в разговорах придавал своему импровизаторству некий коммерческий привкус, было, конечно, простым снижением пафоса, но и вечной надеждой п о д с е л е н ц а на свой угол, на не занятую чужой постирушкой ванну...

В 1826 году в Москве появился Мицкевич. Европейец, большой поэт, ученый малый. Только Пушкин мог себе позволить встать перед ним навтыжку: «Встань, двойка, туз идет!» Остальные испытывали подобострастие перед м н е н и е м : «Мицкевич обладал редким даром импровизации. Ему задавали тему. Он молчал несколько минут, потом выступал вперед и начинал говорить стихами. Лицо совершенно преображалось, глаза блистали экстазом, слушатели испытывали почти страх, — как будто это не он говорил, а какой-то дух, ниспущившийся на него. Вдохновение не покорялось ему, а целиком владело им. Он не останавливался, не задумывался, не подыскивал стихов, напротив, они с таким напором кипели в его голове, что он, задыхаясь,

еле успевал их выговаривать. Перед русскими слушателями Мицкевич импровизировал *прозой на французском языке* (курсив мой — М.К.).

Вот, стало быть, как выглядело вдохновение! Какой, стало быть, и м и д ж был в употреблении, какое п о в е д е н и е довлело. Понятно теперь...

После длинной торжественной цитаты короткая выдержка из Письма с присущей и приличествующей эпохе иронией: «При мне он заговорил слабеньким голоском с качаловскими паузами, утрамбовывая провисающие строчки упаковочным материалом...»

М-да, трудно нынче дается ниспускание духа... Представить себе маленького Андриюшу, «блистающего экстазом»?.. Увольте, он же не Чарли, в конце концов! Зачем вы его обижаете? А зачем он все это затеял? (Ну вот и пардону запросила...) Затем, что бунт персонажей, который они сами продиагностировали как «дизморфоманию» — страсть к разрушению формы (кitchась еще и приоритетом отчуждения даже от своего безумия, доказывая лишний раз, что никакого это не безумие, а *дороже дадут*), — затем, что этот бунт можно подавить только о с в о е н и е м, укрощением формы, причем не доводя ее до экстраполирования безумия в «морфоманию», как это было с Брюсовым.

Андрей вышел на подавление мятежа в одиночку и был убит, как граф Милорадович.

Мицкевич напомнил мне покойного Нодара Думбадзе: у него поинтересовались, как он, не зная по-болгарски, общается с болгарями, не знающими не только грузинского, но и русского. Нодар ответил: «Очень просто: мой русский оказался болгарским».

Вяло поиздевавшись над импровизациями Мицкевича французской прозой, которые сдались московским галломанам за стихи, и поворошив роман Гофмана «Импровизатор», следовало было бы, наверное, все же сдать на милость Европы — страны святых чудес. Но комплекс Левши далеко не изжит русской душой. Десять лет экзерсисы ляха, к тому времени уже показавшего «москалям», где зимует сепаратистский рак («Дзяды» читали в России без перевода) не давали покоя Пушкину. Наш псковский Левша, неутомонный Сверчок, непроницаемый арапский Цинциннат, начал да и бросил «Египетские ночи». Он давно уже «перевел» французскую прозу русскими блистательными стихами, так что вышло не письмо Татьяны, а прямо-таки «Песнь женского сердца, песнь женских страданий...» Не стал вот дожидаться, пока подрастет автор этой простодушной строки Дуся

Ростопчина, у которой накануне дуэли будет обедать и беспрестанно «мочить голову холодной водой». Сверчок сам побывал первой русской поэтессой (кто там научил женщин говорить?), а потом вот решил попробоваться и на неаполитанского импровизатора. Чистый постмодернист! Дизморфومان! *Импровизации* итальянского искателя облегчить русский карман он *написал*, изобразил своим изгрызанным пером.

Имея героем повести поэта Чарского, мы вправе ожидать романтической, как бы выразился Крыжановский, «заточки» сюжета. Куды! «Чарский, — как оказывается, — употреблял всевозможные старания, чтобы сгладить с себя несносное прозвище». Чарский, таким образом, использует поведенческую модель, хотя, в сравнении с Приговым, такое поведение скорее является антиповедением. Здесь мы имеем, по словам другого «поведенца», А. Еременко, «наваждение причин». В «Египетских ночах» ничего не сказано о степенях дарования Чарского, в отличие, скажем, от Ленского, за коего стихи так же сочинены, как за Татьяну ее письмо.

Пригов — графоман, играющий в игру в графомана. Ничего сверх ему природой не дано.

Крыжановский — поэт «по преимуществу», которого судьба поставила в абсолютно неигровую ситуацию и снабдила вдобавок развитой моралью. Он серьезно дольше всех был сантехником, кормя семью, серьезно делал замечательные передачи на радио, потерпел все мыслимые поражения и загнулся «на постели», никого не успев даже напугать. И вот человек с такой, выразимся, кармой решил заняться игрой, словно какой-нибудь Германн! Поэзия по предназначению бескорыстна, дополнительных закусок к дару не полагается, и Андрюша врубился в философию вдохновения, оказался в центре проблем трансцендентного в современном человеке и искусстве. Не «блистать экстазом», а медитативно г л у б н у т ь — вот все, на что он мог рассчитывать...

Чарский — поэт, играющий в непоэта; «...с господами стихотворцами ничего общего не имею и иметь не хочу», — заявляет он только взошедшему на его порог неаполитанцу. Еще не слыша ни строки из уст гостя, он спешит к н и з и р о в а т ь будущее событие, которое по замыслу должно перевернуть его жизнь: «...главное — чтоб вы были в моде». За напускным цинизмом скрывается глубоко разочаровавшаяся в возможности «отзыва» душа. Актуальность Пушкина сверхъестественна! Чарский тяго-

тится необходимостью быть персонажем, играть роль артиста. Чудо письменного вдохновения интимно, работа невидима, как сама мысль. И вот ему представляется случай лицезреть «наглядность» чуда. Он потрясен. Экзаменуя итальянца, Чарский задает ему тему пресловутой свободы творчества: «...поэт сам избирает предметы для своих песен; толпа не имеет права управлять его вдохновением». Но парадокс в том, что перед ним — представитель «управляемого» рода поэзии, и Чарский сам с интересом испытует его на управляемость. Как известно, гость отвечает на заданную тему одним из лучших стихотворений А.С. Пушкина, где поэт софийно и фрейдийно сравнивается с девой. Заданность есть нормальное условие любой игры. В остальном законы творчества сохраняются: «почему мысль из головы поэта выходит уже вооруженная четырьмя рифмами, размеренная стройными однообразными стопами? — ...тщету я сам захотел бы это изъяснить», — оправдывается пушкинский импровизатор. Крыжановский, поэт другого века, был отягощен еще и обязанностью просветительской и правозащитной (по отношению к стиху). И при этом «блистать экстазом»? Задача непосильная, но посильные были ему строго заказаны. Он пошел на то, чтобы быть «управляемым», потому что был совершенно свободен и свято убежден: «...поэзия, как и всякая литература, глубоко содержательна».

Написав хорошие стихи, выдав их за импровизации и снабдив соответствующим антуражем: «Лицо его страшно побледнело, он затрепетал, как в лихорадке...», — Сверчок умолк.

Через полтора столетия это безумное предприятие возобновил ни с того ни с сего п о д с е л е н е ц , еще не выпустивший из рук разводного ключа.

Затея была безумна со всех точек зрения. Импровизация заведомо не предназначена для критического разбора. Будучи устной поэтической формой, она рассчитана на эмоциональное воздействие, на впечатление. Следовательно, адекватной реакцией могла служить тоже только устная же оценка, а индикатором известности — устное словоизъявление, по прежнему говоря — м о л в а . Но распространение м о л в ы находится сегодня в руках аудических средств массовой информации — радио и телевидения, которые обслуживают узкий круг «революционеров», попавших в реестр упоминания. Можно назвать целую когорту первоклассных авторов, достаточно широко публикуемых, которые за свою жизнь не удостоились ни единого критического слова. Уровень коррумпированности литературы вполне

сравним с коррупцией каждой отдельно взятой области человеческой деятельности, с коррупцией как способа осуществления любого замысла, любой материальной цели. Корпоративная критика, лоббирующая определенный список авторов по договоренности или — что гораздо менее вероятно — по зараженности неким общим вирусом, а скорее всего, по органической ненависти к недоступной им литературе, — критика эта в случае, если разнос не приносит дивидендов или невозможен по неоспоримым эстетическим достоинствам, применяет универсальный и самый варварский метод ампутации «неподходящего» писателя от лит-процесса — б о й к о т .

Вероятно, Андрей вообразил, что «наглядность чуда» обескуражит ленивых зоилов, заставит их развести руками и отменить приговор. Но недаром Цинциннат Ц. требовал не пересмотра дела, а лишь объявления срока казни: времени на «раскрутку» нашему п о д с е л е н ц у практически не оставалось. Оставалось лишь несколько выступлений перед несколькими не обработанными аудиогипнозом людьми, сохранившими раритетную способность чистого восприятия. А, может статься, лишь на миг привлеченными новой игрой.

Все дело в том, что Андрей работал без с п р а в к и , без л и ц е н з и и на использование дара...

Пушкин недаром оборвал «Египетские ночи» на том самом месте, где должно было по сюжету последовать описание реакции слушателей на выступление импровизатора.

Я тоже в толк не возьму, как приступить к делу. Как описать таинственное изменение хорошо обкуренного андреева голоса, вибрации и модуляции, призванные заменить «экстаз» и отсутствующий фрак?

Тема задана: представьте, что «запретен ямб для нынешнего века». Едва ли это усилия безвестной клакерши. Видимо, волна магнетизма, исходящая от импровизатора, диктует самую болезненную для него тему. Современный поэт, предпочитающий классическую форму, уже живет в состоянии такого запрета, как бы на нелегальном положении. Вся система, обслуживающая литературу, всем видом своим, как швейцар в дорогом отеле, показывает, что клиент не того пошиба.

Импровизируя, Андрей интерпретирует запрет как драму ненужности: «Итак, *не нужен* стих ямбический...»

Альтруистический поэт, он оставляет за собой упование: «Но людям вряд ли это нравится...»

Управляемый темой, он начинает ею управлять согласно своей главной муке и заботе:

Не знаю, может быть, амнезия
настигнет (или амнезия) —
не знаю... Но ушла поэзия
куда-то на периферию.

Когда читаешь или слушаешь большой объем стихов, невольно вычленишь (особенно — начиная уставать) ключевое слово, на которое бессознательно «запал» стихотворец.

Чаше других в импровизациях Андрей ставит два кратких прилагательных: «возможно» и «невозможно».

Представить «дизморфоманию» как процесс необратимый, он был не в состоянии — как признать необратимым любое из заблуждений, которое овладело на большой срок большими человеческими массами. В конце концов, как ни оскорбляют Пригов или Сорокин идею авторства, одно из высших поручений человеку, они лишь приближают прозрение. Так тошнота приближает очищение организма.

Страдания Андрея и иже с ним уже искуплены: когда разгребут завалы грядущие мусорщики, они обнаружат не пустоты, а культурный слой.

Дошуршивая последние метры, пленка с бесполезными сегодня опытами подселенца среди прописанных и упакованных персонажей воспроизводит, вопреки общей надежной сомнительности, сомневающуюся надежду: «Но, может быть, мне что-то удалось...»

И только Письмо вопиет, не считаясь ни с какой транквилизирующей метафизикой, седативной вечностью:

«Как мне жаль издерганного, замордованного, раздавленного колесами нашей невозможной жизни человека!»

«Невозможной» — слово из импровизаций, не получивших официального статуса чуда...

Надо было, наверное, больше напихать выдержек, подкрепить концепцию. А я все повторяю, как магнитофон, постороннюю строку, написанную тоже не жильцом, но, по давности отбытия, как бы и не вполне подселенцем: «Богосыновства никто не отнимет...»

Никто не отнимет...

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ РОССИИ

Современная проза, литературная критика, историко-культурная, философская и религиозная мысль

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА» (БСК) — постоянная рубрика нашего журнала (начиная с 78-го номера).

БСК — это помощь читателю, духовные и культурные запросы которого охватывают достаточно широкие области современного культурного процесса, но который физически не в состоянии следить за всей той обширной российской прессой, что формирует этот процесс.

БСК — это предлагаемый читателю в каждом номере журнала подробный аннотационный обзор всего, что появилось за предыдущий квартал на страницах ведущих российских газет и журналов наиболее значительного и показательного в области художественной прозы, литературной критики, историко-культурной, религиозной и философской мысли.

При отборе текстов для такого аннотирования редакция руководствуется, естественно, органичной для «Континента» системой духовных, культурных и эстетических ценностей, что находит свое отражение и в характере самих аннотаций. Однако задача БСК всякий раз прежде всего в том, чтобы дать читателю, по возможности, наиболее емкое, точное и адекватное представление о самом содержании и характере аннотируемого текста.

При всей определенности редакционных критериев, БСК ориентируется также и на предельно возможную широту при отборе материала для аннотирования. БСК не исключает из своих обзоров даже и такие тексты, которые никак не выдерживают содержательных и эстетических критериев «Континента», но, однако же, выражают и представляют в современном интеллектуальном и художественном процессе тенденции и течения, пользующиеся общественным вниманием. А тем самым — репрезентативны для нашего времени.

В разделе литературной критики БСК информирует читателя только о статьях обобщающе-проблемного характера, обращенных либо к концептуальному осмыслению современной литературной ситуации в целом, либо к анализу тех или иных значительных течений, крупных творческих судеб или даже отдельных заметных явлений в текущем литературном процессе и в недавней литературной истории, но оставляет в стороне весь остальной более частный материал отдельных рецензий, полемических

выступлений и прочих локальных откликов на эмпирику текущей литературной жизни.

Таков же принцип отбора и в разделе историко-культурной, фило—софской и религиозной мысли. Здесь аннотируются тоже лишь статьи принципиального, крупнопроблемного характера, ориентированные на обобщающее концептуальное осмысление тех стержневых процессов, которые имеют определяющее значение для сегодняшних и завтрашних судеб России, ее культуры и ее интеллектуальной жизни. При этом учитываются только работы, имеющие к тому же не специфически-профессиональный, а общезначимый культурный интерес — рассчитанные не на специалистов, а на широкого читателя.

Этот раздел БСК публикуется в журнале раз в полгода — в нечетных номерах.

Редакция «Континента» хотела бы надеяться, что БСК — полезный и нужный нашему читателю ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ РОССИИ, сочетающий определенность редакционных критериев с профессионально-добротной информационной надежностью и объективностью в отборе, представлении и освещении аннотируемого материала.

1. Художественная проза

В журнальной прозе последней четверти 1995-го года прослеживаются тенденции, уже подмеченные нами в предыдущем обзоре (см. №86). *Историческая тема* по-прежнему занимает весьма заметное место на журнальных страницах. Как и прежде, *дореволюционная* история привлекает прозаиков гораздо меньше, чем *советская*. А в обращении к советской истории художественные вымыслы по-прежнему значительно уступают *автобиографической прозе*, построенной на личных свидетельствах и тяготеющей по жанру к дневникам, запискам, мемуарам. История же более отдаленных времен, как видно, наоборот, раскрепощает художественное воображение, окрыляет фантазию, освобождая ее от принудительного диктата исторических достоверностей и превращая приглянувшийся исторический фрагмент по преимуществу в условное место действия, где разворачиваются разнообразные и замысловатые игровые реконструкции.

Перейдем к конкретным произведениям, придерживаясь, как обычно, хронологического принципа.

К римским делам времен упадка обращается: Алексей Цветков, публикуя отрывок своей поэмы в прозе «Просто голос» («Октябрь», №10). Один отрывок уже был когда-то напечатан в

«Знамени». В предисловии Цветков сообщает, что он планирует написать большую, масштабную вещь. Но это дело долгое, а насладиться публикациями хочется, вероятно, уже сейчас. Отсюда — решение печатать поэму кусками. В начале нашей эры престарелый римский сенатор вспоминает свою жизнь, тщательно просмаковывая самые аппетитные ее фрагменты. Торопиться римскому мемуаристу некуда — и он с головой погружается в миллимельчайшие детали, воссоздает зрительный образ прошлого, сплавляет прежние и новые переживания... Это похоже на «Воспоминания Адриана» Юрсенар, но без внутренней энергии и драматической силы французского подлинника.

Александр Щуплов в вариациях на историческую тему «**Кураж оранжерейных померанцев**» («Комментарии», №7) отправным пунктом своего путешествия во времени избрал Ренессанс, а конечным пунктом — 1831 год. История постигается автором по ее художественным оттискам — это фрагмент эстетически воспринимаемой истории. Поэтому автора не интересует событийный ряд, он стремится передать вкус и жеманно-чувственный дух времени. Лейтмотив нарисованной картины — сексуальные пристрастия и формы поведения. В душном от плотских вожделений мире поэтам являются «шестиполые серафимы», а философы «выковыривают из чернильницы... магическое слово «императив» на фоне всеобщего оргазма. Увлеченное воспроизведение чувственных впечатлений, сочность описаний, диалоги, живые сценки сочетаются с элементами эссе — рассуждениями, обобщениями, афоризмами.

В российскую историю начала века в ее привычном варианте погружает «романтическая хроника» **Михаила Кураева** «**Жребий №241**» («Знамя», №11), которая включает в себя фрагменты из дневника Николая II и документы из семейного архива автора, главным образом, письма его деда, военного врача на русско-японской войне, к невесте-учительнице. То и другое сопровождается авторским комментарием и, по возможности, синхронизировано. В двух своих героях писатель видит знаменательное сходство: «Судите сами, дед — Николай, и царь Николай, оба женаты, и оба женаты на немках, царь ждет пятого ребенка, и у деда будет пятеро... чем неожиданной рифма, тем она драгоценней». Однако замечательные, благородные предки автора сопоставлены с царем и царицей скорее по принципу контраста. Благоговей перед предками, наделенными чувством долга и готовностью к бескорыстному служению и самопожертвованию, Кураев весьма критически относится к царской чете: императрица

представлена вздорной мракобеской, что же касается Николая II, то «царь наш был страшен не злобой, а глупостью, порождавшей бедствия, и малодушием, оборачивавшимся для подданных жестокостью».

Владимир Шаров в романе «Мне ли не пожалеть...» («Знамя», №12) создает игровую конструкцию по мотивам российской истории первой половины XX века. В манере, напоминающей роман У. Эко «Маятник Фуко», он примышляет к истории эзотерику, раскрывая таинственные пружины исторических событий и процессов. В обширном, довольно рыхлом романе главное зерно — история создания полубезумным (а может, гениальным) композитором Лептаговым хора «Большая Волга», где пение рассматривалось как способ покаяния, вид мистического общения с Богом. Из многих и многих голосов возводился Единый Храм Единому Богу. А поют в хоре, в основном, сектанты (скопцы и хлысты) и эсеры-террористы. Выясняется, что именно эти две силы, вступив в союз, совершили октябрьский переворот, а после, назвавшись большевиками, управляли страной, сообразуясь со своими задачами. История СССР 20—30-х годов интерпретируется в контексте борьбы двух фракций, народнической и сектантской, в политбюро. Характерная для Шарова религиозно-политическая провокация.

История начала века соседствует с советской историей и в «Плутодраме» **Михаила Левитина** («Октябрь», №11), где перемешаны времена и люди, города и страны. Это намеренно запутанные записки-исповедь о судьбе русского актера в XX веке. Или, скорее, модель судьбы, матрица, сотканная из разных биографий со взаимно исключающими друг друга эпизодами, но с непременными испытаниями и неизбежными смертями. Повествование идет вразброс, хаотично. В нем есть яркие эпизоды, тонко акцентированные детали, блески ума, острое чувство эпохи, у которой съехала крыша. От традиционной биографии художника в этот немилосердный век остались руины, лохмотья. Из них и тклет Левитин свои рассказы о людях искусства. Человеческая жизнь сводится к моменту, к краткому эпизоду, в течение которого она просияла — а затем сошла во тьму.

В рассказе **Софьи Орловой** «Страшной сказки осенней коза» («Знамя», №11) оголтелая комсомолка в раннесоветскую пору открывает для себя наличие деда-священника. Появляясь в доме, дед вносит в ее душу смуту. Мудрость и духовная красота священника невольно вызывают уважение и любовь к нему, а меж тем ячейка требует от комсомолки решительно порвать с чуждыми

родственниками. Коллизию разрешает внезапная и едва ли не насильственная смерть деда. Это рассказ-воспоминание о заблуждениях молодости.

В **«Двучастных рассказах» Александра Солженицына** («Новый мир», № 10) эпоха ломает или развращает людей, так или иначе уступивших ее диктату. В рассказе **«Молодняк»** лояльный советский интеллигент-народолюбец Воздвиженский в конце 20-х годов принимает экзамен по сопромату у выпускника рабфака Коноплева, который ни аза не смыслит в предмете, — и ставит ему «уд». А через несколько лет, попав в застенки ГПУ, встречает того же Коноплева в роли следователя — и бывший студент спасает ему жизнь в обмен на согласие стать сексотом. В рассказе **«Настенька»** две героини с этим именем. Одна, поповская внучка, стала комсомолкой, пошла по рукам, мало-помалу разгоревшись до «любонеистовости», и в конце концов отхватила в мужа героя гражданской — студента Промакадемии, приобщившись к советской элите. Другая Настенька стала учительницей, пыталась приобщить детей к чувствам высоким и добрым, а пришлось учить, в основном, классовой ненависти и прочим догмам марксистско-ленинской идеологии. В рассказе **«Абрикосовое варенье»** паренек из кулацкой семьи, загибаясь от тяжелого лагерного труда на принудительных работах, пишет знаменитому писателю письмо, прося о ничтожной помощи. А во второй части рассказа этот писатель (в котором без труда угадывается «красный граф» Алексей Толстой) на своей великолепной даче за трапезой выхватывает из полученного письма несколько прекрасных «языковых находок», чтобы использовать их в очередном художественном опусе. В рассказах точно схвачена и четко изложена духовная суть того, что происходит с человеком, который ощутил: «распахнулась совершенно новая эпоха, и это, вероятно, уже необратимо» — а жизнь одна... Люди придавлены историческим роком и сдаются на милость жестокосердного победителя. Сжатая пружина повествования распрямляется и с огромной силой бьет прямо в сердце. Очень своевременные рассказы.

«**Карьера Затычкина**» **Семена Липкина** («Знамя», № 10) — воспоминания о времени вхождения в литературу, о литературных нравах 20—30-х годов, рассуждения и свидетельства о пролетарских поэтах («варварах»), а больше — о поэтах комсомольских («дикарях»): Светлове, Голодном, Безыменском — вплоть до Евтушенко и Вознесенского. Сочинение кончается трагикомической историей о том, как однажды Липкин сложил от имени вымышленного поэта-приспособленца партийно-панегири-

ческое стихотворение — а его приняли всерьез, положили на музыку, и «через неделю или две песню запела вся страна». Нерв этого мемуарно-аналитического очерка натянут так, чтобы передать впечатления очевидца об огрублении культуры и одичании общества в советскую эпоху.

В повести **Фазиля Искандера «Софичка»** («Знамя», №11), написанной с привычным и уже почти автоматически ожидаемым от Искандера мастерством, рассказана история женщины-труженицы из Чегема, с трудной советской судьбой (пытки в НКВД, ссылка в Сибирь, разрушение семьи). В повести поставлен вопрос о грехе убийства и возможности заслужить прощение: Софичка десятилетия не прощала любимого брата, случайно убившего ее любимого мужа, считая это изменой мужу, а потом все-таки простила. Но для нее так и осталось неясным, когда же она ошибалась — не прощая брата или простив его. А традиционная горская мораль уже не может подсказать ей ответ. Писатель разворачивает историческую панораму крушения патриархального крестьянского уклада, общинной жизни, которая выродилась в мафиозную «семейность». Это еще одна глава в чегемский эпос Искандера.

Среди прозы, обращенной к *военным временам*, отметим роман скульптора **Льва Разумовского «Нас время учило...»** («Нева», №№11—12). Это сгусток личного опыта, военные воспоминания в картинах, сценах, диалогах: призыв в армию в 1943 году, учеба, бои, госпиталь.

В рассказах о войне фронтовика **Вилена Разина** («Наш современник», №12) сентиментальные чувствительные истории на фоне азартно прописанных боевых буден — молодые влюбленности, так и не ставшие любовью из-за превратностей войны.

Рассказ **Алексея Колесникова «Рядовой»** («Наш современник», №10) представлен как первая публикация автора. Но это не первая публикация — рассказ уже был напечатан в журнале «Москва» (№5; см. наш обзор в «Континенте», №85).

В рассказе **Василия Килякова «Письмо Сталину»** («Октябрь», №12) заново проигран довольно уже затертый сюжет. Крестьянин вернулся в семью из плена, это позор и обида для сына-подростка. В семье ругают Сталина: «Ирод, мучитель», а мальчишку в школе учат другому. Он пишет письмо вождю, просит взять его в суворовское училище. Сердобольные земляки письмо с почты завернули, вручили родителям, от греха подальше, с наказом пороть глупого сына ремнем. Сыновья выросли и состарились, но не поумнели.

В журнальной прозе заметно представлена *гулаговская тема* с теми ее особенностями, которые она приобрела в военные и послевоенные годы.

Документальная повесть Владимира Всеволодова «Записки советского «фашиста» («Звезда», №12) — это тюремно-лагерные мемуары. Автор попал в лапы НКВД в 17 лет, в конце 41-го года, и получил политическую статью. В центре повествования — тюремно-лагерные перипетии, быт и нравы, взаимоотношения с уголовным миром, встречи с интересными людьми. Повесть имеет ценность свидетельства. Лагерь здесь суров и страшен, но это все-таки не ад. В нем можно жить и выжить, сохранить себя.

Роман Бориса Спорова «По грехам нашим» («Москва», №12) построен на рукописи зэка 50-х годов, бывшего студента Андрея Ростова — картинки с натуры, диалоги, размышления, описание событий, людей, с которыми свела судьба, лагерная Зона 50—60-х годов с ее бытом и событиями, зэковское выживание, в котором много места занимают споры и дискуссии — о политике, партии, религии, размышления о солидарности и разобщенности, о мести и ненависти, о смысле жизни — лагерной, в частности. После выхода из лагеря — поиски работы, мытарства с прописками, с жильем, случайные романы, круг чтения и размышлений. Это скорее подступы к роману, собрание разнородного и разножанрового материала, не выстроенного в романное единство и не проясняющего авторский замысел, как и фигура главного героя.

В повести Геннадия Николаева «Ночные каналы» («Звезда», №11) студент в середине 50-х годов встретил на практике в закрытом «почтовом ящике» девушку. Они вместе плавают по ночам в каком-то канале, понемногу сближаются, а в кульминационный момент полной близости охранники с вышек высвечивают их прожекторами. Девушка оказалась рабыней-содержанкой начальника спецлагеря, который выследил любовников, избил их и отослал студента, чувство которого было растоптано, в родной институт. Повесть оформлена как воспоминание о суровой молодости и написана в обычной для автора манере — неэнергично, многословно. Запоминается резинка в плавках героя, которая в острый момент «предательски ослабла».

В рассказе Сергея Антонова «Песня» («Дружба народов», №12) главный герой — арестант, который, сидячи в тюремном карцере, что-то вспоминает, рассуждает о чистом детстве, о том, что и как когда-то пели и как в этом сказались эпоха и душа...

В рассказе посла в Швеции Олега Гриневского «Кот Филипп и другие» («Нева», №10) поведена быль о быте и нравах в институте международных отношений в 1950 году. Студенты пытались проучить шкодливого кота, сожравшего в общежитии сало. Кот сбежал, но история получила огласку, дошла до Вышинского, который был тогда министром иностранных дел. Тот возмутился: варварство, жестокость! Студентов пригвоздили к позорному столбу на общем собрании и отчислили, а легенда о коте обросла вымыслами и долго еще развлекала мидовских чиновников.

Цикл автобиографических рассказов Анатолия Наймана «Славный конец бесславных поколений» («Октябрь», №11) тоже возвращает в 50—60-е годы. На густомахровом фоне эпохи представлено несколько сюжетов, в основном, анекдотического характера. Тематика: кино в жизни рассказчика, армейская его карьера, московская золотая молодежь в городе на Неве и т.п. Хорошо документировано время, много занятных подробностей, рассказ ведется в довлатовской манере (юмор, ирония, грусть).

«Судовой журнал» Давида Самойлова («Комментарии», №7) записан в 1960 году, его публикация приурочена к 75-летию юбилею поэта. Это «игровой» дневник, в котором жизнь Самойлова и его друзей на даче описана как кругосветное плавание. Участники плавания имеют псевдонимы, характеры-маски, а реальные события предстают забавно преобразженными. Журнал сродни протоколам заседаний общества «Арзамас», хотя и имеет более личностный, «внутрисемейный» характер.

Застойным временам посвящен роман Семена Ласкина «И сказал Господь, говоря...» («Нева», №№9—10) — в центре романной коллизии мотив искушения, соблазна. Опытная девочка Надька соблазняет книжного мальчика, пришедшего помочь ей с математикой; тот в шоке выпрыгивает в окно. Поездкой на симпозиум в Америку в застойные годы институтское начальство и КГБ искушают честного литературоведа, специалиста по Булгакову, становящегося в результате сексотом и берущегося доработать за бездарную сотрудницу ее кондовый диссер о Демьяне Бедном. Наконец, старая коммунистка, ветеран партии Софья Ивановна сознает, что полжизни отдала несправедливому делу, и воспринимает многочисленные семейные несчастья как наказание и расплату за давнишнее обольщение ложной идеологией. Она обращается с горячей молитвой к Богу — и удостоивается несомненного отклика. В романе живо и ярко изображена

ленинградская литературно-художественная жизнь застойных лет, под надзором обкома-горкома и прицелом КГБ. Среди колоритных фигур впечатляют образы столпов официального литературоведения Зеленко и Выгородцева, художника-лауреата Порошкова. Подробно прописан процесс вербовки интеллигента в агенты КГБ. Слабее выглядят литературоведческие экскурсы Ласкина: идеи, которыми автор наделяет своих персонажей-ученых, не отличаются оригинальностью. Ласкин — превосходный беллетрист и талантливый бытописатель.

Обширный роман Лидии Беляевой «Очарование вчерашнего дня» («Наш современник», №№10—11) — монолог героини, немолодой женщины, журналистки и писательницы, для которой вчерашний день — в отличие от ослепительно черного сегодняшнего — наполнен невыцветающими красками, романтикой трудной, но счастливой судьбы, ощущением своей нужности и востребованности жизнью. Поздняя любовь к человеку, значительно старше ее годами, замужество, счастливая жизнь вдвоем, общие мысли и интересы, затем его инфаркт, реанимационная палата, смерть. Героиня остается одна, чтобы вспоминать, восстанавливая мельчайшие и дорогие для нее эпизоды их знакомства и совместной жизни, из чего и составлен роман. Герой — идеальный мужчина, их связывает идеальная любовь, страдания героини бесконечно возвышенны, однако словесная вязкость и монотонность, в которые облечена эта старая, но вечно повторяющаяся история, отсутствие ожидаемых новых в ней акцентов при политической аффектации превращают такого рода чтение в довольно утомительное занятие.

Леонид Бородин в рассказе «Киднепинг по-советски» («Юность», №8) повествует о том, как запутавшийся в жизни, но внутренне здоровый молодой шалопай Игорь в застойные годы был спасен от смерти, согрет, накормлен и наставлен на путь истинный антисоветчиком-русофилом Аркадием. Богемно-диссидентский быт описан Бородиным довольно иронично, люди этого круга названы Игорем «инопланетянами», с чем автор, похоже, согласен. Они хотят какой-то другой жизни, Игорь же знает, что можно — и очень можно — жить и в этой, крутить баранку, любить девчонок, дружить и радоваться. Когда Аркадия арестовали, Игорь собрался было вызволять его из Лефортова, устроив мнимый киднепинг и шантажируя КГБ. Его едва отговорили от этой затеи, но славный юноша духом не пал: «Аркаша, будь спок! Что-нибудь придумаем». Автор извещает, что подобная история имела место в действительности.

Поэтесса **Екатерина Шевелева** в мемуарном очерке «Тень» («Нева», №10) рассказывает о своих встречах и разговорах с главным идеологом застоя Михаилом Сусловым, которому она, в частности, безуспешно пыталась доказать, что «Солженицына нужно издавать у нас». А о своей дружбе с главным гэбистом страны Юрием Андроповым Шевелева рассказала в очерке «У Андропова» («Независимая газета», 1 февраля 1996). Либеральный ходатай в кабинетах коммунистических начальников.

В рассказе **Анатолия Азольского** «Резыски абсолюта» («Дружба народов», №11) дочь умершего партийного бонзы и ее любовник затевают следствие, чтобы выяснить, что заставило отца героини за несколько дней резко перемениться — и из скромного, порядочного журналиста сделаться карьеристом и ортодоксом. Детективная интрига, жесткость социально-бытового рисунка, притчевое обобщение. Ответ на вопрос дается в финале и полон злого юмора. В другом рассказе **Азольского** «Крысоловка» («Россия», №1) мудрая городская старуха с деревенским прошлым, теща рассказчика, не имея другого выхода, вынуждена — чтобы уберечь внучку — избавиться от крысиного нашествия. Но она знает то, чего не знает зять, — за убийство крыс она заплатит жизнью. Неспешность, с которой она обдумывает свое решение, тщательность, с которой готовит техническую сторону дела, напоминают неспешность и тщательность, с которыми совершается ритуал погребального обряда. Старуха достойно принимает справедливое крысиное возмездие, последовавшее через недолгое время и совершившееся мистическим для окружающих образом. В рассказе отчетливо прорисован глубинный разрыв между плоским псевдознанием, которым вооружен сегодняшний образованный горожанин, и мудрым ведением таинственной связи всего живого.

В прозе, обращенной к *сегодняшнему дню*, многие из героев выясняют отношения с прошлым — как близким, так и отдаленным.

В романе **Петра Алешковского** «Владимир Чигринцев» («Дружба народов», №№9—10) есть заманка: родовые сокровища князей Дербетевых, спрятанные на месте старинной усадьбы в костромских местах. Притом на клад этот наложено проклятие. Алешковский эскизно набрасывает историю рода и доводит ее до наших дней, когда главой семейства оказывается видный историк, старый грубиян и самодур. Весьма симпатичный автору заглавный герой романа, хваткий молодец-художник, узнав о кладе от старика, берется его разыскать. Роман рыхлый, много-

геройный, многоэпизодный. Он растет вширь, полнится диалогами, рассуждениями, сценами столичной и провинциальной жизни. По ходу дела всплывает и мотив духовного наследства, моральной и интеллектуальной преемственности, хотя нельзя сказать, что эта тема осмыслена глубоко. Ее развитие обеспечено чисто сюжетным ходом: Чигринцев отказывается от поисков клада и бросает деньги, оставшиеся ему от умершего Дербетева, в церковную копилку. Сочинение Алешковского стилизовано под проблемный роман, но по жанру, пожалуй, ближе к бытовым сценам с элементами чертовщины, причем современные житейские реалии представлены по минимуму, довольно расхожими штампами. Авторская манера изложения зато пластична и гибка.

Юрий Буйда в рассказе «Лета» («Знамя», №12) представил престарелую аристократку, дожившую до наших дней и продолжающую удивлять величием повадок, несмотря на различные испытания, выпавшие на ее долю. Автор попытался внести в рассказ и историософские идеи, обозначенные, однако, неотчетливо. То ли старуха считает, что все пройдет — а Россия останется, то ли, напротив: Россия кончилась и плакать поздно.

Обширная «баллада о существовании» **Владимира Володина** «Время, жить!» («Волга» №№7—10) — извергающийся словесный вулкан, стихия, с которой не в состоянии совладать и подчинить себе художественная воля. Среди неудержимо льющихся словесных потоков, увлекающих в свое бурное течение все попутно попадающиеся предметы, есть и родники чистейшей художественной радости, и мутные грязевые сели. Это эксцентрическое жизнеописание некоего Жорика Бутыркина, «инвалида умственного труда и отечественного духа», сделанное им самим, невольником советской, а теперь и постсоветской жизни («Замордовала Жору вконец российская действительность, облюбовала она Жору под свои тычки и пинки, сделала из него тварь пошлую, близкую к животной»). Дезертируя из российской жизни, прячась от нее по разным щелям бытия (кочегарка, пожарка, «психушечка» и проч.) и партизански, слабыми своими силенками сопротивляясь совокупным усилиям семьи, общественной собственности и государства выцарапывать его оттуда, Жорик творит оду к радости быть любимым самим собой, не делаясь ни с кем этой радостью по причине категорического отсутствия желающих. Плачевный «послужной список» жоринного бытия погружает в толщу российской фантасмагорической жизни, увиденной глазами замордованного придурка, бескорыстно любующегося некоторыми ее особо идиотическими подроб-

ностями и сооружающего свою философию существования, основанную на мысли о ценных преимуществах, которые дает беспамятная, безродная и бессобытийная жизнь, без причастностей и привязанностей.

Героиня обширной **«субъективной эпопеи» Майи Ганиной «Оправдание жизни»** («Москва», №№10—12) тоже занята ревизией и осмыслением прожитой жизни. Это исповедальное повествование дочери своего времени, немолодой писательницы, с прошлым, овеванным славной романтикой комсомольскихстроек, творческих командировок, дружбами со строителями-первопроходцами, смелыми выступлениями в печати. Главная интрига эпопеи — детективная история с ограблениями, отравлениями, самоубийствами, шантажом — обрастает побочными сюжетами, органично вмонтированными в повествование и придающими ему объемность. Картины столичной жизни — неуверенное и тревожное городское житье, суетливые писательские тусовки, обмельчание душ и интересов, липкие сговоры вместо дружб перемежаются с картинами сельской жизни — разрушение пасторальной идиллии в выстроенном своими руками деревенском доме, так как героиня и ее муж не вписались в деревенский порядок, оставшись чужаками и для спивающейся деревни, и для мафиозного сельского и районного начальства, организовавшего травлю чужаков. Героиня обнаруживает в себе запасы человеческой теплоты, не востребованные прежней кочевой жизнью, потребность любить, заботиться, жалеть, прощать. У нее есть и другое прошлое, семейно-родственное — отец, герой революции, мать, кончившая жизнь самоубийством, выплывший из магаданского небытия брат матери — все это, прежде как бы не имевшее связи с ее жизнью, теперь вошло в нее. Героине приходится платить и по их счетам, осознавать свою жизнь и судьбу не как пространство частной жизни, а как место скрещения разных, в том числе и черных энергий, идущих из глубин поколений, из истории народа и страны. Запоминается проходящая пунктиром через эпопею сюжетная линия, связывающая дочь с отцом, большевиком с дореволюционным стажом, а теперь одиноким больным стариком, который со всем пылом и трепетом юности влюбляется в молодых и юных женщин, беззаветно погружаясь в их заботы и вызывая в них ответные благодарные или неблагодарные чувства.

Повесть **Нины Садур «Слепые песни»** («Знамя», №10) обозначена как третья часть романа «Сад». Причудливо-многословная, лирико-импрессионистическая манера автора, тяготеющего к напевному камланию, сильно затрудняет понимание вещи.

Бродячие собаки, бродячие люди. Кавардашная, расхристанная жизнь. Люди жить не умеют. Потерялись — и не сыскать. Но собрались вместе — и решились ехать из Москвы в деревню. Там проще, там надежнее. Будем теперь ждать четвертой части: о жизни в деревне.

В «поэме» Тимура Зульфикарова «Горькая беседа двух мудрецов-златоустов в диких медвяных травах» («Юность», №№11—12) дервиш Ходжа Зульфикар приходит в современную Россию и встречается здесь с местным дедом Стрижом. Они ведут разговоры о судьбе России, которую постигло «разоренье, бедствие, кочевье великое цыганское». «Нынче на каждого русского по ворону погребальному». Плачи и пени, поношения в адрес нынешних властителей, обличения Америки и Израиля, обращение к «пророку Руси Солженицыну» выдержаны в апокалипсическом тоне и живо напоминают публицистику газеты «Завтра» и смежных изданий. Красноречивое витийство автора и искренняя его воодушевленность делают поэму характерным событием сегодняшнего дня. Свое произведение Зульфикаров посвятил Вл. Максиму.

В повести Александра Малышева «На кресте» («Север», №7) тоже сегодняшний день, но увиденный глазами старого учителя, пенсионера — утрата совести и человечности, быт, берущий за горло, бронированные двери соседей, до которых не достучаться, даже если придут убивать, соседка по площадке, милая девушка, которая теперь «выполняет разные поручения» хозяина коммерческого магазина, открытого на первом этаже дома, и, наконец, сам этот хозяин (по смутным воспоминаниям старика, его бывший ученик), конфликт с которым — кульминация повести. Коммерсанту понадобилась квартира пенсионера, расположенная прямо над его магазином; предложив вместо нее квартиру в другом районе и получив отказ, он при помощи нанятых подонков «организовывает» ему смерть от инфаркта. Дидактичность повести несомненна, подбор примет дня далек от оригинальности, главная «несущая» конструкция повести — психология старого человека, потерянного в новой реальности и тем не менее пытающегося ей противостоять душевно.

Теме «новых русских», затронутой Малышевым, посвящена повесть Алексея Шустова «Поправка на «И»» («Октябрь», №11) — авантюрное повествование о похождениях двух джентльменов удачи и примкнувшей к ним — для сексуального колорита и завлекательности сюжета — юной, но многоопытной «леди». Эта троица «благородных» разбойников сюжетно изобре-

тательно грабит награбленное и экспроприирует экспроприаторов (хотя в интересах дела может «замочить» и случайного прохожего), демонстрирует владение восточными единоборствами, ведет увлекательные диалоги, изъясняясь сурово, мужественно, лаконично и, в основном, афоризмами, и соблюдает трогательную верность святым узам товарищества — чем, видимо, по мысли автора, может рассчитывать на симпатию читателей. После удачно проведенной операции герои, кажется, собираются на жительство в Париж. Скатертью дорога, а Парижу — наше сочувствие.

В «уличном романсе» Алексея Слаповского «Братья» («Знамя», №12) преуспевающий бизнесмен подобрал на улице нищенствующего ровесника, назвал его братом и, как некий новый Пигмалион, попытался пересоздать, вернуть к житейским радостям и научить тому, как делается дело. Анекдотический сюжет сочетается с забавными подробностями современного быта. Рассказ разбит на главки, каждая из которых предварена эпиграфом, строфой из стилизованного старинного бульварного романа («Он был беспечальный красавец/И нищих всегда презирал./Но как-то он в нищем похабном/Родного он брата признал»).

В рассказе писателя из Торонто Вадима Голубева «Капитан» («Юность», №8) честный и благородный капитан туристского лайнера во время круиза Владивосток—Австралия—Владивосток борется с азиатскими пиратами и доморощенной мафией. Развернута смачная картина нуворишского разврата.

А в рассказе Александра Кузнецова «Swindlers» («Октябрь», №12) бывшая учительница английского языка на пенсии подрабатывает в рыночной шайке, помаленьку мошенничает. Одной из ее жертв стал ее бывший ученик.

Очередной ужасник предлагает Александр Бородин в романе «Гонщик» («Октябрь», №10). Врач Галина Герасимова узнает о существовании Гонщика — непревзойденного баюна-рассказчика, который тайно живет в лагерях, скрываемый заключенными. Она употребляет все средства, чтобы найти Гонщика, что ей в итоге удастся. На эту канву нанизываются самые разные эпизоды, фиксирующие ужасы Зоны, представленной как безальтернативный кошмарный мир. Бытовые реалии используются автором для того, чтобы скроить и сшить некую «метафизическую» страшилку.

В прозе немало эротических сюжетов, любовных и адюльтерных историй.

Герой «эротико-реалистического» романа Николая Никонова «Чаша Афродиты» («Урал», №7; первая книга тетралогии

«Ледниковый период») художник Александр Рассохин, попав по политической статье в сталинские лагеря юнцом, не звавшим любви, вышел из заключения человеком, для которого слово «свобода» стало синонимом слова «женщина». Эротические мечтания героя и его поиски натуры (он художник-феминист и рисует женщин, только женщин), собственно, и составляют фабульную основу романа. Герой буквально одержим желанием написать «вселенскую женскую галерею» и найти в жизни свой эротический идеал. И время от времени находит — страницы, посвященные любовным утехам героя, призваны стать приманкой для читателя. Но автор явно хотел дать еще и портрет времени, и этот, сам по себе хорошо просчитанный ход — срез тоталитарного времени через тоску по личному, телесности, интимности — остался нереализованным. В романе мало динамики и много повторов (порою буквальных); навязчивая идея героя — «ищу женщину» — приобретает к концу его жизни род мании и приводит к самоубийству.

Григорий Бакланов в рассказе «В месте светлом, в месте злчном, в месте покойном» («Знамя», №10) описал роман гримерши из киносъемочной группы и офицера-десантника. Романтичной Изабелле «явился смысл жизни: ждать его, встречать, заботиться о нем, смотреть, как он ест». Но десантник без предупреждения ушел на войну, что ли на Кавказ — а Изабелла осталась с дурными предчувствиями и бабьей горечью.

Галина Щербакова в повести «Love-стория» («Новый мир», №11) рассказала о любви девчонки из шахтерского поселка к мужу ее подруги. Страсть заставляет любовников забыть обо всем, но и долг не дремлет. Потом они встретятся через двадцать лет — и еще через пятнадцать (для «пожилого греха»), почти как мушкетеры. Веселая, ироничная история о том, как бывает в жизни, — и ничего с этим поделать нельзя, хотя радость ходит парой с горечью.

Рассказ Марины Вишневецкой «Архитектор занятая не мой» («Дружба народов», №12) — курортная история. Девушка Юля, плоская, как шпингалет, увлеклась немолодым женатым архитектором, а он ее оставил. Тогда Юля соблазнила мальчишку и бросила его. Холодная, вполне аморальная исповедь юной курортницы, отчасти бормотанье, отчасти комическая скороговорка с примесью цинизма. Можно предположить, что такая манера и этот тон — результат шока, вызванного вероломством архитектора. А можно считать и так, что налицо ранний, но

свободный от «иллюзий» опыт путешественницы по чужим постелям. Тщательно выделанная вещьца.

Светлана Розенфельд в рассказе **«Загадочная женщина»** («Нева», №12) изобразила христианку с лучистым взглядом и богатой брачными событиями жизнью. Меняя мужа за мужем, она сохраняет их в качестве друзей и живет все более богато, а браки эти грехом не считает, поскольку ни разу не венчалась. Другой рассказ, **«Бедная Жанна»**, — об юной учительнице, которая попала в деревню и стала жертвой бабьей ревности, оставшись навсегда изувеченной.

В рассказе **Константина Плешакова** **«Старосветские изменщики»** («Новый мир», №12) примерные супруги по взаимной договоренности напропалую изменяют друг другу, сохраняя добрые отношения и внешние приличия. Не сразу это устроилось, но со временем стало удобной нормой. Пожилая «изменщица» учит тому же и свою дочь, впервые столкнувшуюся с мужьей неверностью. Но дочь не внемлет и берет развод. Таковы, по Плешакову, времена, таковы нравы. А ведь была, была и нежная любовь — сначала к мужу, затем к любовнику.

В повести **Виктории Токаревой** **«Лавина»** («Новый мир», №10) одаренный пианист Месяцев, попав в санаторий, оказался во власти бешеного желания, как взбесившийся бык, выпущенный весной из сарая на изумрудный луг. Вся прежняя сексуальная жизнь предстала вдруг серой и скучной, как сарай под дождем. Месяцев уходит от многолетней верной жены и подруги Ирины к молодой и роскошной Люле, заведомой хищнице и шлюхе. В старой семье у Месяцева все пошло наперекосяк, а сын его и вовсе умер от передозировки наркотиков. Это сломило пианиста, его не зовут больше на гастроли за границу, и он в конце концов, кажется, не прочь вернуться к старой жене и к дочке, у которой тем временем родился ребенок. Бытовой сюжет о соблазнах художника: современный вариант истории, рассказанной в знаменитом фильме 50-х годов **«Разные судьбы»**.

Повесть писательницы из Англии **Маринны Бувайло** **«Stille Nacht»** («Звезда», №10) — пространный монолог знаменитой балерины, которая рассказывает о взаимоотношениях с двумя своими мужьями: прежним, танцором Гошей, и нынешним, врачом Димой. Оставив Диму, который увлекся молоденькой девочкой в Москве, балерина отправляется на фестиваль в Италию, где снова сближается с Гошей, но продолжает страдать от диминной измены. А жизнь наказывает ее и Диму смертью их любимой собаки. Много места в повести уделено усталости героев от жизни

и тревогам по поводу возможной беременности. В рассказе **Бувайло «Календарь»** («Новый мир», №12) история героя, с которым случались приступы невероятно сильной головной боли, вносившие в его жизнь некий ритм. И вдруг приступы прекратились — но в жизни стало как-то пусто. Стилизация абсурдистской прозы.

«Шахматы» Рамиля Бесермена («Новый мир», №12) — замысловато выстроенный этюд о шахматисте-любовнике. Игра в шахматы перетекает в интимную близость с партнершей-мулаткой. «Их партия окончилась банально — она вышла за офицера, вроде бы даже за того самого, кого, под правой рукой, он всегда держал в резерве, выдвигая вперед только под конец». Словом, эротическое шахматоведение. А в рассказе **«Умереть ребенком»** («Октябрь», №12) Бесермен повествует о мальчике, которого отец готовит к смерти и затем чуть не убивает при неясных обстоятельствах. Это еще один вполне герметичный этюд на заданную тему, исполненный с тщательностью эстета-набоковца.

В рассказе **Александра Ганкина «Август»** («Новый мир», №12) к соседу рассказчика, латышу, приезжает погостить мать. Рассказчик испытывает к ней теплые чувства, на грани даже обожания. Его больно ранят нелады соседа с матерью. В финале автор успокаивает читателей: годы излечили эту рану.

Виктор Малкин рассказывает о подлинном происшествии, случившемся с ним, — о встрече с гермафродитом. По жанру **«Профессор и андрогин»** (так озаглавила текст редакция; «Комментарии», №7) ближе всего к анекдоту — в первоначальном («старинном») смысле слова. Но анекдот этот рассказан просвещенным наблюдателем, оживлен занимательными диалогами, в нем достоверно передано психологическое состояние автора, нарисован портрет героини. Андрогин воспринят и описан не как курьез, «игра природы», но как иное, по отношению к привычному, ее — природы — проявление, по-своему полное жизни.

Сегодняшние горожане — герои цикла рассказов **Дмитрия Стахова «Разбитая-бутылка-темного-стекла»** («Дружба народов», №12). Один из них, **«История любви Бузаканова-младшего и Носихиной»** — ироническая стилизация гангстерского эпоса с мафиозными разборками, бешеными деньгами и большой, настоящей любовью. В другом рассказе мужская компания навещает в больнице приболевшего приятеля; по ходу дела выясняется, что один из персонажей, которого все считают гомосексуалистом, соблазнил жену больного — и теперь (искупая свою вину?)

всячески облегчает его страдания. Чего только не бывает в жизни. В третьем рассказе затевается маловразумительная чехарда с семейными проблемами, опознаванием трупа, убийством приятеля, к которому забежали было на минутку пописать. Единственный выход из этого бедлама — заключить в объятия ядреную соседку по дому.

Персонажи рассказа Романа Солнцева «Вторые люди» («Новый мир», №11) маются в московском аэропорту, их рейсы отложены. На досуге они пьют и ведут разговоры, приходя к выводу, что независимо от политического режима есть в жизни начальники-халявщики, а есть трудяги, вкалывающие не столько для себя, сколько на других. Многие герои рассказа ощущают себя такими вот «вторыми людьми». И как тут быть — неизвестно.

«Притча» Ивана Оганова «Осень милосердия» («Дружба народов», №12) — рассказ о страдающей эпилепсией и запоями москвичке Неле. Ее бросила подруга Ирка, которая «занималась хозяйством, заставляла ее утром рано вставать, идти в гастроном, не опускаться, не пьянствовать чрезмерно». Оставшись одна, Неля попробовала было подружиться со странным больным юношей Юрой, но он попытался ею овладеть, к чему Неля не была готова. История об одиноких и несчастных людях в чужом и враждебном мире рассказана Огановым с обычными для него многословием, высокопарностью, витийным нахлестом.

А в рассказе Алексея Иванова «Погода в ноябре» («Новый мир», №12) приятель мыкающего одиночество юного рассказчика попадает в психушку — и тот, насквозь простуженный, безотказно пускается в долгий путь, чтобы навестить не такого уж и родного человека, порадовать его анекдотами и почувствовать себя кому-то нужным.

Рассказ Бориса Ушеренко «Ничего не случилось» («Октябрь», №12) — печальная, сентиментальная история о том, как баба Света торговала на морозе носками-варежками, чтобы подкормить внука, да и умерла, замерзла — а перед смертью ей явились волшебные видения о чудесных дарах.

Герой рассказа Владимира Крупина «Вася, отбрось костыли!» («Москва», №10) — бывший коммунист и генеральский зять. Он вольготно воровал при коммунистах, воровал и при демократах, приход которых приветствовал от всего сердца, однако проворовался и стал бомжем. Но после подался к иностранному пастору-аферисту, который демонстрировал на Васе чудо исцеления, а тот у него подворовывал и опять попался. Встретив Васю, продававшего книжки в загорской электричке, автор не

теряет надежды, что Вася «отбросит костыли» и станет на путь истинной веры.

Дмитрий Евсеев в рассказе «Неучтенка» («Октябрь», №12) живописует современный армейский беспредел. «Злоба и ежедневный надлом, тюремная подчиненность одних другим. Принуждение, страх». Неучтенный патрон позволяет главному герою, стоящему на посту, пристрелить подлого недруга — но он преодолевает этот соблазн, а патрон выбрасывает.

В рассказе **Нины Катерли «Пирамида Цукермана»** («Звезда», №10) уходящего на пенсию работягу премируют турпоездкой в Египет, а он возьми да и пропади там, в советское еще время. Тут-то и вспомнили, что еще с детства герой носил кличку с «еврейским акцентом». Жена героя вышла замуж, а ее добросовестный муж спустя несколько лет отправляется на поиски пропавшего Цуканова-Цукермана. Рассказ-анекдот.

Надежда Горлова в рассказе «Поездка в Липецк» («Новый мир», №12) повествует о поездке взрослых и детей из районной глуши в областной центр за покупками. Автор старательно фиксирует зрительные впечатления и тактильные ощущения, пытаясь взглянуть на мир глазами девочки. В рассказе есть также мотив мимолетности, текучести жизни, заявленный, однако, несильно.

Дети — главные герои и сентиментального **рассказа Владимира Гаврилова «Саша и Карлсон»** («Октябрь», №12). Мальчишка-вор проник в квартиру, где скучает в одиночестве маленькая девочка. Они подружились, хотя воришка не преминул положить в карман колечко с камешком. Явилась мама и сдала вора милиционеру. Дочь на маму обиделась, и последней едва удалось вернуть дочернюю любовь, убедив малышку, что ее новый друг вовсе не добрый Карлсон, а корыстолюбивый негодяй. Расстроен был, однако, и мальчик, который, не по своей воле покидая подружку, предчувствовал, что потеряет ее доверие. В рассказе есть наивная прелесть.

В приключенческой повести **Валерия Роньшина «Тайна зефира в шоколаде»** («Юность», №12) бойкая московская школьница вступает в поединок с агентами разведки из страны Герундии. Детектив для подростков.

Рассказ Олега Павлова «Митина каша» («Новый мир», №10) — сентиментальная история о странноватом мальчике-сироте, потерявшемся и попавшем в загородную психушку. Он становится объектом любви и заботы, добавляя смысла в нехитрую жизнь здешних обитателей. Одиноким людям в рассказе стремятся друг к другу, но не всегда знают верные пути. И все же мир,

по Павлову, стоит на любви и нежности. В рассказе чувствуется влияние поздней прозы Андрея Платонова. В то же время повествование у Павлова часто вязнет в избыточных подробностях.

В рассказе **Игоря Кузнецова «Сад грез»** («Новый мир», №12) появляется нелепый и трогательный даун Коля, живущий «в другом измерении». Рассказчик наблюдал его в детстве — и теперь делится воспоминаниями о детском опыте таинственного.

Сегодняшней деревне посвящены рассказы **Бориса Екимова** («Новый мир», №12), в которых острая социальная проблемность сочетается с сентименталистскими эффектами. В рассказе **«Зять»** теща-крестьянка, привыкшая никому не доверять и вперед далеко не заглядывать, ставит палки в колеса зятю-фермеру, вознамерившемуся развернуть большое дело, открыть пекарню. Зять в отчаянии пытается покончить с собой. Рассказ **«Сосед»** — о семье трудолюбивых беженцев, поселившихся на птичьих правах рядом с рассказчиком. В рассказе **«Белая дорога»** выведен глухонемой сапожник Степа, безотказно и без мзды чинивший крестьянские опорки, простая и чистая душа.

Герой рассказа **Андрея Павлова «Необходимый человек»** («Наш современник», №10), бывший разведчик, а теперь инвалид войны и сельский житель, согласившись за деньги, не лишние для него, участвовать в начальственных затеях, имитирующих «перестройку», в конце концов бросает эти «игры в бесполезность», отказывается и от денег, и от унижающей его достоинство дурацкой показухи.

На сельские темы и цикл рассказов **Игоря Холина «Заброшенный угол»** («Знамя», №10). Автор акцентирует идиотизм деревенской жизни, собирая для этого разные анекдотические случаи и подробности.

Сельский пожарник из рассказа **Николая Коняева «Толстовец»** («Москва», №12) после чтения Толстого решил, что он толстовец, а после разговора со священником решил, что надо отречься от толстовской ереси и креститься. Автор одобряет это решение.

В рассказе **Феликса Казакевича «Силан»** («Наш современник», №11) описана история смерти бывшего сельского полица из раскулаченных, душегуба и карателя, отмотавшего срок и вернувшегося в родное село. Односельчане отказались его хоронить, а собственные дети прокляли. Злодей разрисован черными красками.

Дмитрий Рождественский в рассказе **«Жизнь и заботы благородного Памфилия»** («Нева», №10) изобразил кота, который

летом живет в заброшенной барской усадьбе и сибаритствует напропалую. «Жизнь неизменно была штукой мудрой, правильной и, в общем, весьма и весьма приятной».

«Этюды» Яна Гольцмана «Чудится, светит, мерцает...» («Новый мир», №12) — это записки старожила прионежских мест, наблюдения натуралиста, свидетельства об аборигенах этого края. Тонкая и точная работа, заставляющая вспомнить Пришвина, Бианки и т.п.

Андрей Левкин в опыте лирической прозы **«Клоуны, тварь, больница»** («Комментарии», №6) силится выразить нечто трудно уловимое словом, совпадая с усилиями своего персонажа — «твари» — вспомнить невспоминаемое, безобразное, то, что «просто пусто, просто ничего... чего нету». Возникает зыбкий мир, сквозь пелену образов, извлеченных из подсознания, иногда пробиваются приметы посюстороннего существования, причем переданные в подробностях-наблюдениях, конкретных и зримых. Тексты изобилуют сентенциями столь же многозначительными, сколь и необязательными («люди любят снег потому, что когда он падает им в лицо, это будто испарина после любви»). О предмете высказываний автора можно судить лишь приблизительно. Видимо, «Тварь» — попытка увидеть в рождении как муку вхождения в жизнь, так и разрыв навеки с тем, что было до, с тем, чего теперь не вспомнить. «Больница» — напротив, опус об истаивании жизни, о ее тленности, призрачности. Можно угадать, что «Больница» — элегическое произведение, «Клоуны» — с элементами иронии, комики, но отчетливые дефиниции произведениям Левкина «не показаны», если пользоваться медицинским термином.

Близкие свойства обнаруживает и проза **А. Драгомощенко «Холоднее льда, тверже камня»** («Комментарии», №6) — текст неясного жанра с неясной задачей, неопределенной темой. По объему он «годится в повесть», отсутствие сюжета и обилие рассуждений делают его похожим на эссе, экскурсии в детство — на художественно оформленный мемуар, исповедальные признания — на лирику. Кроме того, это, конечно же, метапроза — автор пишет о том, как он пишет: «только полное безразличие позволяет мне перемещать пальцы по клавиатуре. Я не сказал, что я пишу, скорее я перебираю возможности сочетаний, их скорости и превращений». Избранный автором метод «писания» объясняет появление в тексте фрагментов, построенных на сугубо индивидуальных, не прочитываемых посторонними ассоциациях автора, и текст начинает походить на публичный

сеанс психоанализа, где читателю отведена роль психотерапевта.

«1880—1995. Черная дыра» Елены Долгопят («Юность», №11) — это девять этюдов разного плана. Часто житейское здесь подчинено какому-то условному обстоятельству: девочка не отражается в зеркале, мальчик ничего-ничегошеньки не хочет и т.п. С примесью фантазмагии сочетается сентиментальная нота.

В собрании **Зуфара Фаткудинова «Афоризмы»** («Новый мир», №12) таковых около полусотни. Тематика — общественная и частная жизнь, мораль и нравы. Уровень: «Печальна страна, живущая грандиозными планами», «Муж имеет на свою жену не исключительное, а преимущественное право».

И завершим обзор журнальной прозы несколькими публикациями в *жанре эссе*.

Александр Скидан в философско-эстетическом эссе **«Эфирная маска»** («Комментарии», №6) задается вопросом, насколько «власть книги поколеблена» в современном мире, и приходит к мысли, что «современные фетиши» (прежде всего компьютер) суть лишь метаморфозы книги, которые еще более успешно, чем она, позволяют «изгладить родовую... травму рождения в смерть». Поясняя эту мысль и связывая власть книги с потребностью смертного человека «закрыть смерти глаза, закрыть глаза на смерть, умерев в сон», автор «блуждает» (по его определению) в пространстве культуры, где сопрягаются, резонируя, литература, философия, филология и психоанализ. Здесь в пределах общего сюжета «встречаются» Фрейд и Бланшо, Деррида и Соссюр, У. Эко и А. Введенский — один из первостепенных персонажей эссе. «Эфирной маской» автор именует смерть, которая позволяет «субъекту» быть — «быть слышимым/читаемым», «простирая (эфирное) тело в истории тирании божественного и, стало быть, книги».

Эссе Виктора Сосноры «Александрийцы» («Комментарии», №6), возникшее из необходимости объяснить европейцу разницу между языком русским и советским, содержит «сквозь-исторический» взгляд на явление поэзии, поэта — «высшего выразителя языка», поэтического дара, символ которого в эссе — незаконная любовь Адама и Лилит. Опаленных огнем поэтического дара избранных автор именует «александрийцами», ведя их род с античных времен и открывая его именами Сафо, Алкея, Эмпедокла, Гомера, Нерона. Но огонь Лилит пылает (вопреки христианскому догматизму) и в Вийоне, Данте, Гёте, Байроне, о чьих судьбах и поэтических открытиях автор рассказывает вдохновен-

но, азартно и не без патетики, хотя и завуалированной некоторой фамильярностью тона. История России видится автору беспоэтической. Здесь «всегда ненавидели поэтику, а точнее артистизм». Русский извод христианства — «изоляция, сектанство, нетерпимость» «православного византизма» — немало этой ненависти способствовал. 700-летнее безмолвие нарушил лишь голос Автора «Слова о полку Игореве...», а первым «вынул из-под пресса драгоценнейшие пласты русской речи» Державин. Но очнувшееся в XIX веке с легкой руки Пушкина поэтическое слово вновь было отменено революцией. Изъятие из русского алфавита Декретом 1917 года его сакрального смысла описано живо и впечатляюще — как умерщвление понятий и значений, а с ним убийство личности, л ю д е й и образование безликого и непоэтического «советского народа» — МЫ. Правда, жар александрийского огня пробивается в творениях футуристов (фрагмент о футуризме, кстати, написан по-футуристически нерасчлененными на фразы текстом). Но в целом стараниями Советов русский язык умерщвлен, и возрождение его автор предрекает в далеком неведомом будятланстве.

«Событийная канва» Алексея Парщикова («Комментарии», №7) — «эпопея поэтических приключений», история постмодернизма в лицах, событиях и явлениях поэтических миров. Мемуарные фрагменты (обстоятельства выборов Короля Поэтов в доперестроечной Москве, курьезы взаимоотношений Еременко и Евтушенко и др.) сочленяются с фрагментами, в которых экспонируются идеи поэтов-постмодернистов (Пригова, Жданова, Кедрова). Жизнь и литературу Парщиков объединяет общим способом их осмысления — и та, и другая рассматриваются как тексты. Поэтому одноклассник автора Аричкин осмыслен как постмодернистская фигура в той же степени, в какой, например, некоторые персонажи поэзии Еременко. Они манифестируют собой «непосредственность», сродни непосредственности дебила, психика которого принята постмодернистами «за литературную норму самосознания» — из-за ее непредвзятости, недетерминированности, пародийности по отношению к официозу. Добавим от себя, что эта фигура уже нещадно заэксплуатирована в литературе постмодерна.

Ал. Илюшин в эссе «Некрофильские этюды» («Комментарии», №7) рассматривает различные аспекты любви к мертвецу, констатируя, что привычная оппозиция «плотское-духовное» в переживаниях любви приобретает особую значимость и контрастность в случае, если объект любви — мертв. Сколь отвратительно сексуальное влечение к трупу, столь же возвышенно (хотя бы

благодаря совершенному бескорыстию) духовное чувство к умершему. Однако в самых известных и возвышенных сюжетах, передающих любовь к мертвому (Гамлет, Данте, Орфей), пристальное вглядывание позволяет различить власть «всесильного Эроса», «сексуализацию загробья». Эта сексуализация достигает апогея в произведениях А. Пирона и Баркова, у которого «ад наполняется сладострастием плотской некрофилии», обнаруживая сродство секса и смерти. Но в целом русская классическая поэзия чужда сексуализации любви к умершим. «Чиста и бесплотна» «некрофильская» лирика Державина и Тютчева, Фета и Надсона. «Серебряный век» разрабатывает некрофильские мотивы с «кичливо-дразнящим цинизмом», неожиданно перекликающимся с подобными явлениями на «низовом частушечном уровне».

В. Л. Абросимов в «антропологической фуге» «Мутация «Дельфин» у *Homo Sapiens*» («Комментарии», №6) сообщает о произведенном им эксперименте по определению возможностей человека незащищенными глазами смотреть на солнце — именно такая способность отличает «мутацию «Дельфин». Сам эксперимент описан в нескольких общих словах, а основу текста образует подборка комментирующих цитат из самых разных источников — от Евангелия, Прашна-упанишад, русских пословиц до К. Кастанеды, Г. Миллера, А. Форда, О. Мандельштама. (Примечательно, что импульс к проведению «эксперимента», по-видимому, также дает литература.) Цитаты, причудливо сочетаясь, складываются в целостный рассказ о возникновении людей-«дельфинов». По мысли автора, поддержанной цитатами, чудесная способность смотреть на солнце сопровождает восхождение человека от «профанного» к сакральному уровню сознания и заставляет увидеть в «дельфинах» «новую ветвь эволюции, которая приведет к радикальному изменению мира», когда «наступит конец горю без знания Бога». Очередной солярный миф, к которым особую слабость питали бушмены.

2. Литературная критика

Владимир Новиков в статье «Заскок» («Знамя», №10) бросает взгляд на русскую литературу уходящего столетия и обнаруживает, что главную роль в ней играл модернизм. Его установка — не отражение действительности, а сотворение новой реальности. Что до текущего момента, то критик считает: никакого постмодернизма нет, поскольку нет нового эстетического

ческого качества, которое нуждалось бы в новом термине. Есть «поздмодернизм», то есть поздний (и более низкого качества) модернизм. Теперь «русская литература XX века уже написана полностью», а посему Новиков предлагает переключить внимание на литературу XXI века и делает попытку прогноза, имитируя жанр обзора под заголовком «Русская литература в 2017 году».

Станислав Рассадин в статье «Освобождение от свободы» («Знамя», №11) пишет о «малоприятном свойстве современной литературной ситуации» — тусовочности, групповщине, которая, с его точки зрения, процветает в молодой генерации литераторов. Весьма неодобрительно отзывается критик о претензиях и амбициях молодежи, считая, что она заражена «прутковщиной». Агрессивная притязательность, однако, не способствует трезвой самооценке, пример чему, с точки зрения критика, — проза Галковского. Рассадин фиксирует невзрослость литмолодняка, неготовность его к свободе. Называет он и лучшее в современной литературе. Это проза А. Володина, И. Меттера, С. Липкина, Ю. Давыдова, Г. Владимова. В целом же в текущей словесности слишком много пустого, непричастного к реальности. Внушительных размеров статья содержит и суждения об изоикусстве, в частности — нелестный отзыв о работах скульптора Клыкова, заполнивших московские площади.

Статья Дмитрия Бавильского «Физиология Екатеринбурга» («Октябрь», №12) имеет подзаголовок «Частный случай современного диалога с Достоевским». Критик утверждает, что Достоевский дает современным литераторам возможность ландшафта, фона, в который очень комфортно вписывать любые выверты, надломы, чертовщину, прочие «бЭзды». Под этим углом зрения Бавильский анализирует прозу А. Згировского, А. Крашенинникова, Б. Исхакова. В сочинениях уральских писателей критик из Челябинска видит попытку моделировать на своем пространстве петербургские мотивы Достоевского, перенести северную столицу России на Восток.

Елена Иванickaя в статье «Страстно поднятый перст или угрожающий палец? Еще раз о «нравственности» и «безнравственности» в литературе» («Октябрь», №11) замечает, что одни современные писатели хотят быть пророками, а другие — авантюристами-игроками. Художник-пророк, продолжает Иванickaя, — фигура сомнительная; это чувствуют и сами литераторы. Художественное пророчество не может устранить несовершенство мира.

Мария Ремизова в статье «Разлитие желчи на почве дружбы» («Литгазета», №44) делает обзор прозы журнала «Дружба народов», нелестно о ней отзываясь. В самых заметных публикациях журнала Ремизова находит много изъянов. Так, в «Альбоме для марок» А. Сергеева критик не видит художественного обобщения, это только коллекция бытовых наблюдений и примет эпохи. Новая проза А. Эппеля — это старый спектакль в прежних декорациях, вот только автор потерял очарованность и чувство причастности к изображаемому миру и стал для персонажей чем-то вроде непрощающего обиды соседа по коммуналке. А. Хургин — косноязычен, его фон — совково-российские убожества, а на самом деле писателя до боли волнует половая тематика, что и нашло отражение в его рассказах. В «Руке» В. Пьецуха случайно и необязательно все: и персонажи, и эпизоды, и детали.

Андрей Немзер выдал «Взгляд на русскую прозу в 1995 году» («Сегодня», 23 декабря). Он считает, что в прозе не было настоящего сильного дебюта. Были «полуэффектные полудебюты» (П. Злыгостев, а также С. Гандлевский и В. Залотуха в новом для них амплуа прозаиков). Лучший рассказ — «Архитектор запятая не мой» М. Вишневецкой, которая «вновь потрясла» критика; а «ударная точка» — рассказ А. Солженицына «Абрикосовое варенье» (достоинства которого перечислены так: чуткость к бытийным антиномиям, внимание к «другому» человеку, сюжетная энергия, «поэтическая» сверхплотность письма, эффективная работа «простого приема» — двучастности: «трагическое слияние жизни с искусством и их превращение в псевдоискусство». «Много? Сверх меры»). Большие повествования часто мозаичны, центробежны; их объединяет интонация («Суер-Вьер» Ю. Коваля, «Время, жить!» В. Володина) или героиня («Роман воспитания» Н. Горлановой и В. Букура). Фрагментарны и мемуарно-эссеистические сочинения С. Липкина, А. Сергеева, А. Наймана, М. Безродного. «Три интонационно несхожих повести взошли на грешной и страшной почве истории при свете поэзии»: «Однофамильцы» С. Залыгина, «Так хочется жить» В. Астафьева, «Кавказский пленный» В. Маканина. Наконец, есть и «обыкновенные», тщательно и традиционно выстроенные романы: «Владимир Чигринцев» П. Алешковского и «Поворот реки» А. Дмитриева; последний — критик считает лучшим за год.

Меж тем и сам А. Немзер стал объектом внимания критиков. Параллельно с Е. Ермолиным («Континент», №84) разговор о нем начал в «Литгазете» (№46) Павел Басинский в статье «Чело-

век с ружьем. Портрет критика на фоне критики». Воображение Басинского потрясает неумолимость и педантизм Немзера. Однако при этом Басинский признается, что он никогда не мог определить не только сумму идей и мыслей, но и эстетические ориентиры Немзера, причину его весьма энергичных любовей и нелюбей. Не случайно с Немзером не было ни одной полемики, которая заставила бы что-то обсуждать, доказывать. Все рецензии Немзера — это не анализ прочитанного, а анализ процесса прочтения. В них главный герой — не автор, а рецензент. Басинский анализирует претензию Немзера на роль «Главного Критика». Стиль его литературной жизни — апломб, претензия. «Вот он стоит на литературном посту. Человек с ружьем. Надежный, бдительный. Никто без его ведома не смеет прошмыгнуть в писательский заповедник». «Самый яркий представитель самого тусклого времени в русской литературе», — так резюмирует Басинский свое мнение о Немзере.

Отпор Басинскому дал оторвавшийся ради этого от своих штудий русской культуры XIX века **Александр Архангельский** в статье «Парад местоимений» («Литгазета», №48). В писательском сообществе, считает он, начался новый поиск врага. Рассадин обрушился с филиппиками на всех без разбору «младших». Ремизова — на Слаповского и журнал «Дружба народов». Басинский покусился на Немзера, в чем Архангельский видит «откровенный сальеризм»: цель Басинского — «потеснить «Главного Критика» Немзера, раз навсегда прописать его в прошлом» и «самому вырваться вперед».

Свой взгляд на проблему Немзера изложил и **Дмитрий Быков** в статье «Пейзаж вместо битвы» («Литгазета», №51). В критике — «бесптичье», критика уже не совесть литературы, а процесс вялой борьбы амбиций, выдаваемой за борьбу архаистов (Басинский) и новаторов (постмодернисты-релятивисты из газеты «Сегодня»). Что до Немзера, то его пристрастия насквозь комильфотны, об его позиции говорить невозможно. Критика «Сегодня» — очень претенциозная, но и очень слабая: критики неспособны интересно писать и оригинально интерпретировать. Но и их оппоненты, по Быкову, не имеют новых идей. В то же время многое в литературе остается не проанализированным, а литература есть. Критиков «Сегодня» не интересуют судьбы литературы и общества, их интересует лишь собственное реноме и собственные простые игры. Так, «лирический герой Кузьминского — страдающий, почти душевнобольной, надрывно тоскующий по идеалу интеллектуал», оценки которого совершен-

но произвольны, гнев и похвала — «что-то вроде Божьего промисла».

Наконец, **Дмитрий Бавильский** в репортаже о недавнем совещании молодых писателей под Ярославлем («Независимая», 26 января) рассказал анекдот о том, как по коридорам гостиницы ходил некто, стучавший во все двери, представлявшийся Немзером и просивший налить стопарик; никто, якобы, не отказывал.

Появилось несколько статей, написанных вслед недавно умершим литераторам. **Григорий Померанц** («Одиночная школа любви» — «Дружба народов», №12) пишет о поэте Борисе Чичибабине, раскрывая известные и неизвестные подробности его жизни, перечисляя мотивы его лирики, которую называет «поэзией духовного опыта (или духовной встречи)».

В том же номере журнала **Лев Аннинский** («Зона. Незабвенная шестая часть земли») отозвался о последних стихотворениях Роберта Рождественского, где нашел «мужество духа, глядящего в глаза пустоте. Спокойное отрицание пустоты. Через констатацию». Рождественский не ищет утешения — «он смотрит в глаза небытию. Небытию общности. Небытию личности. Небытию Абсолюта. Небытию бытия». И т.д.

Сергей Костырко («Беллетрист против писателя» — «Новый мир», №11) пытается осмыслить творческий путь Юрия Нагибина. У него было все, чтобы состояться как крупному писателю: писательский менталитет, культура, продуктивное понимание задач литературы, работоспособность, литературная одаренность, трезвость взгляда на окружающую его действительность, интенсивность внутренней жизни, сложность натуры. А писателя не получилось. Почему? Версия Костырко: он не хотел уходить в себя, аскетично работать в стол, а желал еще и жить — ярко, интенсивно, избыточно, публично, для чего приходилось ладить с цензурой (иначе б за границу не пустили). Единственная его настоящая книга в результате — недавно опубликованный дневник, «где он дал полную волю своему таланту», обнаружив все те качества, которые перечислены выше.

Алексей Васюшкин в статье «Петушки как второй Рим?» («Звезда», №12) нашел много общего в поэме Вен. Ерофеева «Москва—Петушки» и романе М. Бютора «Изменение». Тем показательней разница. Герой у Ерофеева гибнет, а у Бютора нет, потому что герой Ерофеева не может изменить себе, упростить свою жизнь; это соответствует религиозной основе русской духовности. Главное русское чувство — «взыскание Бога», чем и был занят Ерофеев.

Вячеслав Воздвиженский в статье «Сочинитель и его двойник» («Октябрь», №12) чествует Андрея Синявского в связи с его 70-летием, подробно знакомя читателей с биографией писателя. Главным вкладом Синявского (и его псевдонимического «двойника» Абрама Терца) в литературу и духовную жизнь России критик считает «высокий пример свободы, который с самого начала несло его искусство». Здесь же **Лилия Панин** в статье «Юлий» делится воспоминаниями о своем учителе Ю. Даниэле.

Александр Генис в статье «Виктор Пелевин: границы и метаморфозы» («Знамя», №12) дает высокую оценку творчеству писателя. «Текст Пелевина написан никак. Он пользуется анилиновыми красками, сквозь которые не просвечивает ни авторская личность, ни какие бы то ни было эмоции... писательское мастерство тут все ушло в фабулу». Книга становится сценарием видеогры. Для Пелевина нет изначальной действительности. Окружающий мир — это только череда искусственных конструкций, окружающее сведено к психическому пространству личности. Это парадигма «новой литературы», которая в прозе Пелевина раскрывается представлением о множественности равноправных миров. На их границах и происходят события. Граница — это провокация, вызывающая метаморфозу персонажа. Это превращение является условием выживания в чехарде фантомных реальностей, произвольно сменяющих друг друга. Так, в романе «Жизнь насекомых» «насекомые и люди суть одно и то же. Кем их считать в каждом отдельном эпизоде, решает автор, а не читатель». При всем при том Пелевин, с точки зрения Гениса, дидактичен: в основе романа история «муравья», который захотел стать «стрекозой», но это не принесло ему счастья; однако возможна и метаморфоза, ведущая не к гибели, а к духовному просветлению (история мотылька, ставшего светлячком).

Александр Агеев в статье «Коллекция» («Знамя», №12) находит место «Альбому для марок» А. Сергеева в контексте современных жанровых поисков в литературе, которые ведут к синтетичности, соединению в рамках одного текста мемуара, эссе, литературоведческого исследования и т.п.

Вячеслав Курицын в заметке «Дымящаяся новизна» («Литгазета», №46) находит в двучастных рассказах А. Солженицына «изящный минимализм» и размера, и приема. Писатель полемизирует со «специальной сложностью письма». Прием сворачивает богатые жизненные смыслы в двучастную прямоту и простоту — но при обратном разворачивании смыслов мы обнаружим, что

нам вовсе не вручили дидактически верного ответа. Двучастность «только уплотняет пространство нашего исторического непонимания». В названной выше статье критик Дмитрий Быков по поводу этой рецензии заметил, что Курицын ничего не понимает в Солженицыне и не хочет понять. Он не заметил в рассказах ключевого слова, называющего главную тему Солженицына; слово это — сопромат.

Другая статья В. Курицына «Военно-патриотический роман в трех вариантах» («Литгазета», №41) характеризует финалистов Букеровского конкурса. Критик полагает, что роман Владимирова «Генерал и его армия» — «скучный и плохочитабельный», в нем нет исторической концепции, нет сюжета, нет ни одного интересного фабульного хода, роман — не «событие языка», в нем нет увлекательной фактуры, событийного мяса. «Казенная сказка» О. Павлова — роман ни для кого. В нем нет вершин стиля и невероятных открытий, а с другой стороны, нет и новой информации, развлечения. Ничего нового никому роман не сообщает. Более лестную оценку критик дает «Одиссее» Е. Федорова за то, что автор пишет про лагерь весело и с явным удовольствием, решая любопытную задачу — создать «культурологию лагеря». Хотя, для Курицына, философ Федоров — несерьезный. С точки зрения критика, в жюри Букеровской премии входят люди маргинальные, чьи литературные и социальные вкусы сформировались давным-давно; они не понимают современную литературу. «Букер интересуется литературой примерно так позавчерашней».

Во многом совпадает с суждениями В. Курицына о букеровских финалистах и жюри мнение Ефима Лямпорта («Букер-экспресс» — «Независимая», 1 декабря). Жюри составлено из «пресловутых шестидесятников», а имя лауреата заранее известно. В книге Е. Федорова есть ценное зерно: герой открывает, что он — человек — виновен онтологически, изначально. Е. Федоров, по Лямпорту, попал в финалисты в пику А. Солженицыну, своему литературному оппоненту. Это знак того, что Цвет Творческой Интеллигенции не вполне доволен Великим Писателем Земли Русской. Проза О. Павлова — это «четвертая копия», он пишет о том, что всем давно известно. Наконец, роман Владимирова — это собрание литературных банальностей, где изюминка спрятана в двух-трех мелких штрихах. «Прием, использованный Владимиром, — классическая шестидесятническая фи́га в кармане, то есть: идеологически окрашенные мелкие детали, интроецированные на повествование, придают ему свой цвет. Марают». Этот прием преобразует генерала Кобрисова в генерала Власова. «Коб-

рисов, конечно, не Власов, он — **литературный власовец**. Владимир как бы реконструирует судьбу Власова, не перешедшего на сторону фашистов, а продолжающего служить в советской армии — отец солдатам, сын отечества и т.д. Но, поскольку реальный Власов служил фашистам, возникает эффект реабилитации исторического Власова».

Еще одно сочинение **В. Курицына** «**Чьи тексты читает всякий здесь славист?**» («Литгазета», №45) посвящено циклу Тимура Кибирова «Двадцать сонетов к Саше Запоевой», опубликованному в №9 «Знамени». Кибиров написал о своей дочке — «в жанре нежнейшего и беспредельного сюсюканья», «трогательная наивность вышибает слезы и высокие слова». Напрасно только поэт доказывает свое право на сюсюканье. Громкая слава Кибирова связана со стихами «историческими», где внятно артикулируется воздух эпохи. Но сейчас фон советского мифа подцвел и осел, временно надоел. И вот в стихах появляется дочь, «нечто крохотно-теплое, противостоящее всему этому миру каменных мифов и отверстых пространств». «Дочь становится своего рода инструментом по уточнению своего места в контексте». Цикл — опыт нового самоопределения, а отцовство — новый статус поэта. Тут видится стремление к «простому жесту», отказ от рефлексии. Но «новая наивность» — это «еще один извод культурной пресыщенности». «Простой жест **вместо сложного** — это сложный жест».

Другой взгляд на стихи Кибирова предлагает **Александр Левин** («О влиянии солнечной активности на современную русскую поэзию» — «Знамя», №10). Кибиров вышел из контекста центонной поэзии 80-х. Но общераспространенный прием он соединил с мощным лирическим напором, с ностальгической, рыдающей ноткой. Смех сквозь прощальные слезы — самое значительное творческое достижение Кибирова. Но с 1988 года его напор слабеет, тексты становятся рыхлыми, описательными, пошли самоповторы. Стало скучно.

Александр Кушнер пишет о своем 60-летнем друге Евгении Рейне («Черная музыка» — «Звезда», №12). «Поэзия Е. Рейна человечна»: он живет чувством и не врет по этому поводу, он вовлечен в жизнь, «какой бы жалкой (или высокой) она ни была». У Рейна нет никакой идеологии, его требование — «оставьте человека в покое, дайте жить». Кушнер одобритительно цитирует строки 70-х годов: «Все благо./И даже советская власть./Нет флага,/К которому я не хотел бы припасть»; он полагает, что эти стихи сродни манделштамовским «Я пью за военные астры...»

Рейн — поэт элегический, он мрачен и печален, настоящим он воспользоваться не может и удовольствия от него не получает, — таков еще один вывод автора статьи.

Николай Славянский в статье «Из полного до дна в глубокое до краев. О стихах Ольги Седаковой» («Новый мир», №10) противопоставляет высоким оценкам творчества поэтессы в среде академической филологической элиты свой критический взгляд. В стихах Седаковой он видит переусложненность, невнятицу, темноты — их объем «подавляющ». «Художественная значимость ее творчества не более чем фикция». Критик видит здесь «фальшивый пифизм», «притворное косноязычие», тщетную подмену художественного события «христианским исповедничеством». Исток такого творчества — «лабораторная стихия». Претенциозный алогизм, по мнению критика, разрушает и творческую волю других поэтов, в частности, Ивана Жданова.

Статья **Бориса Каца** «Фоно на пиру Мнемозины: к генезису поэтического образа рояля у Иосифа Бродского» («Звезда», №11) — наблюдения над появлением фортепиано в поэтических текстах Бродского. Привлечен контекст русской поэзии.

«**Сталин и литература. Главы недописанной книги**» **Анны Берзер** («Звезда», №11) — это многоплановый анализ взаимоотношений вождя с писателями-современниками. Воедино сплавлены воспоминания автора, размышления над текстами, над фактами искусства и жизни; представлен обширный материал, окрашенный авторским отношением к персонажам этого повествования: Демьяну Бедному, Алексею Толстому, Марфе Крюковой, Михаилу Булгакову и др. Публикация сопровождается обширной вступительной статьей **Инны Борисовой**, представляющей автора — **Анну Самойловну Берзер**, многолетнего сотрудника редакции «Нового мира».

3. Культурология, философия

Вторая половина 1995 года не принесла ярких, заметных выступлений в культурологической и философской публицистике толстых журналов. Ни новых тем, ни свежих идей. Тем не менее намеченные еще в первой половине года направления исследований приобрели тот необходимо устойчивый, очерченный характер, который свидетельствует о ясном понимании предмета разговора. Так, сегодня кажется уже неприлично рассматривать российский кризис вне его связи с мировым, общецивилизацион-

ным. Этот контекст действительно позволяет исследователям выходить на более глубокие, масштабные обобщения, обращать их к общим проблемам генезиса цивилизационных конфликтов, говорить об онтологическом содержании переживаемого современниками «столкновения культур», наступления периода «новой глобализации», «конца истории». Широкие обобщения открывают перед культурологической и философской публицистикой и возможности реального прогнозирования. Именно нацеленность на прогноз, попытки диагностировать будущее для предупреждения, изживания тех или иных негативных тенденций уже в настоящем — вот то действительно новое, что характеризует столь плавное внешне течение общекультурной мысли июля-декабря.

С другой стороны, можно отметить отсутствие каких бы то ни было межлагерных и внутриидейных драк, свор и споров — при том, что публицисты разрабатывают одни и те же темы, диагностируют одни и те же ситуации. Возможно, это и есть тот самый искомый плюрализм мнений в демократическом обществе, к которому так модно стремиться. Но осмелимся высказать и возникшее опасение: столь намеренный отказ от конструктивного или неконструктивного, но — живого диалога не свидетельствует ли об окончательном разделении самого общества?

По-прежнему, как уже сказано, одной из центральных остается *тема российского общенационального кризиса на фоне мирового общецивилизационного*. Ей был целиком посвящен Круглый стол «Россия в условиях стратегической нестабильности» в «Вопросах философии», (№9, 1995). На встрече речь шла об исчерпанности прежних парадигм внешних и внутренних взаимодействий, о перспективах нахождения новых принципов, о проблемах изоляционизма, о ситуации конфликта цивилизаций. Круглый стол выказал завидное единодушие участников в принципиальных оценках сегодняшнего положения России на фоне мирового кризиса. Не противопоставляя «русский путь» общим тенденциям, участники обсуждения говорили о необходимости учитывать особенности российской цивилизации.

Н. Моисеев настаивал на том, что по границам России проходит цивилизационный разлом. И разговоры о вхождении в европейский дом представляются ему поэтому очередной вредной утопией. Специального рассмотрения требует, с его точки зрения, именно евразийская идея, с пониманием ее стабилизирующих возможностей. В этом контексте неплохо, замечает автор, поразмышлять и о взаимопроникновении русской и исламской культур.

Столь же критично относится к идее участия в европейском доме и **А. Панарин**. По его мнению, сегодня в нашей стране налицо нарушение консенсуса «сложного государства», при котором у каждого социального слоя свои обязанности и права. «Европейский дом» годится лишь для «новых русских», «вестернизация» верхов привела к нарушению принципа единой общенациональной судьбы и, следовательно, общенациональной перспективы. С точки зрения Панарина, европоцентричный гегемонизм сегодня уже несостоятелен. На самом Западе назрела необходимость новой духовной реформации. В этом свете Россия представляет для Европы соблазн протянуть еще несколько десятилетий на прежней энергоемкой модели, не меняя ее на наукоемкую. Вот почему, полагает автор, Запад и стремится столкнуть Россию с мусульманским миром. Вполне поддерживая Моисеева, Панарин также выступает против тенденции противопоставления славяно-православных и тюрко-мусульманских культурных традиций.

Идею связи геополитической самоидентичности нашей цивилизации с исторически традиционным огромным пространством отстаивает **В. Цымбурский**. Он считает, что вопрос о том, будет ли Россия еще сжиматься, на деле сводится к вопросу контроля над своим геополитическим пространством, близким к исторической нише, где в XVI—XVII вв. кристаллизовалась российская цивилизация. Однако справедливости ради надо заметить, что признание России за особое цивилизационно-культурное образование со своей логикой и ритмикой развития вовсе не обязательно обрекает нас на побег из Европы. Скажем, **В. Межуев**, еще один участник Круглого стола, справедливо замечает, что российская нация рождалась в христианской вере и, оставаясь пока преданной этому истоку, Россия в основах своих является все-таки европейской страной. Так что точнее будет оценить цивилизационные принципы Запада и России как взаимодополняющие, готовые к диалогу.

Участники Круглого стола «Столкновение цивилизаций: перспективы и альтернативы» («Общественные науки и современность», №4, 1995) также ратовали за развитие такого диалога. Сегодня даже самая богатая страна не способна самостоятельно обеспечить себе гарантированное быстрое развитие (**А. Зобин**); создание единой цивилизации должно восприниматься как процесс диалектический, в котором глобализация борется с индивидуализацией (**А. Шестопал**); словом, нет сомнений в способности человечества выжить в сотрудничестве, минуя всемирную конфронтацию (**А. Медовой**). Выступавшие на Круглом столе «На

пороге «осевого времени»?» («Знание — сила», №6, 1995) высказали, в общем-то, схожую точку зрения: проблемы будущего окажутся столь глубоки, что их невозможно будет решить, минуя путь междивилизационного сотрудничества; грядет «сверхцивилизация» на основе рыночных связей (В. Пантин); хотя были отмечены и слабости цивилизационного подхода, которые проявляются уже сегодня, скажем, наиболее острые конфликты последнего времени произошли между народами, принадлежащими к одной цивилизации (Б. Межуев); была названа и возможная альтернатива цивилизационной модели — «концепция эволюционного движения мировых центров индустрии» (В. Лапкин).

Об обреченности попыток прямого переноса западных идей на российскую почву пишет и В. Шаповалов в статье «Либеральное государство и универсализм культуры» («Социс», №8, 1995). Опора на нравственные и культурные традиции является императивом для либерального государства, замечает автор. Однако очевидно, что не всякая исторически-традиционная культура может служить твердой опорой либерализму, а лишь отвечающая требованию универсализма. Ведь и институт права имеет универсальный характер.

Лидер сегодняшних российских коммунистов Г. Зюганов также предлагает рассматривать проблемы современной России «в борьбе цивилизаций» («Россия в борьбе цивилизаций», «Наш современник», №10, 1995). Вся планета оказалась перед выбором общей философии выживания. С падением коммунистических режимов в Восточной Европе в геополитике возникло «уравнение не с двумя, как прежде, а с многими неизвестными величинами». И в этой новой геополитике у нашей страны, замечает автор статьи, свои, особенные «планетарные интересы». Россия видится ему естественным ядром евразийства, даже — «главной опорой евразийского континентального блока». Широко эксплуатируя наследие Данилевского, Леонтьева, Соловьева, Бердяева, Трубецких, Флоренского, Булгакова, Шпенглера, обращаясь к теориям Фукуямы и Гумилева, лидер КПРФ говорит о необходимости создания в России эффективной «идеологии патриотизма». Разрешение всех проблем человечества невозможно на пути превращения Запада в глобальную модель развития, замечает автор. И определяет два основных вида «альтернативной стратегии»: неомальтузианская стратегия (консервация уровня массового производства с сохранением прежней технологической структуры) и — «рост благосостояния всего населения Земли» на основе изменения модели производства. Иными словами — социализм в совре-

менных формах. Останавливаясь в заключении на анализе конкретного социалистического российского опыта, Зюганов убеждает читателя попробовать, так сказать, еще раз, с учетом обнаруженных им ошибок и с опорой на Ленина и, очевидно, Фукуяму.

Еще одно забытое имя предлагают вспомнить авторы подборки материалов **«Тектология А.А. Богданова: на пути к новой парадигме» («Вопросы философии», №8, 1995)**. Усложнение структуры современного общества требует разработки новой научной парадигмы, которой и может стать богдановская тектология, — наука, объединяющая «организационный опыт человечества», осуществляющая переход от метода аналогий к выявлению общих закономерностей становления и функционирования систем (Л. Абалкин); именно у тектологии сегодня наилучшие перспективы; задолго до современных культурологов Богданов, столь осмеянный и униженный Лениным, ввел в научный обиход понятие «кризиса» — аналога современной «бифуркации» и «катастрофы», попытался осмыслить роль «случайного фактора» (Н. Моисеев). (О теории бифуркации в ее приложении к истории размышляют и авторы журнала **«Знание — сила»** (№9, 1995) Г. Малинецкий и А. Потапов в статье **«Сослагательное наклонение»**.)

Тема российского кризиса как отражения общецивилизационного находит своеобразное преломление и в работе Ю. Линника **«Социальная синергетика» («Грани», №176, 1995)**. Опираясь на весьма популярную нынче в российской публицистике теорию катастроф, автор напоминает читателю, что порядок есть результат не гармоничности, симметричности системы, но — неравновесных, хаотичных процессов (и даже вспоминает давно забытое: анархия — мать порядка). Вот почему он пробует применить к социальному космосу категории *синергетики* — науки о неравновесных процессах. Синергетика видится автору новой моделью мира и даже новым мировоззрением, наиболее зрелой формой солидаризма, хотя он и учитывает опасность переноса естественно-научных понятий в социальную сферу. Синергетический взгляд поможет, по мнению Линника, понять глубинную мистическую взаимосвязь людей, выявить подлинную значительную роль маленькой личности (которая, в качестве той самой синергетической «случайности» превратит хаос в новую гармонию).

Об *адаптации* такой *«маленькой личности» к российскому кризису* пишет в статье **«Мы стали не хуже, а гибче» С. Климова («Знание — сила», №7, 1995)**. Автор замечает: сегодня мы уже не жалуемся на утилитарность взаимоотношений, мы ее принимаем

как неизбежность. Однако для всех сохраняется и прежняя потребность в хороших отношениях с ближним. Такая ориентация на «свой круг» дает не одни положительные результаты, но может привести и к росту социальной ксенофобии, к отказу от противодействия нарушителям норм. В обществе, пишет автор, формируются «отношения корпоративного типа, где договорные отношения будут замещены свойскими, закон и право — неформальным разрешением конфликтов, а индивидуальная ответственность — круговой порукой».

«Контуры Нового мира и Россия: геоэкономический этюд» предлагает читателям А. Неклесса («Знамя», №11, 1995). Контуры очерчены следующим образом: мир делится на пять цивилизационных пространств: атлантическое, тихоокеанское, евразийское и транснациональное. Глобальная экономическая федерация Севера и Юга противостоит конгломерату посткоммунистического мира. Стабильность этой ситуации подрывается деградацией традиционных форм социальной организации во втором и третьем мирах. В таком контексте кризис России есть лишь предвестник более глобальных развалов.

Заметно выделяется в тематическом подразделе *Россия — Запад* статья Б. Гройса «Россия как подсознание Запада» («Архетип», №2, 1995). Статья перепечатана из журнала «Искусство кино», №12, 1992).

Материальное, внешнее существование России, считает автор статьи, есть лишь шифр, который должен быть психоанализирован. Расшифровка же приводит к ответу: у России не может быть подсознания. Ибо она и есть само подсознание. Преимущество России не в специфичности ее культуры, а именно в отсутствии специфичности, т.е. односторонности. «Всемирная отзывчивость русской души» означает такую недетерминированность собственного сознания, которая позволяет понять и детерминировать чужое сознание.

Западное подсознательное было естественно развито в направлении сексуально сориентированного дискурса; выражением же российского хронотопа на психическом уровне становится известная «соборность». «Соборность есть русское имя для либидо», считает автор. Это пространственно-временная категория церковно-исторического происхождения, «церковная компонента сознания... которая в качестве бессознательного, определяет «мирскую» установку разума». Русская соборность представляется философу преодолением раскола между Западом и Востоком, сознанием и бессознательным. Русский интеллигент, вскормлен-

ный, как всем известно, молоком западным, оказывается, таким образом, расколот на западное сознание и русское подсознание. В своем собственном подсознании русский всегда узнавал мечту европейской философии, «в себе самом — реализацию ее идеала». Современный кризис эроса на Западе (западного подсознательного), происходящий сегодня в форме гипертрофированного возрастания его значения, самым естественным образом определил и «горе уму» русскому: Запад уже потерпел поражение, его сознание уже растворилось в бессознательном — все обошлось без России. Провиденциальную роль России можно, таким образом, поставить под сомнение, считает автор статьи.

Очевидно, со многими выкладками Гройса согласился бы и публицист «Дружбы народов» И. Ачильдиев (№5—6, 1995), выступивший со статьей «Свобода и равенство». Учитывая фундаментальное значение идеала свободы, автор предполагает, что каждая цивилизация отличается от другой не только культурой, языком и религией, но и особым пониманием свободы. Стремление к ней является императивом человечества как биологического вида, начинавшегося, однако, не со свободы, а с бунта. И хотя бунт ничего не созидает, в действительности он глубоко позитивен, ибо открывает в человеке возможности к метафизическому действию: борьбе за свободу. Конечно, никакой подлинной свободы в пратолпе еще не может быть; пратолпа как унитарно чувствующее и действующее объединение является по сути огромной личностью, одним индивидом. Однако пратолпа (как и ее современный рудимент — толпа) объективно дает состояние свободы, воспринимаемой как полное, ничем не омраченное счастье, воля, раскованность. Толпа не бывает жестока, как это ни парадоксально звучит; речь правильнее вести об ощущении счастья и свободы, которое дает равенство в эмоционально-напряженном сообществе. Автор выстраивает даже своеобразную цепочку: пратолпа, толпа, коммунитас, эгалитаризм (идеологические союзы). Подлинная же свобода становится возможной лишь с момента выделения личности из толпы. Ачильдиев называет три мировых идеала свободы: западный, основанный на иудаизме и римском праве, в котором человек ощущает себя свободным, лишь обладая полнотой личностных прав; восточный, при котором сердцевина свободы лежит в духовной независимости, отвлекаясь от телесного существования; наконец, русский идеал свободы, включающий в себя и метаисторические, и метафизические элементы. Он сложился, считает публицист, еще до христианства, которое лишь придало ему культурную законченность. Суть этого идеала — в понимании свободы как итога духовного и физического страдания

и последующего очищения-приобщения к Богу. Здесь и зарождается, по Ачильдиеву, русское мессианство. Которое сегодня никому, в том числе и России, не нужно. Ведь она переживает крах своего идеала свободы.

Однако если русские переживают крушение своего изначального, подсознательного, дохристианского идеала, то европейский человек только начинает припоминать и выводить из бессознательного свой праидеал. Об этом читателям рассказывает статья **Б. Старостина «Зигрида Хунке: мировоззренческий синтез на основе историко-культурных реконструкций» («Философские науки», №2(4), 1995)**. Немецкий философ, историк и писательница Хунке поставила перед собой цель: построить новое мировоззрение, пригодное для современного человека, испытывающего, как известно, большой духовный кризис. На основе историко-культурного анализа исследовательница пришла к выводу о внутренней устойчивости цивилизаций, а следовательно, о наличии неизменной культурной парадигмы в доистории регионов. По мнению философа, завершается полуторатысячелетний кризис европейского сознания, вызванный господством дуализма (сюда включается и христианство); исчерпана традиция противопоставления материи и духа, человека и Бога, мужского и женского. В праевропейском мировоззрении все было гармонично. Христианский Запад умер, Европа, наконец, обретает свою идентичность в «диалектическом унитаризме». Еврорелигия не является ни пантеизмом, ни монизмом; унитаризм, не отрицая ни одну из противоположностей, примиряет их в высшем.

Еще одна религия будущего — «нью эйдж». О ней рассказывает в своей статье **«Заговор эпохи Водолея» Т. Савицкая («Знание — сила», №10, 1995)**. Автор напоминает читателю: движение «нью эйдж», связанное с идеями Блаватской и Алисы Бейли, соединяет старинные оккультные и мистические идеи, экстрасенсорику, анархизм, эсхатологизм и еще парочку «измов». Будучи родным детищем прокламированной Просвещением идеологии атеистического гуманизма, столь популярное сегодня движение «нью эйдж» является таким же продуктом дехристианизации Запада, как и нынешний пронизанный конформизмом церковный истеблишмент, в котором догматы деградировали до уровня морально-правового кодекса. В одном автор статьи согласен с создателями «нью-ейджа»: движение это, кажется, и вправду имеет основания претендовать в будущем на главенство над традиционными религиями.

По-прежнему не оставляет публицистов в покое *геополитическая концепция Льва Гумилева*.

И. Новожилов, профессор МГУ, специалист по формированию приближенных математических моделей сложных динамических систем, в «**Размышлениях о математическом моделировании и не только о нем**» (журнал «Знание — сила», №5, 1995) высказывает некую смущенность специалиста относительно теории пассионарности. Автор статьи считает, что с математическими моделировочными развлечениями в этногенезе нужно все-таки повременить: «нет ни основных понятий, ни закономерностей».

О сложности процессов этногенеза говорит и **С. Кляшторный** в статье «**Россия и тюрские народы: евразийская перспектива**» («Знамя», №9, 1995). Автор подчеркивает ошибочность идей автохронной исключительности, «особости» коренного населения. Отношения тюрских народов и славян всегда характеризовались симбиозом (о сходстве в историческом развитии двух культур и материал **А. Мартынова** «**Россия и Китай: сходство населения — общность судьбы**», «Звезда», №10, 1995). Значение географии для выработки стратегии геополитики рассматривает **А. Трейвиш** в статье «**Российская геополитика от Гостомысла до наших дней: краткий обзор идей и фактов**» («Знание — сила», №8, 1995). Татарское нашествие, по мнению автора, действительно изменило геополитический код Руси, сделав страну раздвоенной в своей ориентации. Так что пока россиянам остается и дальше жить и мучаться.

Не менее мрачен в области прогнозов и **Г. Померанц**, анализирующий «**Разрушительные тенденции в русской культуре**» («Новый мир», №8, 1995). Историческое развитие никогда не бывает простым движением от плохого к лучшему, замечает публицист. Итог цивилизации — переход от грубости к пошлости. Буржуазная цивилизация XIX века была пошлой для русской аристократии, приобщившейся к духовным вершинам Запада. Западный соблазн для нас сегодня — в неадекватном прочтении чужого опыта; их балансирование между аскезой труда и гедонизмом досуга не улавливается со стороны. Чужая культура вообще не может передать другим свою аскезу. Усваиваются лишь внешние плоды. И определяя русскую культуру как «подростковую», несовершеннолетнюю, автор подчеркивает ее незавершенность. Перед Россией всегда стояла проблема цивилизационной идентичности, внутреннего гармонического универсума, в ней всегда существовало превосходство бродящего духа над формой и связанная с этим угроза хаоса. Незавершенность русской культуры и болезнь, и творческий импульс. Померанц очень надеется, что когда-нибудь сложится русский стиль, и разговоры о русской идее

окончатся. Но сегодня они крайне необходимы. И чем больше — тем лучше.

Сегодня страшна и единственность идеи (старая русская болезнь), и безыдейность. Русская идея видится автору, называющему себя «суперэкуменистом», как диалог идей. (На эту же тему можно прочесть и статью Н. Мудрагея «Идеал — проблема выбора, или Воля к разуму», «Вопросы философии», №9, 1995.)

О русской идее размышляет и митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл в статье «Через духовное обновление русского народа — к его национальному возрождению» («Журнал Московской Патриархии», №1—4, 1995). Подходя к истории человечества как истории борьбы Бога с дьяволом, автор статьи дает свою интерпретацию известному понятию «Святая Русь»; это — не святые люди, не обилие храмов, но — духовно-нравственный идеал, включающий в себя главенство духовного над материальным. С этой точки зрения и концепция «Москва — Третий Рим» — не внешнеполитическая программа, но — образ нравственных и духовных устремлений. Вслед за кратким экскурсом в историю России, автор делает такой вывод: «расцерковленное, лишенное духовного идеала национальное самосознание может создать почву для настроений, чуждых христианской вере: идей национальной исключительности и национального мессианизма». На фоне глубочайшего кризиса личности особенно необходима некая объединительная идея. Митрополит Кирилл видит основной вектор этой идеи в синтезе высокого духовного нравственного идеала, проповеданного Православной Церковью, и подлинного патриотизма.

Средство возрождения духовно-нравственного идеала автор статьи видит в воцерковлении; воцерковлении как преодолении разрыва между опытом повседневной жизни и религиозным опытом, «который мы обретаем как члены Богочеловеческого организма, Церкви Христовой». Речь идет не о неперменной клерикализации, а об одухотворении личной и общественной жизни. Церковь способна предотвратить в обществе нравственный релятивизм.

О духовно-нравственном характере российского кризиса пишет и Э. Володин в статье «О дне же том и часе никто не знает» («Образ», №2, 1995). Сопоставление нынешнего национально-государственного нестроения с периодом Смуты кажется автору хотя и естественным, однако не вполне отражающим суть происходящего. Кризисы в мировой истории всегда имели внеэкономические причины. «Нация, являясь сакральной и соборно-иерар-

хической целостностью, болезненно (кризисно) переживает изменение способа своего существования, тем более, если эти изменения связаны с перестановкой слоев и классов в иерархической системе». Рассматривая российские смуты от установления династии Рюриковичей до настоящего времени, Володин называет следующие причины структурных кризисов: переформирование этнических общностей, изменение системы и формы власти, смена государственной идеологии и подмена общенациональных целей и идеалов целями и идеалами сословия, класса, клана. В предкризисный период подъема государственной жизни создаются те новые правовые, экономические или этнические предпосылки, которые в будущем объединят все противоречия времени стабильности и определяют характер кризиса. При этом особое значение имеет состояние национальной духовности в предкризисное время и кризисный период. Происходящее сегодня автор статьи оценивает как сознательно проводимую денационализацию, классовую дифференциацию и сориентированность на тоталитаризм как инструмент господства корпораторской буржуазии южноамериканского типа, — словом, как полное разрушение духовно-национальной традиции русского государства и «русской идеи».

Впрочем, *идеи и реальность* редко уживаются. Их несовпадение фиксирует онтологический конфликт между возможностями мира и ожиданием человека. Этой проблеме посвящена статья Ю. Линника «Утопия и упование» («Посев», №4, июль—август, 1995). По мнению автора, тоталитарные лже-утопии бросают тень на феномен утопии в целом, тогда как утопия отражает реальные антиномии бытия. В ее создании работает механизм противопоставления, альтернативности реальному миру. Однако если религиозные модели иного мира подчеркивают несовместимость небесного и земного, утопия старается низвести горнее к дольнему. Увы, вместо искомого синтеза получается полное противоречий, нежизненное образование.

Отличие утопических надежд от религиозных верований в том, что небеса стаскиваются на землю, а не земля поднимается до небес. Причина тому — отнюдь не наивность утопистов, считает автор статьи. Утопия не считается с физикой мира; воплощенная материя неизменно несет в себе противоречия, в их разрешении — динамика мира, жизнь социума и жизнь души. «Важнейшая черта утопии — нечувствование этой диалектики». Мир воспринимается упрощенным, непротиворечивым. Именно потому любая воплощенная утопия несет в себе гибель материи.

Утопическая схема чужда природе, для мира жизненно важна неоднородность. Автор замечает, что наивно не отдавать себе отчета в том, что идеал может осуществиться только после Преображения. Это четко ощущала народная интуиция, создававшая особы вид утопии — утопию-чаяние, упование.

Утопический метод ведет к догматической приверженности схеме. На эту точку зрения К. Поппера указывает автор еще одной статьи, посвященной *тоталитарным утопиям*, — «К трактовке тоталитаризма» М. Хевеши («Философские науки», №2(4), 1995). Обращаясь к книге известного философа («Открытое общество»), автор исследует истоки тоталитаризма, в котором видит одну из древнейших традиций коллективистского племенного, «закрытого» (по определению Поппера) общества. В результате «перенапряжения цивилизации» в современном обществе «открытого» типа (с ярко выраженным индивидуалистическим началом) и произошел своеобразный возврат к племенному духу — тоталитаризму. Тоталитаризм XX века стал возможен, полагает вслед за Поппером автор статьи, из-за крушения другого народного, коллективистского движения — социал-демократии. Однако опасность таится здесь не в экономике, но — в бесконтрольности власти. Важен не утопизм марксизма или социал-демократии, не иррационализм фашизма, с его бунтом против разума, важно не кто правит, а насколько его можно контролировать. Скажем, гипердемократия XX века (подмеченная Ортегой-и-Гассетом), когда массы действуют при помощи насилия, также является прямым примером регресса. Тем не менее, отмечает автор статьи, связывая тоталитаризм с особенностями массового общества XX века, надо учитывать, что соответствующие режимы все-таки устанавливаются там, где наблюдается глубокий социально-экономический кризис и отсутствуют прочные демократические традиции. Это и создает ситуацию перенапряжения, которую пытаются разрешить — своими методами — тоталитаризм. Таким образом, заключает Хевеши, общим знаменателем для тоталитарных режимов является роль и место государства в жизни общества, его стремление поглотить это общество. (Здесь стоит обратить внимание на насильственное внедрение однопартийной системы, на фигуру вождя, на сращивание государства и партии, наличие единой идеологии и монополию партийной идеологии.) Вряд ли возможно вообще удалить утопические устремления из культуры, из человеческого сознания, замечает философ. Правильнее все-таки говорить не об отказе от утопии, но об отказе от ее насильственного внедрения в жизнь.

О проблеме *тоталитаризма*, а точнее — *«фашизма как феномена европейской культуры»* размышляет Ю. Каграманов в статье *«Отчего затянулась «гибель богов»* («Новый мир», №12, 1995). Как это ни удивительно после пережитого человечеством во Второй мировой войне, но в наше время происходит заметное понижение «барьера неприятия» фашизма, замечает автор. Не веря в реальность фашистского переворота в какой-нибудь западной стране, публицист с удивлением отмечает живучесть «воображаемого фашизма», его идеологии. И задается вопросом: не пришла ли пора заново определить, что такое фашизм? Разработки теории тоталитаризма сыграли несомненную положительную роль уже тем, что доказали близость гитлеровского и сталинского режимов. Однако переключив внимание на государственные институты, теоретики недооценили, по мнению публициста, вопросы идейного, духовного порядка. Без сомнения, трудность постановки подобных вопросов связана с тем, что идеология национал-социализма не представляла и не представляет сегодня законченной системы. Но главное состоит в том, что понимание феномена фашизма требует анализа не на уровне идеологии, а глубже, — в пластах стихийного религиозного выбора, подсознательных психологических установок. Иными словами, фашизм — это дух фашизма. Не претендуя на законченную характеристику феномена, Каграманов старается обозначить основные его приметы: неприятие истории, отвержение христианства и обновление языческого типа мироощущения, новое отношение к смерти. Говоря же об угрозе фашизма в нашей стране, автор статьи отмечает его первые шаги — шаги по осваиванию соответствующего идейно-теоретического и практического опыта Запада. Публицист не сомневается, что соблазны фашизоидного образа мыслей в обозримом будущем окажутся достаточно сильными.

Любопытно, что описанные Каграмановым признаки «фашизоидного образа мыслей» на удивление плавно вписываются в исследуемую многими современными публицистами утверждающуюся сегодня мировоззренческую *модель постмодернизма*. Попыткам сконструировать, понять или хотя бы описать это духовное состояние современной цивилизации посвящены многие статьи прошедшего полугодия.

Так, исследование *«Современность постмодерна»* П. Козловского («Вопросы философии», №10, 1995) обращено к постмодернизму как теории исторически развивающейся всеобщей действительности. Новый авангард, не видя противоречий между собой и старым модерном, описывает себя не как анти-модерн,

но как пост-модерн. В нем не повторяется классический спор эпох, он — выше обычного в истории спора авангарда и классичности. О качественной новизне явления свидетельствует, по мнению немецкого философа, несколько проявленных тенденций в современности, как то: развитие техники к ее нематериальности, проблема экологии, религиозное развитие после распада утопизма. Нематериальность техники, по Козловскому, и есть одухотворение материи; открытие исчерпаемости физических запасов энергии привело к идее «исчерпанности утопических энергий», кризис утопических ожиданий привел, в конечном итоге, к тому, что на место религии пришли нигилизм и мифология, своеобразная модификация схемы поздней античности и деконструктивистская произвольность.

О постмодернизме как своеобразной реакции на скованность современного теоретического сознания, на догматизированную дихотомию «правого-левого» пишет Ю. Давыдов в статье «Эволюция теоретической социологии XX века» («Социс», №8, 1995). О постмодернизме в контексте «Культура и ее кризисы» размышляет ленинградский историк В. Якобсон («Знание — сила», №6, 1995); А. Генис в статье «История секунды» («Звезда», №8, 1995) останавливается на проблеме приватизации времени в постмодернизме, где время структурируется уже не обществом, а личностью и это «частное время» ведет человечество к выходу из истории, которая, по мнению автора статьи, «оперирует слишком большими для человеческой жизни временными интервалами».

Проблему историчности в постмодернизме и его перспектив ставят также В. Федотова — в статье «Рациональность как предпосылка и содержание модернизации общества» («Философские науки», №2(4), 1995), Т. Горичева — в статье «Постмодернизма так и не было» («Преображение-омега», №1, 1995); Ю. Нечипоренко в статье «Постимперское мышление и постмодерн» («Москва», №7, 1995). К проблеме христианства в эпоху постмодернизма обращается А. Кырлежев в статье «Безрелигиозное христианство» в «совершеннолетнем мире»? («Знамя», №10, 1995). Автор придерживается весьма распространенного сегодня взгляда на современную эпоху как эпоху постхристианскую. Наше время, считает публицист, не терпит тотальностей — ни научных, ни религиозных. «Новая религиозность» постхристианской и постнаучной эпохи выглядит как попытка создать религию нового типа, не связанную ни с одной определенной традицией, при этом «новая религиозность» утратила ключевой элемент европейской религии: «веру в личностного Бога иудео-христиан-

ской традиции». Социологической реальностью является индивидуальная религиозность. В такой ситуации ключевым вопросом христианства становится вопрос о его «содержании»: что такое христианство как Благовестие Христово? Найти ответ и значило бы обрести исторический контекст.

Касается автор статьи и положения Православной церкви в современной действительности. «Мистический опыт» Церкви должен стать источником смыслов и энергий, которые позволяют оставаться христианином не только в состоянии монашества, а в посюсторонности человеческой жизни. Церковь, по мнению автора, обязана отказаться от закрытого типа религиозности. Настало время судить себя не только перед лицом Бога, но и — безрелигиозного мира.

Г. Померанц в статье «По ту сторону символов» («Знание — сила», №5, 1995), обращаясь к природе мифа как символике некоего Целого, прослеживает механику перехода мифа в «мир фактов» в различных культурах. И замечает: сегодня мир стал тесен и традиционные религии фактически объединились. Однако единение напоминает скорее смешение, при котором не родилось духовное единство. «Накладываясь друг на друга, символы христианства, ислама, буддизма, индуизма (очевидно, и иудаизма? — «К.») зашатались, и возникло течение назад, к прошлому, к твердой и неколебимой вере отцов». Вот почему мир все чаще подогревает себя фанатизмом, «жестоким сладострастием испуганной веры, недостаточно уверенной в себе самой».

Попытки понять особенности той или иной культуры необходимо обращают исследователей к *проблеме ментальности*. П. Гуревич и О. Шульман так и определяют тему своей статьи — «Ментальность как тип культуры» («Философские науки», №2(4), 1995). Авторы сразу предлагают собственную интерпретацию этому всеми ощущаемому, но неопределенному пока понятию. Менталитет — это «относительно целостная совокупность мыслей, верований, навыков духа, которая создает картину мира и скрепляет единство культурной традиции или какого-нибудь сообщества». Ментальность рождается из природных данных и социально обусловленных компонентов и раскрывает представление человека о жизненном мире. Это не общественное настроение, не ценностная ориентация или идеология; ментальность — более устойчивый феномен, характеризующий глубинный уровень коллективного и индивидуального сознания. Как понятие, оно позволяет соединять аналитическое мышление с полусознанными культурными шифрами. Философы отмечают существ-

вание нескольких типов ментальности: архаический, античный, средневековый, американский. Логику смены этих типов философы видят в нарастании личностного самосознания. Современная же ментальность относится к ярко выраженному логическому, организованному, рациональному типу.

Особенностям российского менталитета был посвящен **Круглый стол «Россиянин в условиях поиска новой парадигмы развития» («Социс», №10, 1995)**. Прежде всего участники обсуждения дали собственное определение понятия «менталитет»: «исторически сложившееся долговременное умонастроение, единство сознательных и бессознательных ценностей, норм и установок в их когнитивном, эмоциональном и поведенческом воплощении, присущие той или иной социальной группе и ее представителям». На сегодня в России основными являются менталитеты советско-социалистический, прозападно-капиталистический, православно-российский, криминально-мафиозный, мозаично-прагматический и некий новый — российско-государственный.

Воздерживаясь от конкретных рассуждений о сути российской ментальности, авторы статьи **«Архетипы и ориентиры российской ментальности» И. Мостовая и А. Скорик («Полис», №4, 1995)** продолжают тему, настаивая, что Россия представляет собою «транспериферию» европейской цивилизации — такое положение она и должна сохранять.

«Русская идея», геополитическая неповторимость, своеобразие национальной ментальности, необычный хронотоп... Все подобные попытки нащупать остов оригинальной российской культуры включают и исследование собственно специфики национальной философии. Поэтому неслучаен интерес современных исследователей к этой теме — **русская философия: генезис, особенности, перспективы**. Так, В. Белов в статье **«Русская религиозная философия и обыденное сознание» («Преображение-омега», №1, 1995)** настаивает на отличии концепции обыденного сознания в русской философии от гносеогенной. Обыденное сознание здесь всегда являлось отправной точкой для дифференциации и независимого развития науки и философии: стремление обыденного сознания к оформленности и цельности воплощала философия, наука же, обладая практической значимостью, не содержала для русской философии самодостаточного развития. Поэтому столь плодотворно было офилософствование науки и столь губительно онаучивание философии. Наука, полагает автор статьи, в принципе призвана обслуживать реальный процесс жизнедеятельности человека, в том числе и обыденное сознание, философия же

взаимодействует с ним иначе: реализуя стремление обыденного сознания к высшему, к Абсолюту, она не может удерживать это направление без постоянной соотнесенности со своими истоками, в том числе — с обыденным сознанием.

Новая работа **С. Хоружего** посвящена проблеме **«Исихазма как пространства философии»** (**«Вопросы философии»**, №9, 1995). Отталкиваясь от содержательного ядра мистико-аскетической традиции Православия — исихазма, автор статьи выделяет основные моменты, кажушиеся ему важными для сознания современного человека.

Соединение с Богом несет для человека развитие и утверждение личностного начала в нем, подтверждает его индивидуальность через уникальность его личных отношений с Богом. Цель мистического пути, проходимого личностью, — достижение обожения. Оно совершается путем синергии — особого соработничества и сообразования, согласного действия свободной воли человека и Божественной благодати. Это путь не растворения, но расширения индивидуального самосознания. Автор статьи отмечает глубокую проникнутость всего Православия идеями обожения и исихастской духовности. Здесь важно и осознание не узкомонашеской, но всечеловеческой сути исихастского подхода к человеку. У Григория Паламы философ выделяет ключевой термин: энергия. Борьба со страстями есть искусство управления множеством всех энергий человека, молитвенное делание есть собирание этих энергий в единое устремление к Богу, а синергия и обожение — соединение энергий человека и Божественной благодати. «Исихастский опыт, который мы желаем ввести в поле философского рассмотрения, есть опыт антропологический», в нем присутствует определенный образ человека, модели сознания и деятельности. Ввести же его в философию позволяет феноменология.

Поскольку ключевой категорией исихастской модели реальности является энергия, философ приходит к выводу, что перед антропологией возможна постановка новой задачи: исследование не сущностного строения человека, но его энергийного строения (так называемый «энергийный образ» человека). Энергетический дискурс позволяет определить действительность человека как онтологическую бифуркацию. Таким образом вырисовывается и новая онтологическая возможность бытийной стратегии на преодоление конечности. Неприятие смерти — еще одна реализация парадигмы синергии. (Материалы конференции **«Нил Сорский и исихазм в духовной истории и культуре России»**, прошедшей в Италии в сентябре 1994 г., опубликованы в журнале **«Православная Община»**, №2(26), 1995.)

На реальность еще одного контекста для русской философии указывает автор **«Вопросов философии»** (№12, 1995) К. Кантор, обращающий читателя к проблеме «социокультурных взаимоотношений России и Германии», точнее — к взаимоотношениям **«Немецкой идеологии Маркса — Энгельса и русского марксизма»**. Содержание этого давнего диалога автор определяет как освоение русскими немецкого учения Маркса-Энгельса «более основательное», чем всех предшествующих. Марксизм в России был усвоен в качестве некоего своего подobia, в нем акцентировалось именно то, что было всего нужнее для выживания русской культуры как целого. Этот эпизод взаимодействия немецкой и российской культур, по мнению автора, еще раз подтвердил, что при переносе идей с Запада в Россию они превращаются в свою противоположность. (Всех интересующихся современными трактовками марксизма можно отослать также к **«Философским наукам»**, №2(4), 1995, статья Р. Осборна **«Фрейд и Маркс. Дialectическое исследование»**; **«Русская мысль первой половины XIX века и проблема исторической традиции (Чаадаев, славянофилы, Герцен)»** волнуют З. Смирнову, **«Вопросы философии»**, №9, 1995.)

И еще об одной возможной традиции. **«Религиозная идея в сознании народников»** исследуется Е. Элбакяном (**«Кентавр»**, №3, 1995). Цитируя уничижительные по отношению к Церкви фразы из Бакунина, публицист напоминает, что с уничтожением государства народники предполагали уничтожить и Церковь. Однако религиозная ментальность, привитая традиционным российским воспитанием, у этих революционеров сохранялась, принимая своеобразные утилитарно-спрямленные формы.

Проблемам становления демократии в постсоветском пространстве посвящают свои страницы многие толстые журналы. О том, **«Какая демократия суждена России?»** рассуждает В. Кантор (**«Октябрь»**, №9, 1995). Он настаивает прежде всего на мысли о том, что в России невозможна демократия европейско-американского типа. Реальный исторический и культурный опыт страны свидетельствует, что противоправные отношения на Руси зародились еще в период удельных княжеств. Татарское нашествие определило бесправие народа как принцип жизни, главу же государства превратило в военного диктатора, преданно поддерживаемого народом. С этой точки зрения даже правление Ивана Грозного автор статьи определяет как демократически-беззаконное, в чем вполне сказался национальный выбор. Вот почему автору кажется неслучайным, что в советский период оппозиционеры называли себя правозащитниками; это вполне отражало суть

явления. Сегодняшняя Россия в целом верна прежней традиции, однако, по оптимистическому заявлению публициста, просматривается шанс иного развития.

Известный публицист **Дора Штурман** предлагает посмотреть на процесс демократизации в России под таким углом зрения: **«Национальный вопрос в постсоветском пространстве» («Посев», №5, сентябрь—октябрь, 1995)**. Отдавая себе отчет в иррациональности, алогичности разного рода национальных фобий, автор статьи апеллирует все-таки к человеческому разуму. Указывая на вековую сращенность русской культуры с европейской, на высокую степень межнационального смешения, в частности, русских и евреев, публицист пытается доказать невозможность «очищения» русской нации и культуры и, главное, губительность для России самой этой идеи. В исторической трагедии России Штурман видит не «происки» тех или иных наций и культур, но «цепную реакцию классоцида», классовой ненависти, своего рода классофобии. Именно она ведет к геноциду все втянутые в нее народы. Руководят же классоцидами силы не национальные, но — политико-идеологические (по содержанию своему — денационализаторы). И тогда проблема той или иной «фобии» оборачивается вопросом: «могут ли авторы, ставящие мировоззренческую и социально-политическую по своим истокам трагедию на почву национальных фобий, отрицательно повлиять на развитие духовных процессов, а значит, и событий в России?» Ответ публициста однозначен: могут, ибо дают доктринальное и — нравственное обоснование разнокорневым отрицательным чувствам. Противостоять им способна лишь демократия устоявшаяся, гибкая. Хрупкая демократия посткоммунистического развала будет легко сломлена агрессивной фобией (вот почему, специально уточняет автор статьи, опасен любой национализм — не только нации преобладающей, но и различных этнических меньшинств. В национальной сфере у всех равные и права, и — обязанности).

Беснование национальных фобий — бич, который загонит нас в ад. На этой предупредительной ноте кончает Д. Штурман. А ее мысль продолжает **В. Топоров** в статье **«Юдофобия: обратная связь» («Новая Россия», №3, 1995)**. Добровольное или насильственное, обрусение еврейства в России зашло так далеко, что прервать этот процесс, по мнению автора статьи, невозможно. Если же это состоявшийся факт, он нуждается в завершении. Что обязывает обе стороны ощущаемого конфликта: «обрусевшему еврейству следовало бы разом отказаться от национальной подо-

зрительности», осознать неформальность совершившегося факта обрусения и отказаться от так называемой «двойной лояльности»; противоположная же сторона должна отказаться от юдофобской пропаганды, озаботиться воплощением реальных гарантий отказа от национальной дискриминации. Во взаимных отношениях важен «вектор вrastания в национальную жизнь, а не нарастания на нее (и без тайной надежды взять верх над нею)».

Совершенно очевидно, впрочем, что *разговор о национальной проблеме* при демократическом строе лишь начат. **Круглый стол**, опубликованный журналом «Полис», №4, 1995, выказал завидное единодушие в оценках сегодняшней национальной ситуации в России. И прежде всего авторы сетуют на «утрату чувства общенациональной перспективы», на бездумное насаждение индивидуализма. Спор «самобытников» и западников сегодня представляется достаточно бесплодным, однако участники Круглого стола предлагают сделать антиномию продуктивной: «необходимо понимание общества как культурного организма, где ключевой...идеей является «национальная идентичность».

А вот Ю. Егоров предлагает новый поворот темы: **«Национальная и христианская идеи в экономике России»** («Грани», №176, 1995). Для автора статьи нет сомнений, что характер проведения современной экономической реформы определяется задачей создания рыночной экономики по европейскому образцу (при этом западная ориентация имеет четкую европейскую окраску). Прежняя тоталитарная экономика закономерно привела страну и нацию к полной деградации. Оказалась нарушенной преемственность хозяйственного строя, утрачены производственные традиции; нет экономического человека. Однако простой взгляд на столь притягательную для нас Европу позволяет заметить, что особенностью всех без исключения современных экономических систем является их национальный характер (по мнению публициста, не идеи равенства и братства, не какие бы то ни было иные идеи направляют экономические интересы, но — национальный эгоизм). Вот почему простое копирование чьих-то удач в ущерб своему национальному пути не приведет ни к чему хорошему, о чем и свидетельствует печальный опыт коммунистических стран. В этой связи и возникает вопрос о возможности соединения рыночного хозяйства с оригинальной национальной идеей; вопрос создания своего особенного национального хозяйства. Российская экономика обретет цивилизованный вид не на попрание внедрения очередной космополитической идеи, но только пола-

гаясь на собственный исторический опыт, на традицию и следуя национальным ценностям.

Одной из таких чисто российских ценностей, вне сомнения, является национальная интеллигенция. Сегодня к ней все чаще обращаются помыслы современных культурологов. И как всегда, главным предметом исследования становятся *взаимоотношения интеллигенции и народа*. Об этом и статья С. Кирилова «О судьбах «образованного сословия» в России» («Новый мир», №8, 1995).

Интеллектуальный слой по сути своей элитарен (коль скоро состоит из меньшинства, способного делать то, что не может большинство), полагает автор. В нормальных условиях любая нация неизбежно выделяет свою аристократию, потому что сама сущность высоких проявлений культуры глубоко аристократична. Социальный слой носителей российской культуры и государственности был уничтожен в результате большевистского переворота. Новый интеллектуальный слой создавался на принципах противоположных дореволюционным. Деградация была неизбежной прежде всего потому, что советский строй основан на принципе антиселекции; он не только уничтожает лучших, но и выдвигает худших. Однако, считает автор, сегодняшние попытки поставить вопрос о положении интеллектуалов свидетельствуют о возрождении самосознания их и о зарождении идеи восстановления статуса интеллектуального слоя в обществе.

«Соль земли? Интеллигенция как феномен русской культуры» — эта проблема исследуется К. Акопяном («Человек», №6, 1995). С. Эрлих смотрит на интеллигенцию как на сословие «колдунов»-жрецов, «Россия колдунов» («Знание — сила», №10, 1995). Продолжение темы интеллектуальной элиты можно найти в журнале «Дворянское собрание» (№2, 1995) — в статье С. Сапожникова «Формирование генотипа русского потомственного дворянства». Автор придерживается мысли, что исследование генотипа элиты — «актуальная задача общества в государстве, которое хочет видеть себя просвещенным и процветающим». Эту же идею отстаивает в своей статье «Войны, революции, застой — эволюционные последствия» Н. Воронцов («Знамя», №7, 1995). Семьдесят лет истребления интеллектуальной элиты требуют, чтобы теперь был дан «простор формированию новых личностей, помня о том, что только общество, состоящее из неповторимых индивидуумов, общество с генетическим, психологическим, национальным разнообразием может быть устойчивым, быстро развивающимся и процветающим».

Новая интеллигенция наводит на грустные размышления автора «Знамени» Н. Иванову (№12, 1995). «Осень нашей весны» — так названа ее статья, в которой известный литературный критик призывает интеллектуалов быть не лакеями правящей политической верхушки, а исполнять долг «свидетельства».

Однако, судя по всему, не все интеллигенты хотят «свидетельствовать». Позиция неверующей части интеллигенции, несогласной с появлением христиан в качестве активной культурной силы, представлена фельетоном Е. Мелетинского «К вопросу о современном понимании духовности» («Звезда», №8, 1995). Нынешнее понимание духовности, по мнению автора, незаметно совпало с уваровской формулой «самодержавие — православие — народность». Мелетинский же не сводит понимание духовности к религиозности. Религия для него отождествляется с национализмом, иррационализмом, иллюзиями; она поработщала дух человека и пользы от нее разве лишь в том, что она удерживает массы в смирении.

Подробно с *проблемами просвещения* в современной России читатель сможет ознакомиться, обратившись к материалам Круглого стола «Философия образования: состояние, проблемы и перспективы» («Вопросы философии», №11, 1995), участники которого (В. Швырев, В. Розин, Ф. Михайлов, И. Бестужев-Лада, А. Огурцов) говорили об опасности идейно-мировоззренческого и ценностного вакуума в системе образования, об образовании как философской проблеме, о задачах создания единого культурно-образовательного пространства региона и т.п. (в том же номере — статья Н. Карлова «О фундаментальном и прикладном в науке и образовании, или «не возводи дом свой на песке»).

Постоянной на страницах толстых журналов была и остается *экологическая тема*. Большая часть №4 журнала «Общественные науки и современность» посвящена проблемам взаимоотношений экологии и культуры. В основном, авторы публикаций едины в своем призыве к созданию «глубинной экологии», основанной на сочетании «персональной идентификации» и «трансперсональных форм» (В. Ермолаева «Космизм и экологическая этика»), и необходимости возвращения к нравственности, общей для всех народов Земли (Ю. Салин «Фундаментальные ценности человечества»).

«Эволюция экологического движения в современной России» анализируется в статье О. Яницкого («Социс», №8, 1995). По мнению автора, экологический протест 1987—89 гг. в СССР был первой легальной формой общедемократического протеста и общегражданской солидарности. К сожалению, в дальнейшем движение потеряло свою массовость, стало «профессиональным» и

реформистским. Оно размежевалось на политиков и неполитиков, при этом последние не имеют никакого практического веса в решении реальных экологических проблем и выработки стратегии и тактики. Сегодня инициатива в руках властных структур (журнал предлагает еще несколько работ на ту же тему: И. Халий «Экологическое и национально-патриотическое движение в России: союзники или противники?», С. Фомичев «Крайне зеленые», О. Аксенова «Экологический менеджмент в Голландии»). Тема экологии нашла свое отражение и на страницах других толстых журналов, например, подборка «Мирный атом — за и против» (Отклики на статью А. Яблокова «Ядерная мифология конца XX века») в «Новом мире», №8; диалог Т. Горичевой и И. Жуковской «Христианство и экология» в журнале «Преображение-омега», №1, 1995.

4. Религиозная мысль

Несколько слов о религиозной публицистике. Примечательно, что в прошедшие полгода она больше ориентировалась на дела земные, практические. Слышался и реальный диалог двух спорящих сторон, обозначившихся в сегодняшней РПЦ — т.н. традиционалистов и реформаторов. Зная трудности, с которыми сталкивается Церковь в современном мире, можно, по-видимому, лишь приветствовать такое оживление религиозной мысли.

«Падение коммунизма позволяет нам увидеть в обратной перспективе типичные пути мышления и действия современной цивилизации, особенно европейской, которая коммунизм породила» — размышляет *о судьбах Церкви в современном мире* в своей книге «Переступить порог надежды» Папа Иоанн Павел II (главы из которой можно прочесть в журнале «Новая Европа», №6, 1995). Перед современной Церковью стоит задача миссионерства. И главной проблемой на сегодня является проблема новой эвангелизации мира.

Оригинальна точка зрения американского культуролога И. Кристола на положение Церкви в современном мире, высказанная им в статье «Христианство, иудаизм и социализм» («Новая Европа», №6, 1995). Определив свою позицию как склонность к ортодоксальному иудаизму неоортодоксального еврея, автор замечает, что для него иудаизм и ислам прежде всего — религии Закона, тогда как христианство — религия, отвергнувшая Закон; иными словами, мы имеем дело с ортодоксией и гностицизмом.

Подспудно ощущая свою «недостаточность», христианство и обратилось в нужный момент к Ветхому Завету. Благожелательно настроенный к христианским конфессиям, автор замечает: в современном гностически-утопическом мире христианская Церковь, стремясь модернизироваться, допускает серьезную тактическую ошибку. «Секулярно-гностический импульс» находится в процессе разложения, модернизм уже стоит под вопросом. И молодежи не нужна осовремененная Церковь, им не требуется новой веры — старые достаточно хороши.

«Theologia» посвятила свой №5, 1995, тридцатилетию окончания Второго Ватиканского собора: статьи **архиепископа Тадеуша Кондрусевича, о.Бернардо Антонини, о.Тадеуша Бенаша** исследуют значение Библии для Церкви, проблемы священства, экуменизма, монашества, миссионерства. Все материалы соответствуют основным темам собора и, разумеется, не претендуют что-либо добавить к соборным постановлениям. По-прежнему актуальна диалектика открытости и замкнутости Церкви по отношению к окружающему миру, по-прежнему Католическая Церковь стремится к диалогу с ним, его спасению. Подтверждают материалы и взятый Собором курс на сближение с Православием.

Статья **И. Лупандина** в том же номере журнала поднимает проблему католичества восточного обряда в России, а в комментариях **Л. Василенко** к «Экклезиологическим заметкам» **о.Александра Меня** отмечается, что «нам выпало жить и трудиться в условиях временной неполноты учительского служения церковной иерархии на Востоке...Времена меняются, и Господь, как следует верить, приведет Православие к событиям, не менее значимым для Востока, чем II Ватиканский Собор для Запада».

Р. Гальцева в своих ответах на вопросы журнала «Россия и современный мир» «**Все дело в нераскаянности и отрешенности**» склонна столь же критично отнестись к традиционной Православной церкви (материал опубликован в «**Новой Европе**», №6, 1995). По мнению автора, наша Церковь не выработала взгляда на общество, «не отдала себе отчета в том, какое социальное устройство не противоречит учению Христа». Но в отличие от Кристола, Гальцева считает, что основная беда здесь — вневременность, «наследие старой православной психологии «индивидуального спасения».

Любопытные социологические *исследования российского «религиозного бума»* представляет журнал «Социс», №11, 1995 («Религия в современном массовом сознании» **Л. Воронцова, С. Филатов, Д. Фурман; «Учащаяся молодежь и религия» П. Кулаков;**

«Проблема воспроизводства религиозного сознания в посттоталитарном обществе» А. Панков, В. Подшивалкина). Авторы опубликованной подборки материалов замечают: распространение религии в России сегодня идет не от Церкви, но от интеллигенции, хотя процент верующих интеллигентов ниже, чем в целом у населения; среди признающих себя верующими по-настоящему воцерковленных, соблюдающих обряды людей много меньше; сегодняшний россиянин, отрекшийся от атеизма, кинулся в «верования» вроде астрологии и парапсихологии; падает престиж Московской Патриархии, православные все чаще идентифицируют себя со свободной РПЦ.

Л. Василенко и С. Филатов в диалоге **«Возродит ли религия Россию?» («Истина и жизнь», №12, 1995)** представляют оптимистический (Василенко) и скептический (Филатов) взгляды на будущее религии в стране. Оба они согласны в том, что Церковь не должна замалчивать политические конфликты, переживаемые государством, но «поддерживать справедливый социальный порядок».

Очерк о развитии религии в России после крушения марксизма **«Внебрачные дети религиозных идеологий»** предлагает М. Курочкина (**«Знамя», №8, 1995**). В основу своих размышлений автор положила мысль о том, что возникновение идеологических мутаций развивается по тем же законам, что и мутации биологические. И делает свой вывод: главная причина возникновения движений типа Белого братства и богородичников — в несовершенстве Церкви, поклоняющейся «усеченному и адаптированному Богу», именно на Церкви лежит ответственность за «искажение образа Божьего».

О старой православной психологии говорит в своей статье и И. Данилевский **«Добру и злу внимая равнодушно»?..» («Альфа и омега», №3(6), 1995)**. Исследуя «нравственные императивы древнерусского летописца», автор замечает, что неизбежное противоречие между личными впечатлениями и сутью событий исчезало для летописца, когда в происходящем ему удавалось отыскать соответствие Священной истории как вневременной и постоянно заново переживаемой. Замеченные современными исследователями неточности и несоответствия в древнерусских летописях были вызваны не личными пристрастиями наших предков и не боязнью власть имущих (как это до сих пор объяснялось), но своеобразной психологической установкой летописца, верящего в то, что пишет не исторические заметки, а некую «книгу жизни», которая будет фигурировать на Страшном суде. В том и состояла подлинная позиция истинного христианина, ориентирующегося

в своих поступках на христианскую систему нравственных ценностей.

О задачах, стоящих перед современной религиозной психологией, рассказывает подборка материалов специального семинара, посвященного памяти Г. Челпанова («Человек», №2—6, 1995). Православные психологи выступают против сциентизма в психологии, отмечая, что общая идеология их специализации не в том, чтобы «вести человека к адаптации», но вести его к спасению души. И этот путь меняет все традиционные для этой профессии представления о страстях, прощении и искренности.

Одной из главных тем церковной публицистики сегодня становится *тема религиозного образования*. Именно в религиозном образовании видит «Непременное условие воцерковления общества» митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл («Православная беседа», №4, 1995). Тоталитаризм, в условиях которого мы жили 70 лет, — явление из ряда духовных, поработавших сознание человека. Вот почему общество перестроечного периода и переживает прежде всего глубочайший духовный кризис. Собственно говоря, нет кризиса общества, есть глубокий распад личности, который влечет за собой разложение и в политических, и в социальных, и в экономических, и в экологических сферах. Сегодняшнему человеку свойственно не критичное восприятие любой религиозной доктрины, незащищенность перед любой религиозной проповедью. В этом одна из причин столь широкого распространения в переходный период сектанства и парарелигиозных явлений. Но этот соблазн можно предотвратить образованием. Отсутствие его создает трудности и для самой Церкви. Как правило, религиозные неопиты вносят в ее жизнь суеверия, косность, формализм. Между тем, полагает автор, проблема эта разрешима, ибо структурно система религиозного образования в нашей стране уже выстроилась, здесь определились три направления: воскресные школы, преподавание в государственных учебных заведениях и создание собственно церковных общеобразовательных заведений. Митрополит Кирилл подробно останавливается на практических проблемах религиозного образования по каждому из направлений, подчеркивая, что как бы там ни было, но нынешнее российское государство обязано осознать свой долг и обязанности на этом поприще.

Проблеме экуменизма посвящено несколько статей №6 «Новой Европы». Так, читатель может ознакомиться здесь с беседой с Вселенским Патриархом Константинопольским Варфоломеем I «Единство как истина жизни и способ существования», в которой

Патриарх подчеркивает настоятельную необходимость продолжения диалога Рима и Православия. Диалог этот касается не просто «религиозных» различий, но — глубочайшего кризиса всей культурной парадигмы модернизма. К тому же, отмечает Патриарх, ни единство, ни разделение христиан нельзя отождествлять с мирскими противоречиями властей или идеологий. И Рим, и Православие исторически виновны в подмене истинной жизни в Церкви. Только после взаимного и совместного покаяния можно прийти «к реализму единства как жизни без тления и смерти».

Экуменизм как «необходимую составную часть Церкви» проповедует и **о.Романо Скальфи** в статье «**Проповедь веры и экуменизм**». Автор статьи замечает: если общению христиан не сопутствует их влечение к единству, то принадлежность верующего Христу теряет определенность, сразу появляется возможность разных субъективных, чувственных или интеллектуальных, интерпретаций этой принадлежности. Стремление же к единству народа Божия, не подкрепленное опытом церковного общения, приобретает характер абстракции или утопизма. Однако экуменическая солидарность не может не быть проповеднической; Церковь не является арифметической суммой православных, латинян и протестантов. Экуменизм — не «дипломатическое единство», воодушевленное соглашательским духом. С другой стороны, ему противопоказана и самоуверенность прозелитизма, упование на собственные пастырские возможности, забывая о действии Духа Святого, Возглавителя всякого единения. Подлинный экуменизм (в этом автор статьи поддерживает тональность выступления Вселенского Патриарха Константинопольского) требует покаяния и обновления человеческого сознания. Слиянность проповеди веры и экуменизма сегодня тем настоятельнее, что мы уже не живем в традиционной христианской Европе. Неотложность новой евангелизации Европы необходима, дабы не восторжествовал экуменизм языческий. (Проблеме экуменизма посвящено и еще несколько материалов того же номера «Новой Европы»: статья **В. Никитина** «Доктринальная общность монотеистических религий», беседа с отцом **Э. Х. Зуттнером** «Преодолеть искушение исключительностью!»; в журнале «Христианос», вып. IV, 1995: «Совместная Декларация Римско-католической и Константинопольской православной церкви по случаю снятия анафем».)

Совсем иначе рассматривает те же проблемы малоизвестный религиозный философ 30—50 гг. **И. Аничков**, чью работу «Церкви Петра, Павла и Иоанна» публикует «Мъра», №1, 1995 (статья печатается под одним из псевдонимов Аничкова — «Новгород-

ский аноним»). Церкви католическая, протестантская и православная, Церкви Петра, Павла и Иоанна, как определяет их для себя философ, есть одновременно Церкви послушания, свободы и любви. Послушание как исполнение чужой воли (Церковь католическая) и свобода как исполнение воли собственной (Церковь протестантская) — это теза и антитеза, чье примирение будет найдено в синтезе любви (Церковь православная). Казалось бы, исторически Церкви разведены навсегда, столь непримиримыми кажутся расхождения между ними сегодня. Однако соединение Церквей представляется мыслителю неизбежным, ибо идея единства заложена уже в признании их Церквами трех Апостолов. Католичество проявило себя активно в Средние века, Реформация охватила Новое время, Церкви Иоанна принадлежит открывающаяся новейшая эпоха, в которой Православие выступит посредником для примирения Церквей Петра и Павла. После же соединения Христианских церквей, по мысли автора, совершится принятие христианства иудеями и мусульманами, вслед за чем обратятся и последователи древних восточных религий. Тогда исполнится сказанное: «Все народы, Тобою сотворенные, придут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое».

Оригинальную критику екуменизма предлагает в своей статье «И отделил Бог...» диакон Андрей Кураев («Альфа и омега», №3(6), 1995). «Интуиция синтеза и объединения, синкретического взаиморастворения и стирания граней», присущая современному миру, по мнению автора статьи, прямо противоположна миссии библейских пророков. Мечта нынешней нецерковной интеллигенции об объединении всех религий напоминает ему грех самарян. Ибо формула «Бог един» подразумевает «единственный», «нет иных богов!», они исключены; бог же современного религиозного китча (как и самарян) един, потому что вбирает всех богов. Автор статьи настаивает: Священная история — история исключения и различия. Стремление же современного человека к единству во что бы то ни стало на деле стремление к комфорту.

Общей проблеме межконфессиональных отношений посвящена работа протоиерея Владислава Цыпина «Правовой статус Православной церкви и иноверных общин в России» («Грани», №176, 1995). Опираясь в своем анализе российской истории на труды И.А. Ильина, автор замечает: ключевым элементом политической системы Российского государства всегда были взаимоотношения между государственной властью и Православной Церковью. И несмотря на отход после петровских реформ от идеи византийской симфонии, многонациональная и поликонфессиональная

Россия сохранила пафос «господства» Православной церкви. Все остальные иноверные общины образовали в ее границах своеобразный иерархический ряд, выстраиваемый по принципам степени расхождения с догматами Православия, политического веса той или иной религиозно-национальной общины и степени законности ее происхождения. Неравноправие религиозных общин было действительной чертой российского вероисповедного законодательства. Однако это неравноправие обнаруживалось лишь в разной мере покровительства им со стороны государственной власти и степени легкости перехода из одной конфессии в другую. Православная же церковь имела привилегированный статус. Что, по мнению автора статьи, не вызывало и, в принципе, не должно вызывать возражений, ибо «привилегированное положение религии тогда ... может вызывать недоумение или возражения, когда духовные ценности не признаются существенно важным делом». Хотя реальная история человечества свидетельствует скорее о негативной роли государства в выполнении Церковью ее богоблагословенного назначения, государство, считает автор, обязано создавать благоприятные условия для осуществления Церковью ее богозаповеданной миссии (как известно, такой практики придерживались и придерживаются все цивилизованные европейские государства).

Проблема экуменического движения неизменно подключает к себе и *вопросы церковной реформы*. Оригинальную статью В.Лосского «Подводные камни экклезиологии» предлагает журнал «Альфа и омега», №3(6), 1995). Обращаясь к истории монофизитства и несторианства как «двум равно ошибочным и взаимопровергающим позициям в сфере экклезиологии», философ признает: «каноны Церкви — отнюдь не магические формулы, применение которых и слепое следование которым были бы достаточными для созидания церковного единства». Однако они обозначают границы, за пределами которых нарушается единство в послушании Церкви, границы единения, исключаящего всякую «личную волю» — по Образу Святой Троицы, где существует только одна единая воля. «Пока каноны соблюдаются, независимость Церкви, ее свобода по отношению к миру, ее собственная автономия — остаются неприкосновенными», а Церковь — незыблимой. И с этой точки зрения, прежде чем протестовать против несправедливых постановлений церковных властей, необходимо, считает Лосский, подчиниться им в ожидании суда церковного собрания. «Революционный дух в Церкви» — по определению философа, — болезнь трудноизлечимая, истинное духовное бедствие.

Протоиерей Александр Шаргунов в статье «Горькие плоды» («Православная беседа», №4, 1995) предлагает читателям обратить внимание на «некоторые плоды реформ» в Западной церкви после II Ватиканского Собора. Как известно, на богословском конгрессе 1966 года был провозглашен тезис о законности догматического разнообразия внутри одного и того же Откровения. Подобный плюрализм должен был дать осознание различия между смыслом догмата и элементами его выражения, ограниченными и исторически обусловленными. В противовес этой идее, автор статьи настаивает, что, согласно православному пониманию, формулировки догматов не являются исторической случайностью. «Когда Божественная истина скажется и изрекается на человеческом языке, самые слова преобразуются... становятся священными. ...Нет, это вечные и незаменимые слова. ...Это значит, что есть вечное и безусловное в мысли, — если угодно, есть некая «вечная философия»; догмат есть свидетельство о неизменной истине, от начала явленной и хранимой, вечное и уже неприкосновенное правило веры, изреченное Откровением». Исходя из этого, автор определяет попытки нового реформирования в современной Церкви как смещение акцента с «милосердного Бога» на «милосердного ближнего», как подчеркивание человечества Христа в ущерб Его Божественности. Сегодняшние реформаторы, оценивает их Шаргунов, вдохновляются мессианским гуманизмом, в котором мерою Бога становится человек и «евангельский пантеизм». В результате Бог растворяется в человечестве.

Автор журнала «Христианос» (вып. IV, 1995) А. Еремин в статье «Всякому имеющему дано будет» высказывает убеждение в обратном: самостоятельная возможность человека творить новые идеи, образы, принимать кардинальные решения не отрицает и не умаляет Божью помощь, но предполагает ее. Принижение же человеческой личности в диалоге с Творцом имеет давнюю традицию. Автор выводит ее гнозис из античности, из принятого дуализма «души — тела» и свойственного ему стремления освободиться от тела и мира. Библейскому же человеку дуализм непонятен и противен; мир благ и пронизан трансцендентным. Правильно понятая аскеза не исключает напряженной творческой активности. По мысли автора статьи, Евангелие есть одновременно и Откровение о творчестве, и благословение на творческую жизнь. В конечном итоге, сам организм Церкви должен выделять новые истины, не опасаясь «измены традиции» и «произвольного прочтения Евангелия». Избавлению от таких страхов

и может помочь правильное соотнесение между собой основных эллинистических и библейских понятий.

Я. Кротов исследует **«Историю «жидовствующих» («Истина и жизнь», №12, 1995)** и предлагает очерк из истории Русской церкви конца XV — начала XVI вв. Автор считает необходимым пересмотреть устоявшуюся историографическую традицию и, вслед за о.Георгием Флоровским, отрицает сам факт существования ереси, предполагая фальсификацию материалов об инакомыслящих XV века (в качестве параллели публицист приводит аналогичные примеры современной фальсификации, когда в ереси жидовствующих обвинили Патриарха Алексия II).

В журнале **«Москва»** продолжается критика православных священников-реформаторов в статьях **«Церковь и модернизм» священника Александра Михайлова (№10, 1995)**, **«Сети «обновленного христианства» диакона Михаила Немногова (№12)**, **«В эфире — антиправославный радиоканал» В. Горячева (№12)**. Противоположная позиция представлена в материалах конференции **«Единство Церкви»**, проходившей в ноябре 1994 г. в Данилове монастыре в Москве и посвященной критике о.Георгия Кочеткова и о.Александра Борисова (**«Православная Община», №4(28), 1995**).

О возможности культурологического рассмотрения проблемы **внутрицерковных расколов** говорит в своей статье **В. Махнач «Культурология расколов» («Грани», №177, 1995)**. Зачастую в ситуации, приводящей к расколу, виновны обе стороны. Подробный анализ европейской и русской истории позволяет автору сделать вывод о непосредственной связи внутрицерковной конфронтации с переходными периодами в развитии той или иной страны. В большинстве известных случаев роль главного виновника (или поощрителя, катализатора раскола) играло государство — путем вмешательства, а то и прямого посягательства на каноническую свободу Церкви. Так и история российского старообрядчества, по мнению автора, — лишь подтверждение общего правила. Парадигмой старообрядчества является тотальный изоляционизм, утверждение скрытого раскола со Вселенской церковью.

Проповеди:

«Слово на Рождество Христово» архиепископа Ташкентского и Среднеазиатского Владимира («Журнал Московской Патриархии», №1—4, 1995); «Из воскресных проповедей Кирилла Туровского» («Мъра», №1, 1995); «Две проповеди на Пятидесятницу» конца 1930-х гг., произнесенные в Париже на Трехсвятительском под-

ворье архимандрита Афанасия (Нечаева) («Православная община», №1(25), 1995), «Проповедь на Успение» митрополита Сурожского Антония (Блюма) (там же, №3(27); Проповедь архимандрита Зинона (Теодора) (там же, №4(28); Цикл проповедей с 7 сентября 1995 г. священника Георгия Кочеткова (там же, №1—4 (25—28); «Проповедь по Богоявлению» его же, «О блудном сыне» иеромонаха Антония (Ламбрехтса), «О ближнем и дальнем» архимандрита Виктора (Мамонтова) («Христианос», вып. IV, 1995).

*С июля по декабрь 1995 года в российской прессе
были также опубликованы:*

А. Архангельский. Первый и последний. Старец Феодор Козьмич и царь Александр I: роман испытания («Новый мир», №11, 1995)

Ю. Бердяева. Дневники («Звезда», №10—12, 1995)

С. Бочаров. Событие бытия. О Михаиле Михайловиче Бахтине («Новый мир», №11, 1995)

Р. Бультман. Иисус Христос и мифология («Октябрь», №12, 1995)

В. Войно-Ясенецкий. О духе, душе и теле («Философские науки», №1(3), 1994; №2(4), 1995)

В. Дильтей. Категории жизни. Переписка Вильгельма Дильтея с Эдмундом Гуссерлем. («Вопросы философии», №10, 1995)

М. Ершов. Анти-интеллектуалистическое движение в современной философии («Преображение-омега», №1, 1995)

В. Зеньковский. Проблема зла в мире и пути борьбы с ним («Православная община», №2(26), 1995)

А. Карташев. Революция и Собор 1917—18 гг. («Альфа и омега», №3(6), 1995)

Э. Кассирер. Естественнонаучные понятия и понятия культуры («Вопросы философии», №8, 1995)

В. Лосский. Святой Дионисий Ареопагит и святой Максим Исповедник. Подводные камни экклезиологии («Альфа и омега», №3(6), 1995)

Т. Маккенна. Пища Богов («Архетип», №2, 1995)

А. Мень. О духовном опыте. Письмо о.Сергию Желудкову («Христианос», вып. IV, 1995)

Д. Мережковский. Письма к А.В. Амфитеатрову («Звезда», №7, 1995)

Святитель Григорий Палама. Святогорский томос («Альфа и омега», №3(6), 1995)

Памяти Карла Поппера. Материалы российско-австрийской конференции (В. Садовский, В. Лекторский, Э. Эзер и др.) («Вопросы философии», №10, 1995)

Б. Рассел. Секс среди других человеческих ценностей («Архетип», №2, 1995)

Э. Сурно. Эстетические категории («Философские науки», №2(4), 1995)

Таврион (Батозский). Письма к детям из уз («Православная община», №4(28), 1995). Воспоминания архимандрита Виктора (Мамонтова) об о.Таврионе (там же, №5(29))

Н. Троицкий. Христианский православный храм в его идее («К свету», №17, 1995)

С. Трубецкой. О святой Софии, Премудрости Божией («Вопросы философии», №9, 1995)

М. Туровский, С. Туровская. Укорененность науки в культуре («Философские науки», №2(4), 1995)

П. Флоренский, А. Вегухов. Переписка 1908—1918 гг. («Вопросы философии», №11—12, 1995)

С. Франк о М. Хайдеггере. Письма 40—50 гг. («Вопросы философии», №9, 1995)

З. Фрейд. Покорение огня. Преходящее. Размышления о войне и смерти («Архетип», №2, 1995)

М. Хайдеггер. Исследовательская работа Вильгельма Дильтея и борьба за историческое мировоззрение в наши дни. Десять докладов, прочитанных в Касселе (1925) («Вопросы философии», №11, 1995)

Арх. Иоанн (Шаховской). Из наследия (главы из книг «Вера и достоверность», «Письма о вечном и временном», «Время веры») («Христианос», вып. IV, 1995)

Г. Шолем. «Каббала» (фрагменты) («Архетип», №2, 1995)

А. Шмеман. Богослужение в секулярный век («Православная Община», №3(27), 1995)

ПОПРАВКА

В журнале «Континент» №85 на с. 379 по недосмотру редакции допущена опечатка: вместо **Николаевой** читайте **Новиковой**. Приносим извинения автору и читателям.

Художник В. Лаврентьева
Компьютерный набор и верстка М. Егоровой

ЛР № 010184

Подписано в печать 20.03.96. Формат 84х108/32. Бумага офсетная.
Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 21,84. Тираж 10 000 экз. Заказ № 20

Адрес издательства «Московский рабочий»
и редакции журнала «Континент»:
101923, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8
Тел. редакции: (095) 928-97-42

Отпечатано в Московской типографии № 13 Комитета РФ по печати
107005, Москва, Денисовский пер., 30

«НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»

Издательство «Новое литературное обозрение» («НЛО») выросло из недр журнала «Новое литературное обозрение» (теория и история литературы, критика и библиография) и продолжает культурную политику, проводимую журналом: объективное освещение современного состояния русской литературы и культуры, осмысление актуальных проблем русской культуры в мировом контексте, пересмотр устаревших категорий культурного сознания, сочетание высокого профессионализма с пафосом просветительства.

**В согласии с поставленными задачами
в издательстве развиваются следующие направления:**

ТЕОРИЯ — труды современных ученых по литературоведению, философии, культурологии, искусствознанию, сборники научных статей, работы отечественных и зарубежных классиков литературоведения.

ИСТОРИЯ — монографии отечественных и зарубежных историков, посвященные осмыслению важнейших событий и личностей в истории, мемуары деятелей литературы и культуры.

ПРАКТИКА — художественные, публицистические, учебно-образовательные издания. В художественной серии особое внимание уделяется переводам малоизвестной западной классики и современной словесности.

В «НЛО» в 1994—95 гг. вышли следующие книги:

Б. Дубин, Л. Гудков. ЛИТЕРАТУРА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ.

Игорь П. Смирнов. ПСИХОДИАХРОНОЛОГИКА (Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней).

А.В. Лавров. АНДРЕЙ БЕЛЫЙ В 1900-Е ГОДЫ.

М.Л. Гаспаров. ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ.

М.Л. Гаспаров. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГРЕЦИЯ. Рассказы о древнегреческой культуре.

П. Энглунд. ПОЛТАВА. Рассказ о гибели одной армии (пер. со шведского).

О. де Бальзак. ФИЗИОЛОГИЯ БРАКА. ПАТОЛОГИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ.

В 1996 г. выходят:

Н.А. Богомолов, Дж. Малмстад. М. КУЗМИН: ИСКУССТВО, ЖИЗНЬ, ЭПОХА. Одно из первых полных жизнеописаний крупного поэта и прозаика первой трети XX века, основанное на архивных разысканиях.

НОВЫЕ БЕЗДЕЛКИ. Сборник статей к 60-летию В.Э. Вацура. Книга приурочена к юбилею замечательного филолога, одного из лучших специалистов по русской словесности пушкинской поры. Представлены статьи ведущих отечественных и зарубежных филологов по проблемам теории и истории отечественной литературы; дана также библиография научных работ В.Э. Вацура.

И. Паперно. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ И ВЕК РЕАЛИЗМА. В книге переосмысливается роль Н.Г. Чернышевского в истории словесности и общественной мысли XIX века, исследуются причины, побудившие общество воспринимать художественно слабые произведения как новое слово и эстетическое достижение, большое внимание уделяется личности самого писателя.

ВСЕ ДНИ, ВСЕ НОЧИ. Современная шведская пьеса. Фактически неизвестная русскому читателю драматургия представлена именами наиболее известных шведских авторов. Семейные драмы, экзистенциальные проблемы изображены с психологической глубиной и подчас шокирующей обнаженностью.

М. Ямпольский. ДЕМОН И ЛАБИРИНТ: ДИАГРАММЫ, ДЕФОРМАЦИЯ, МИМЕСИС. В книге известного культуролога собраны этюды, посвященные отражению телесности в культуре: различных форм телесных изменений — от гримасы и смеха до танца и блуждания в потемках. С этой точки зрения автор анализирует произведения Гоголя, Достоевского, Рильке, Эйзенштейна, Арто, Борхеса и др.

В. Паперный. КУЛЬТУРА «ДВА». В широко известной на Западе и впервые публикуемой в России работе на примере сталинской архитектуры и скульптуры исследуются смысловые и стилевые особенности тоталитарной культуры. Издание снабжено многочисленными иллюстрациями.

В. Мери. МАННЕРГЕЙМ — МАРШАЛ ФИНЛЯНДИИ. Пер. с финского. Первая биография на русском языке К. Маннергейма (1867—1951) — выдающегося финского военного и государственного деятеля, исследователя и путешественника, законодателя этикета и моды, писателя. Автор стремится увидеть живого человека, проследить перипетии его судьбы.

Адрес издательства: 129626, Москва, а/я 55, тел.: (095) 194-99-70

CONTINENT
THE TRANSREGIONAL PUBLIC BANK Corp
МЫ ОБЕЩАЕМ ТОЛЬКО ТО, ЧТО МОЖЕМ ВЫПОЛНИТЬ!

АО
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК
«КОНТИНЕНТ»

Регистрационный №11
Основан 11 октября 1988 года

ГЛАВНАЯ КОНТОРА:
Россия, 423830, г. Набережные Челны, ул. Пушкина, д. 14

ПРЕЗИДЕНТ: ОНУШКО ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ

Уставный капитал: 5,0 млрд. рублей
Акционерный капитал: более 30,0 млрд. рублей

ФИЛИАЛЫ:

- Филиал №1 — г. Казань, Татария, ул. Чистопольская, д. 3
тел.: (8432) 43-99-94
- Филиал №2 — г. Елабуга, Татария, ул. Марджани, д. 2
тел.: (84357) 3-69-89
- Филиал №3 — г. Сафоново Смоленской обл., ул. Советская, д. 5
тел.: (08142) 4-44-44
- Филиал №4 — г. Набережные Челны, Татария, ул. Пушкина, д. 14
тел.: (8552) 52-05-66
- Филиал №5 — г. Владимир, ул. Луначарского, д. 14
тел.: (09222) 3-23-54
- Филиал №6 — г. Лакинск Собинского р-на Владимирской обл.,
ул. Мира, д. 41
тел.: (242) 4-21-02
- Филиал №7 — г. Менделеевск, Татария, ул. Пионерская, д. 7
тел.: (249) 3-18-56
- Филиал №8 — г. Калининград (обл.), Литовский вал, д. 38/10
тел.: (0112) 46-62-30
- Филиал №9 — г. Москва, Милютинский пер., д. 18а
тел.: (095) 924-15-06

CONTINENT

THE TRANSREGIONAL PUBLIC BANK Corp

МЫ ОБЕЩАЕМ ТОЛЬКО ТО, ЧТО МОЖЕМ ВЫПОЛНИТЬ!

АО

**МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК
«КОНТИНЕНТ»**

НЕ ТОЛЬКО СОХРАНИМ, НО И УМНОЖИМ:

Расчеты в любую точку ближнего и дальнего зарубежья

Широкая гамма валютных операций

Отработанная система вексельного обращения

Надежные и высокодоходные вкладные операции

Вторичный рынок акций «КамАЗа», «Татнефти»,
«Алданслюды», других крупных акционерных обществ
России и Поволжья, собственных акций 5-ти выпусков

Доверительное управление капиталом и вкладами

Инвестиционная поддержка высокорентабельных
и быстроокупаемых проектов

Любые сложные многоступенчатые операции по заявке
Клиента

**МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК
«КОНТИНЕНТ»**

**ФИНАНСИРУЕТ В 1996 ГОДУ
ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ «КОНТИНЕНТ»
ДЛЯ ДЕСЯТИ БИБЛИОТЕК ТАТАРИИ**

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

**ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ
«КОНТИНЕНТ»**

принимается во всех отделениях связи России.
Наш подписной индекс в каталоге «Роспечати»

73218

* * *

«КОНТИНЕНТ»

высылается по индивидуальным заказам агентством
«Книга-сервис» (тел.: (095) 129-29-09)

Жители Москвы и Московской области
могут покупать выходящие номера журнала в редакции,

а также:

в «Доме книги» (Новый Арбат);
в книжном салоне «19 октября» (Казачий пер.);
в магазине «Эйдос» (Чистый пер.);
в магазине «Человек читающий» (Зубовский бульвар)
и в киосках «Роспечати» Киевского района.

* * *

«КОНТИНЕНТ»

приглашает на льготных условиях распространителей
и рекламных агентов

В разделе «ГНОЗИС»

Эссе **Сарры Гофман** «Улица Орденэ — улица Лаба»

В разделе «ПРОЧТЕНИЕ»

Статья **Анджея Лазари** «Достоевский в идеологической борьбе наших дней»

Статья **Вольфа Шмида** «Братья Карамазовы» — надрыв автора, или роман о двух концах»

В разделе «ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ»

Игорь Виноградов. «Литературные заметки 1. Третье возвращение Александра Солженицына. 2. Литературный дебют Сергея Бабаяна (еще один опыт «реальной критики»)»

Евгений Ермолин. Новая статья о современной ситуации в литературе

Марк Харитонов. Очерк о поэте Илье Габасе

В разделе «ИСКУССТВО»

Статья **Лидии Польской** «ТВ вчера, сегодня, завтра»

Беседы о современном театре. Интервью с С. Юрским, А. Демидовой, С. Женовачем

Читайте также в нашем журнале постоянный раздел
«БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА» —
подробный аннотационный обзор прозы, литературной критики,
культурологической, философской и религиозной мысли
в текущей российской прессе



ВЫ ЕЩЕ НЕ КУПИЛИ АВТОМОБИЛЬ?
Продажа в рассрочку:
АО "Автоплан"

тел. 276-87-80



"МОСКВИЧ"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Оптовая продажа

тел. 276-83-08
276-82-32
факс 179-49-81

ПРОДАЖА В РАССРОЧКУ * ОПТОВАЯ ПРОДАЖА